

Ангархаев А. Л.

Вечный цвет: Роман/Пер. с бурят. И. Булгаковой и Н. Очирова. – М.: Современник, 1988. – 335 с.

Северо-восточный ветер, особенно яростный зимой, нередко обрушивается с гор в долину. Селение Хасуурита расположено в Шара жалга – Желтом распадке, месте на редкость удачном, ничего не скажешь. Конечно, со времен сельской коммуны, с далеких уже времен, поля за околицей постепенно расширяются, все дальше отодвигается сумрачный ельник. Но даже и сейчас до леса (там тебе и грибы, и ягоды, и зверь, и птица) рукой подать; в речках Харагун и Шарасун таймень и хариус не переводятся; и земля на урожай щедра, а луга заливные, обильные, есть где скотине разгуляться... Колхозники с центральной усадьбы завидуют: в Хасуурите тишь да гладь, дворов всего тридцать, две улицы – правая и левая, так их в деревне называют, – жизнь неспешная, без неожиданностей, даже начальство редко заглядывает.

Как будто тишь да гладь. И день медленно клонился к вечеру, ласковому, безмятежному.

Солнце не спешило опускаться на горные вершины – гигантские лосиные рога на пламенеющем горизонте.

Дед Шаралдай колот дрова... Колот не торопясь, легко и привычно... Росла кучка ровных аккуратных поленьев... Как вдруг...

Как вдруг он занес топор и опустил впустую, топор упал с глухим стуком, левая рука прижалась к груди, Шаралдай осел наземь, прислонившись спиной к чурбаку, на котором колот дрова.

– Устал, дедушка? – спросил семилетний Баяр, также занятый делом: он ножичком соскабливал для жвачки застывшую лиственничную смолу.

Дед вдруг показался маленьким, худым и невзрачным – будто засыхающий бурьян прилепился к чурбаку из толстенной, в два обхвата лиственницы. Голова запрокинута, глаза прищурены, устремлены в предвечернее, уже осеннее небо с низкими перистыми облаками. Дрожат ноздри над жиденькими желтоватыми усами, подрагивает рыжая борода, рот приоткрылся в жалком бессилии, обнажая неполный ряд щербатых обкуренных зубов.

Баяр подбежал, присел перед дедом на корточки, дернул за рукав.

– Дед!

Молчание. Мальчик вскочил, взлетел по ступенькам, распахнул дверь, крикнул испуганно:

– Мама! Дед не встает!

На крыльце появилась женщина лет тридцати, маленькая, кругленькая, лицо белое, широкое, рукава засучены до локтей и руки в муке: ужин готовила.

– Ой! – она всплеснула руками – аж белое мучное облачко поднялось и тотчас рассеялось – и на удивление легко сбежала с крыльца.

– Дулма! – прошептал Шаралдай. – Как бы мне в дом...

– Да что случилось-то? Что? – запричитала невестка, слегка подвывая. – Неужто паралич?

С испугу она принялась поднимать Шаралдая, но сразу опомнилась. Говорят же знающие люди, что при параличе женщине не пристало первой приходить на помощь, дескать, не к добру это... А что тут к добру? Дулма растерянно топталась возле свекра, похожая в своем пестром халате на курицу, всполошенную опасной ястребиной тенью.

– Если б Бадмаха!.. Этот бродяга вечный... Сидел бы дома!.. Что ему дом? Ничто! Да и Дэбшэн хорош! Не успел появиться – тут же сгинул... Ну семейка! Что

делать, Баяр?

– За доктором Аюшей надо бежать! – сообразил мальчишка, дрожащий мелкой дрожью.

– Давай беги!

Тут к матери наконец вернулась ее обычная деловитость. Мало ли что там говорят – а если больше некому?.. Она ловко подхватила Шаралдая под мышки, подняла. Он зашатался, но сумел удержаться на ногах. Дулма обняла его, и они потихоньку-полегоньку направились к дому. Ступеньки, крыльцо, порог... кое-как одолели, с охами-вздохами... Еще немного, – вот и кровать, совсем рядом, возле двери..

## 2

Доктор Аюша жил на другом краю деревни в большом пятистенном доме.

Баяр бежал что есть мочи...

– Гляди-ка! Черепаха наша! Во наяривает! – заорал внук доктора Бата. Они с Чингисом, сыном доярки Мэдэгмы, беззаботно гоняли посреди улицы облезлый футбольный мяч, норовя загнать его в «ворота» из пустых консервных банок. Прямо не верилось, что так мчится Баяр – тихоход, Черепаха.

«А вот меня в детстве никто не мог обогнать, – грустно сказал ему дед Шаралдай, узнав о прозвище внука. – Ты уж смотри, не отставай от других! Нигде, никогда!..»

Только на мгновение задержался Баяр у калитки: крючок с нехитрым секретом. Таряаша придумал, сын доктора. Они с отцом совсем недавно старый тес на новый заменили – какие в деревне могут быть секреты?.. Баяр стремительно взбежал на высокое крыльцо и распахнул ярко-синюю дверь веранды.

А доктор Аюша, заядлый охотник, был погружен в свое любимейшее занятие. Сразу после обеда он раскрыл обитый жестью ящик, достал оттуда пороховницу и, небрежно сдвинув тарелки, чашки, ложки, водрузил ее посередине стола. Занятие неспешное, привычное, однако требующее внимания и аккуратности. Доктор с ювелирной точностью взвешивал порох и дробь, начинал патроны, перекачивал их меж ладоней, как бы проверяя вес, любовался: старые, с темно-коричневым тусклым лоском возбуждали какие-то воспоминания, а новенькие – блестящие, золотистые – смутные надежды...

Узкое бледное лицо его преобразилось. Из-под тонких красноватых век засветились глаза; словно отражая их свет, стекла круглых очков вспыхивали радужными искорками.

– Хорошо!..

Будто пронзительным осенним ветерком дохнуло вдруг, сизым туманцем озера в низовьях Харагуна... Вечерняя заря, быстrokрылые птичьи тени, мгновенный холодок восторга, тяжесть двустволки, удар приклада в плечо... И вот рождается эхо в низких невзрачных берегах, в густых ивовых зарослях, взмывает и замирает в небесных сферах. И от гусяного косяка, гордо рассекающего воздушное пространство, отделяется один – бессильный жалкий комочек – и стремительно падает в прибрежный камыш или в воду.

«Нет, меня не назовешь неудачником, – размышляет доктор Аюша. – Я бы мог не вернуться с войны – и не родился бы сын, не привел в дом невестку, не было бы у меня внуков... Четверо! И – кто знает? – может, еще будут... Какой же я неудачник? Отделался всего лишь ранами...»

«Всего лишь!» Доктор усмехнулся, мысли его принимают другой оборот. Война. Как будто вечность миновала – а не дает покоя. Сколько раненых прошло через его руки! Должно быть, не меньше тысячи... а то и больше. Раны, раны... от пуль и осколков, от ножа и штыка... Раны сквозные, рваные, гнойные... Он знал, как

человек мучается: терпит, стиснув зубы, белый как полотно, или стонет, кричит, молчит, теряя сознание... Его руки до сих пор помнят тысячу тел – изуродованных, растерзанных, дрожащих в лихорадке, обливающихся потом, огнем полыхающих или застывших в ледяном последнем холоде! С самого начала войны он был санинструктором, всего навидался, но оказалось, до конца, до самого доньшка, не понимал этих мук – не понимал, куда его самого не ранило. Тогда уже не умом, а всем существом своим он почувствовал муки телесные и муки душевные, нерасторжимую связь их – когда рядом смерть.

«А дети! – вспоминается вдруг самое страшное, то, что годы и годы пытался забыть; лицо доктора болезненно морщится; дергается, как обычно в минуту волнения, верхнее левое веко. – Детские раны и смерть!»

Всех задела война – и младенца, и старца – и как безжалостно, как безумно! И главное: безумие это продолжается до сих пор – молния в грозовых облаках... удушливое ожидание... вот-вот – просверк, тьма, грохот, безлюдная земля...

«Что со мной? – пугается старик. – Куда это я залетел? Ни с того, ни с сего...» Однако доктор Аюша прекрасно знает: ничто не возникает на пустом месте, на все есть причина, стоит хорошенько поразмыслить, подумать... А тут и думать нечего: вчерашняя встреча с Дэбшэном – вот что настроило его на столь трагический лад.

Дэбшэн – младший сын скотника Шаралдая – единственный в Хасуурите человек, которому доступны идеи высшего порядка, можно сказать, космические. А кто в родной деревне может... нет, не понять до конца, конечно, а хоть как-то оценить всю важность их, все значение? Только он, доктор Аюша. В последние годы старик (всегда имевший склонность к естественным наукам) прямо-таки пристрастился к чтению. Вначале популярные статейки в газетах, в журналах почитывал, потом на специальные замахнулся – что ж, не боги горшки обжигают! – шел шажком, на ощупь, размышлял, рассуждал сам с собой в тягучие часы бессонницы, каждый новый термин по словарям отыскивал. А опыт? А интуиция? Сколько прожито, передумано, а поговорить, душу отвести не с кем. Какова же была его радость, когда прямо посередине правой улицы нежданно-негаданно он столкнулся с Дэбшэном – ученым-физиком из далекого города. «Как он тут очутился?» – мелькнула мыслишка и сгнула: не житейские проблемы волновали старика, а вселенские.

– Вот вы все толкуете об элементарных частицах, – прямо приступил он к делу, хотя Дэбшэн ни о чем не толковал, напротив: смотрел угрюмо в сторону. – Элементарная – значит, простейшая, так? – задал доктор Аюша риторический вопрос и сам же ответил: – Так – да не так! Теперь поговаривают, что частицы взаимно превращаются, имеют сложную структуру, так?

– Ну так, так, – отозвался наконец Дэбшэн, переминаясь с ноги на ногу. Частицы состоят из кварков. Ну и дальше что?

– Не подгоняй. Про кварки мне известно, мы тут тоже, знаешь, не лыком шиты. Ты скажи мне вот что! Эти самые частицы со своими превращениями... во что они могут превратиться в ваших руках?

– В чьих руках?

– В ваших – ученых.

– Во что превратилась атомная энергия, вам не хуже моего известно, – сухо заметил Дэбшэн.

– То-то и оно-то! Что б вы ни пооткрывали – все ведет к разрушению. Распад! – внушительно заявил доктор и повторил: – Распад. А ваша цель, науки то есть, должно быть благо. Доброта, в конечном счете... Улыбаешься? Думаешь, из ума старик выжил?

– Да нет. Я с вами согласен.

– Ага! Пойдем дальше. Что там у вас слышно насчет единого учения, из которого всю природу, все явления можно объяснить и понять?

– Пробуют создать такую теорию, – ответил Дэбшэн нехотя, лицо его

потемнело. – Теорию, охватывающую различные взаимодействия... ядерные, электромагнитные, гравитационные... Впрочем, извините, мне некогда, – резко оборвал он сам себя – и как появился внезапно, так и исчез.

– «Пробуют они! – ворчит доктор Аюша. – Пока они там пробуют, взрыв за взрывом... Молнии в грозовых облаках – и безлюдная земля».

Он осторожно двумя пальцами берет тяжелый, туго набитый патрончик. Усмехается при мысли о человеческой непоследовательности: вот он, старик, рассуждает о конце жизни на земле, а сам... безобидные кусочки свинца, порох, дробь, пробитое навывлет птичье тельце...

«Ох-хо-хо! – вздыхает тяжело. – Где уж мне теперь! Старею. И ведь, кажется, рука не трясется... неужто прав Шаралдай: ушла от меня удача? А может, никогда она...»

– Доктор Аюша! – словно в мозг врезался звонкий испуганный голос.

– Жаалда жаатара! – старик вздрогнул от неожиданности и уронил патрон в ящичек: перед ним стоял Баяр. – Ты чего ж это людей путаешь, шельмец ты этакий?

И погрозил мальчишке черным, прямо-таки детским кулачком. Но Баяр не так-то просто на испуг взять, а уж сейчас...

– Там дед!. во дворе... не поднимается!

– «Не поднимается»! Чего это он не поднимается!

– Не знаю. Упал... Меня мама послала!

– Мама твоя... шибко суетится твоя мама... – старик никак не мог одолеть ворчливую интонацию, а руки, между тем, проворно укладывали патрончики в патронташ. – У нас ведь как: упадет листочек в лесу – заяц что есть духу бежит...

– Не встает дед! – возмутился Баяр.

– Ладно, ладно... Беги, я следом.

Вот пока он тут судьбами человечества занимался, друг его... Доктор Аюша захлопнул ящичек, на место поставил, взял с вешалки старенькую, выдавшую виды кепку, нахлобучил на голову, плащ набросил и отворил дверь.

У крыльца поджидал его пес, огромный, серый с темными подпалинами и острой мордой. Весь вытянут в струнку, уши торчком, хвост трубой, глаза так и впились в хозяина. Самое время для вечерней зорьки.

– Нет, Булгаша, нет, соболятник мой! Видишь, без ружья? – доктор Аюша развел руки в стороны, потряс кистями, поспешил к калитке, бормоча под нос: – Прошлый раз еле домой приковылял, без левого клыка остался, а все тянет в драку... Инстинкт! Вот и мы все так-то... учи нас, не учи...

За калиткой – Баяр.

– Идемте скорей!

А сам чуть не плачет. Уж не умер ли Шаралдай, в самом деле, пока он философию разводил?

Доктор Аюша дошел до медпункта, занимавшего половину старого длинного дома. В другой половине – магазин, где вчера с Шаралдаем они бутылочку купили, выпили по стопке – ведь не больше! – в докторском кабинете.

«Только вчера! – вспоминал доктор Аюша, доставая ключи из кармана и открывая дверь. – Такой был бодрый вроде, задиристый, но... беспокойный... Вообще в последнее время... Может, какая рана старая открылась? У нас с Шаралдаем их хватает – и телесных и душевных. И неизвестно еще, какие страшнее...» – не смог удержаться доктор от обобщения. Что поделаешь – такова натура.

Да, такова натура. Еще шестилетним ребенком Аюша был отдан отцом в дацан и стал прилежным послушником, удивляя монахов страстью ко всему необычному, загадочному, чем так полны священные книги. И – памятью. Голова – ну словно котел

в монастырском дворе, огромный; что ни положишь, все вместит. Когда мальчик достаточно подрос, взял его в ученики знаменитый в округе эмчи лама, изрекший по этому случаю, что он, целитель, передаст юноше все свои знания. Вот почему после войны – еще той, первой – Аюша, закончив краткосрочные курсы, занял на селе место фельдшера. Иногда он лечил старинными, удивительными теперь способами: вместо уколов и таблеток давал, например, больному щепотки обработанных им самим трав, или пускал кровь, виртуозно пользуясь маленьким топориком, или правил кость на ощупь – словом, делал то, чему учил его когда-то учитель – эмчи лама.

Сейчас доктор Аюша сидел возле постели Шаралдая, проверяя пульс. Тонкие чуткие пальцы особым образом охватили запястье больного, глаза внимательно наблюдали за его лицом. Шаралдай едва заметно шевельнулся, медленно приподнял веки, блеснув белками.

– Голова закружилась, так муторно внутри стало, – проговорил он слабым голосом.

Невестка и внук стояли у изголовья, напряженно следя за руками доктора, нетерпеливо ожидая успокоительных слов: «Ничего страшного...» Дулма смотрела на Аюшу, как на спасителя, а что уж говорить о Баяре: тому доктор и вовсе представлялся всесильным, всемогущим... Как-то дед рассказывал про эмчи, у которого доктор Аюша учился. Так тот все болезни по пульсу распознавал! Однажды испытать его решили: дали в руки конец шелковой нити, другой наружу вывели за дверь запертую, за нить больной должен был держаться. И что же? «Чувствую птичий пульс», – сказал эмчи лама ко всеобщему изумлению. Действительно, ведь к петушиной лапе нитку привязали. Не удался розыгрыш!

А доктор Аюша между тем снял рубашку с Шаралдая и принялся по груди его постукивать, осторожно надавливать на живот. Тело сухое, но крепкое, словно давним огнем опаленное, в темно-бурых, грубых рубцах. Солдат. Прожил жизнь с достоинством, а в последнее время сдавать стал. Неужто правду люди болтают? Полз по деревне упорный, но тихий, так сказать, подколодный слушок, будто в поджоге колхозного свинарника, сгоревшего лет двадцать назад, виноват не кто иной, как его друг. Доктор Аюша от нелепых слухов отмахивался, но... но ведь и вправду изменился Шаралдай после той большой беды. Словно точит его изнутри что-то. Раны телесные, раны душевные – что страшнее?

Аюша вздохнул, накрыл больного стареньким ватным одеялом, с облегчением выпрямился, присел на табуретку, сунул руку в карман пиджака. Баяр с матерью замерли в ожидании: вот, сейчас вытащит лекарство – и чудо сотворится.

Однако Аюша достал всего лишь трубку с кисетом.

– Доктор... – жалобно начала Дулма, но тот не дал высказаться.

– Ну, чего вы оба ждете, что стоите без толку? Помощи от вас никакой, а в доме от жары не продохнуть. Ужин, что ль, готовишь? Так пойдя, огонь в сарае разведи. Понимать надо! Пусть дед ваш в прохладе полежит, и покое. И ты, Баяр, уходи... уходи-уходи, шуму от вас, гаму... Ну, я что сказал?

Доктор Аюша взялся было трубку набивать, да опомнился – и впрямь духота – рукой махнул... на свою ли забывчивость, на помощников этих бестолковых...

Те отошли наконец. Долгое, долгое молчание. И думы – боль, страдание, смерть – куда от них денешься? Идущие из тьмы веков, из собственного детства «четыре благородные истины»: существуют страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему. «Итак, главное – найти причину, – размышлял доктор Аюша, поглядывая на друга: тот лежал неподвижно. – Найти причину и определить путь освобождения...»

– Как что-то чиркнуло внутри, – задумчиво сказал Шаралдай, глядя в потолок, – будто нить жизни оборвалась...

«Оборвалась ли? – пришла вдруг лукавая мысль, но доктор Аюша себя ничем не выдал: сейчас не время свою проницательность показывать. – Никому неизвестно,

когда эта нить оборвется. В молодости весь мир обнять готов, а под конец со смертью наобнимаешься: кто кого?..»

– Видать, пришло время отправляться в Санагу овец пасти, – так же задумчиво продолжал Шаралтай.

«В Санагу нам обоим пора отправляться, – отвечал ему доктор Аюша, но про себя, мысленно, словно внушал. – Пора. Отправимся, все там будем. Вопрос – когда? Как будто праздный вопрос, но... как сказать. Я на своем веку смертей навидался и скажу: смерть – борьба, всяк по-своему борется, а ведь случалось, отступала смерть. Главное, Шаралдай, причину твоей боли найти. Знаешь ли ты сам-то?» – вот так, молча, пытал доктор Аюша своего друга, а тот словно отвечал ему слабым, дрожащим голосом:

«Я сам, все сам... Ни доктора мне не нужны, ни в больницу ни в какую я не поеду, знай. Вот так вот буду лежать и ждать. Понимаешь меня, Аюша?»

«Пока еще нет, – продолжил Аюша мысленный диалог с Шаралдаем. – Пока только догадываюсь, смутно. «Лежать и ждать»... Говорят, не смерть страшна, а ожидание ее. А потом... мертвому все равно, а вот живым, оставшимся... Родные в горе, осиротевшими себя почувствуют, друзья, знакомые пожалеют, а может быть – кто знает? – может, кто и позлорадствует. Найдутся такие, Шаралдай? И не в этом ли причина твоей смертной тоски?..»

Так вот старики и «беседовали» – столь своеобразно, что Дулма, вернувшись в дом за кастрюлей с супом – поплыл аппетитный парок по комнате – остановилась как вкопанная. Один лежит, другой сидит, оба в потолок уставились; Шаралдай аж глаза выпучил, высматривая там что-то такое, а доктор беззвучно губами шевелит, словно хочет, сердешный, высказаться, да не может. Чудно!

«Неужто и спасти невозможно? – испугалась Дулма. – Сыночки беспутные шляются где-то, а я... у меня дел невпроворот: и дом, и хозяйство, и колхозные телята... да ведь и деда жалко!»

А доктор Аюша, совершая с больным круг сопереживания, возвратился к исходному пункту: к странному настойчивому слуху о поджоге. С одной стороны, как вдумаясь, нелепость: зачем Шаралдаю поджигать свинарник свой, в котором он столько лет скотником трудился? Да не такой он человек! С другой... колхозники, первыми прибежавшие на гигантский отблеск зарева, увидели там Шаралдая (чуть ли не со спичками в руках – ну это выдумки, конечно!), тот пошатывался, бормотал что-то, потом вдруг кинулся в огонь – еле оттащили. И до утра вместе со всеми боролся с пожаром, жизни, можно сказать, не щадил – однако не сумел себя обелить. Никто впрямую, в лицо, скотника не обвинял, но отношение к нему в деревне как-то незаметно, исподволь изменилось. «Чувствует ли это сам Шаралдай? Да, чувствует. Одиночество, беспокойство, словно какой-то внутренний жар сжигает его. Недаром вчера весь вечер хвастался своими сыновьями, внуком, жизнью прожитой, какими-то успехами небывалыми... будто оправдывался, защищался. Про Ломбо поминал со злобой... несколько раз поминал...»

Доктор Аюша так задумался, что не заметил, как незажженная трубка опять очутилась в его руке. Он ее сунул в рот и сидел, посасывая, нахохлившись, словно старый мудрый ворон.

Сумерки надвигались, текли минуты тревожные, Баяр на крыльце примостился, охватив колени; Дулма, суп помешивая, то и дело из сарая выглядывала.

А вот и доктор наконец! Молча по ступенькам спустился, прошел по двору медленно-медленно, лицо задумчивое, взгляд отсутствующий. И не понять, то ли от боли морщится, то ли усмехается? Не понять.

Доктор уже собрался открыть дверь медпункта, как его окликнули:

– Аю-ю-ша! Поди-ка сюда!

Знакомый голосок, хрипловатый, пронзительный, слишком знакомый, уже порядком надоевший. Сколько лет почти каждый день зовут его с крыльца большого высокого дома, что рядом с медпунктом: «Аю-ю-ша! Поди-ка!» Оклик снисходительный, насмешливый, а то нетерпеливый, сердитый даже: не оклик, а окрик.

Доктор Аюша вздохнул, обернулся не спеша, как конь ленивый, которого внезапно дернули за удила. Так же не спеша на улицу вернулся, вошел в высокие ворота – и забор высокий, сплошной, на русский манер – зашагал, шаркая подошвами, по широкой цементной дорожке, что ведет к крыльцу. Огромный черный кобель, имеющий в предках волкодава, не шелохнулся при виде частого гостя, лишь проводил его внимательным взглядом. Доктор одолел десять ступенек и очутился перед крепкой, крупной старухой, восседавшей на открытой веранде.

Каждый раз, приходя сюда, он чувствует странную скованность – неуверенность, что ли? – и, посмеиваясь в душе, сравнивает себя с отслужившей свой срок телегой или старой ветряной кожемялкой, которым место на свалке, а не на этом вычищенном, будто вылизанном подворье. Казалось бы, загляденье! Каждая щепочка знает свое место. Огромный рубленый амбар на залитом фундаменте с надежным, размером с тарелку, замком – мощная крепость, способная выдержать длительную осаду. Рядом, под широким навесом сарая, новая телега (всегда будто новая – вот что любопытно!) поставлена на вечную стоянку. В сарае шкафы с бесшумными дверцами на прочных запорах. Внутри, на просторных полках, доктор Аюша знает, продуманно расположились всевозможный инструмент, инвентарь, причем есть такие диковинки, о которых никто из здешних не слыхивал. Прямо от сарая берут начало и тянутся вдоль забора бесконечные ряды поленьев, стройные (ни одно полнце наружу не высывается, ни одно не прячется), строго рассортированные: березовые – с березовыми, сосновые – с сосновыми, лиственничные, что при сгорании особый жар дают и постреливают, – только с лиственничными.

А возле безукоризненно круглого, очищенного от коры чурбака, на котором дрова колют, столь же аккуратная кучка щепок. Действительно: каждая щепочка свое место знает. Кажется, нарушить симметрию – полнце для топки взять или хоть ту же щепку – рука не поднимется.

И природа идеально вписывается в домовитую гармонию, например, трава в тех местах, где ей расти дозволяется, растет невысокая, ровная, будто постриженная, никакой бурьян там или репейник не выпирает. Словом, поддержанию такого порядка надо жизнь посвятить – аж страшно!

Иногда приходит в голову фантастическая идея: что будет, если им с Ломбо домами обменяться? А вот что: здешние вещи, в духе здешней деловитости, новому хозяину не захотят подчиняться, так на своих местах и останутся. Но, в свою очередь (Аюша усмехается), и его двор здешнего порядка не обретет, хоть Ломбо с женой костыли лягут.

Хозяйское добро здесь охраняет знаменитый Барс. Знаменитый тем, что всевозможная «мелочь» – шарики, жулики Хасууриды – шарахаются от него во все стороны, поджавши хвосты, когда он большими прыжками приближается к собачьему сборищу. А Булгаша доктора – прирожденный охотник – ни на кого не кидается: его и так шарики уважают. Но Барс, как ни грозен он, Булгаши побаивается, во всяком случае, боя ни разу не принял, хотя возможности время от времени возникали. Булгаша – тоже в своем роде знаменитость. Всем охотничьим повадкам доктор обучил его еще в детстве. Уже в полтора года Булгаша прославился как бельчатник, в три начал на соболей ходить – и тоже заслужил похвалу. А еще отличает этих двух

кобелей неустойчивость в собачьих свадьбах: множество их потомков по деревне бегают...

«Нет, Булгаша свой двор на здешний не променял бы, – доктор Аюша улыбается. – Да и Барсу на моем подворье делать нечего!» Сын доктора Таряша два года назад к дому пристройку сделал, а вот рамы вставить и водосток к крыше прибить не удосужился. Хотел теплый коровник построить, столбы по квадрату вбил – а до стен по сю пору руки не дошли. Тес и бруски так за домом и лежат. Куда ни глянь: что-нибудь недостроенное, позабытое, заброшенное.

«Ладно, сын только устраиваться начинает, на работе от зари до зари. Но взять, к примеру, Шаралдая: толковый мужик, трудяга, на все руки мастер. А разве его усадьбу можно с этой сравнить? У Ломбо летник – просторный, с широкими окнами, каждый год свежепокрашенный. Вот что значит хозяйству своему жизнь посвятить... и деньги, конечно. Деньги немалые. Нечасто я самого Ломбо с рубанком или с топором в руках видел, а все вокруг в ажуре...»

– Почему-то к осени у меня всегда голова болит, а? – завела свою привычную песню Дулсама. – В доме – никого, шума – ни малейшего, а в ушах жужжит, жужжит. К чему бы это? – жена Ломбо вопросы задавала из приличия для большей плавности нескончаемого монолога. – Дай мне таблетки какие-нибудь или порошок. Лучше всего тан тибетский помогает. Прошлой осенью полегчало, помнишь? А Ломбо в райцентр подался. Я ему наказала в аптеку зайти, может, какое лекарство привезет. Но пока там суд да дело – ты мне дай что-нибудь такое...

Доктор Аюша медленно поднялся по ступенькам, хотел на веранду шагнуть, да поостерегся: некогда, мол, заходить, на минутку заглянул. Монолог продолжался:

– А может, нервы? Должно быть, нервы. Ты погляди: уже четыре дня прошло, как бык у нас пропал трехгодовалый. Как голове не болеть, а? Думали, волк задрал. Обидно, конечно, но что поделаешь: судьба. А тут соседка с базара приехала, из райцентра, рассказывает: какой-то мужик ноги продает – красно-пегие. Наш бык, не иначе, окраска больно редкая! Ломбо вот и поехал поглядеть да разобраться и в милицию заявить. Не у нас у одних скотина пропадает, правду я говорю? Жили тихо-мирно, вдруг – волк.. Может, волк-то этот о двух ногах!

Обычно доктора Аюшу этот словесный водопад как-то убаюкивал. Вначале он терпеливо слушал, вскоре отключался, уносясь в мыслях далеко-далеко, и, постояв минут десять, уходил умиротворенный... Но сегодня... такой уж злосчастный день сегодня выдался, что даже Дулсама сумела задеть за живое.

– Вот и надо разобраться, кто это у нас в деревне промышляет. Правду я говорю? – задала Дулсама обычный свой вопрос – и услышала, к удивлению своему, ответ:

– Не говори лишнего. Ведь сказано: у тех, кого обокрали, у самих двадцать грехов найдется.

– Может быть, ты и прав, – согласилась Дулсама покорно, однако доктор Аюша знал цену этой покорности.

– В прозрачных сумерках лицо ее показалось неожиданно помолодевшим, румяным, без морщин. Эх, было время... да что вспоминать, полвека прошло. Но ведь вспоминается! И горько, и весело на душе. Впрочем, горечи все меньше, всех время на свои места ставит; с чистого как будто золота вдруг позолота сползает, а не приметная полущка неожиданно ясным светом засветится.

А голос Дулсамы журчал ласково, но настойчиво:

– Кабы только один наш бык пропал – ну и ладно, небось с голоду не умрем. Но ведь и твоя корова домой не приходит, а? – и Дулсама вздохнула, словно разделяя со старым другом его горе.

– Должно быть, за сочной травой далеко зашла, – отозвался он осторожно.

– Ага, за травой – на три дня. Не выдумывай! – в ласковом напеве прорвались стальные нотки. – У нее ж теленок! Как она его могла бросить? Что ты на это



скажешь?

– А ты что скажешь?

– А то, что вор в деревне объявился! И поймать его не так уж трудно, – проговорила Дулсама со смутной улыбочкой. – Обе улицы наши обойти – и почувешь: откуда идет мясной дух? Где свежатинку варят? Известно: за последний месяц никто у нас овцу не набил, я уж о корове или быке не говорю.

– А, мяса купить в том же райцентре можно!

– И продать. Чья-то невестка продавала – видели...

Вон куда метит болтливая баба! С самого начала разговора он будто предчувствовал, в кого она метит. А перед собой-то чего скрывать: да, у Шаралдая варится говядина, свежая, духовитая. Дулма сняла крышку – и аппетитный парок поплыл по комнате. И парит она мясо в доме, в такую теплынь печку топит, хотя никто еще из летников в дом готовить не перебрался. И его, доктора, почему-то не угостила, как того старинный, строго соблюдаемый в деревне обычай требует: пришедшего в дом человека готовящимся блюдом попотчевать. Или за свекра она так испугалась, что обо всем на свете забыла, или... мясо ворованное прячет?

Доктор Аюша будто очнулся и посмотрел на Дулсаму недоброжелательно. А та, пустив ядовитую стрелу, вернулась к вечной теме: любимые болезни. Вот язычок, поневоле в грех введет! Да, может, Шаралдаева невестка на базаре не продавала мясо, а как раз покупала – люди ошибиться могут! – а он про друга своего невесть что... Тут некстати вчерашний разговор их в медпункте вспомнился. «Ты посчитай, сколько в Хасуурите детей рождается, – говорил Шаралдай возбужденно. – У сына Арбандайя Данзана – тринадцать, у Доржо позавчера одиннадцатый родился, жене Гомбо как матери-героине медаль дали... И молодые, надеюсь, от них не отстанут. В городе вон – и детские сады, и ясли, и воспитатели. Воспитывают! А у нас? С утра до ночи ребятишки в пыли, в грязи возятся, а то из речки не вылазят, до посинения. Никто их не учит ничему... правда, и некогда». – «Так скажи об этом начальству». – «Э, начальство! Им бумаги писать да на собраниях высиживать времени не хватает. Скажут «ладно» – и через десять шагов забудут». – «С председателем сомона поговори, он мужик дельный». – «Да не станут они этими «пустяками» заниматься! Тут самим надо...» – «То есть как самим?» – «Давняя у меня... мыслишка: построить дом под детсад...» – вроде бы небрежно говорил Шаралдай, но чувствовалось в нем какое-то внутреннее напряжение. «Небось денег много надо?» – «Если б не много – давно построил бы». – «А, чего болтать о несбыточном!» – «А вот возьму и построю Ну, хоть первый взнос сделаю, думаю, земляки поддержат». – «А деньги где возьмешь на взнос на этот?» – «Найдутся, – ответил Шаралдай загадочно. – Говорят, мясо на базаре подорожало...»

– ...колет и колет, колет и колет. Ну что ты будешь делать! – донесся пронзительный голосок. – Прямо вот здесь, в боку,.. Да ты меня слышишь, Аюша? Какой-то ты нынче... не такой. Давеча хотела позвать, а ты куда-то подался... заболел, что ль, кто?

– Шаралдай. Дрова колот, головокружение внезапное. Видимо, сосудистый спазм...

– Что ты говоришь! А сыночков, как всегда, дома нет...

– Дэбшэн здесь, приехал.

– Да что толку-то? Одну ночь только в доме и переночевал, говорят, в шалаше жить собирается, на Харагуне. Нет, ты слыхал про такое? Сколько лет домой носу не показывать – и так своих обидеть! Плохая, плохая у Шаралдая старость, не позавидуешь... У него, кстати, скотина не пропадала, нет?.. Ах, не пропадала, понятно!.. Вообще-то семейка у них... это ж надо придумать: осенью в шалаше! Его, кажется, с работы выгнали, да? Выгнали, выгнали, десять лет коту под хвост. Старший, забулдыга, вечно в бегах – и младший не лучше оказался... Ох, Аюша, дай что-нибудь от головы, прямо раскалывается...

– Эх-хе-хе, – вздохнул доктор Аюша тяжело, спускаясь по ступенькам. – Что ж это на белом свете творится?

На закате Дэбшэн шел низом по Желтому распадку. От левого крутого склона падала, удлиняясь, плотная тень; становилось сыро и прохладно. Мерный шум – журчание водяных струй – Харагуна, берущего начало в горах, нарастал, приближался. По весне река разливается, потом входит в прежнее русло, обнажая на дне распадка широкие полосы песка и тускло-пестрой гальки; лишь кое-где отдельные островки кустарника возвышаются среди камней. Глянешь вверх – нежная лазурь небес; а в распадке, глубоком провале, уже тьма борется со светом; едва различимы, застигнутые надвигающейся тенью, камни и кусты; ели и сосны, недавно пронизанные золотым солнечным светом, словно вдруг озябли, сдвинулись, сплотились в монолитную темно-зеленую массу.

На душе муторно. Убежав от городской круговерти – суета, гонка, спешка и неоконченные дела, дела, дела! – в деревенскую глушь, Дэбшэн рассчитывал отдохнуть и успокоиться, однако вышло иначе. Во всяком случае, не так, как он рассчитывал.

Перескакивая с камня на камень, Дэбшэн ступил на круглый, величиной с зайчонка, валунчик. Но тот, как живой упругий заяц, выскользнул из-под ног и понесся вниз по склону. Дэбшэн, потеряв равновесие, осел наземь.

Громко чертыхнувшись, тотчас поднялся, отряхивая с ладоней налипший песок, побрел дальше, спотыкаясь, оступаясь... Черт знает что такое! Настроение – и без того смутное – зависело от всякого пустяка, чувство обиды, незнамо на кого, росло... Он с трудом поднялся по берегу вверх, вошел в лес. Однако и по лесу, вечернему, сумеречному, идти было не легче.

Вершины елей темнели в вышине, густой подлесок – чащоба из низенькой серой ивы и колючих кустов – стоял стеной. Дэбшэн шел напролом – по лицу, по рукам хлестали ветки, цеплялись за одежду – он упрямо шел вперед, словно на борьбу, словно бросая вызов кому-то... и вдруг резко остановился.

«С кем это я бороться собрался? – подумал он с холодной усмешкой и тут почувствовал, что весь дрожит мелкой дрожью, сердце колотилось как бешеное. – Что со мной? – принялся уговаривать он себя прерывистым шепотом. – Спокойно... спокойно... это мой лес... это моя река... я у себя... спокойно... надо взять левее, там подлесок пореже...» – он взял левее, удаляясь от Харагуна на закатный отблеск – и действительно: ивы и кустарник поредели, зато чаще стали попадаться еловые и сосновые поваленные ураганом мощные стволы. «А ведь раньше, когда я в школе учился, этого бурелома здесь не было, – вспоминал Дэбшэн, стараясь отвлечься. – А еще через сколько-то лет вся эта гниль превратится в труху и исчезнет однажды, смешавшись с землей, – он поддел носком сапога почерневшую кору, и она легко отвалилась от ствола большим безобразным куском. – Прах земной!»

Нет, отвлечься никак не удавалось. Заметно посвежело, потемнело, и лес – не тот, любимый с детства, с грибами и ягодами – а незнакомый, враждебный, обступал со всех сторон. «Спокойно, – шептал Дэбшэн. – Вот выйду на верхнюю поляну, где пасется стадо. А там уж недалеко до поскотины – и я в своем сенокосном шалаше».

Обходя одну ложбину – глубокую яму – он остановился как вкопанный. На дне ее, меж почти отвесными склонами, росли молоденькие сосенки и валялись гниющие ветвистые деревья. Там, среди вытоптанной осоки, виднелись кости какого-то животного... нет, животных... Костей было много, и они еще не побелели до меловой белизны, которую приобретают со временем.

Дэбшэн отшатнулся и зашагал быстрее. Похоже, он действительно стал неврастеником, любая ерунда выводит из равновесия. Что ж это такое? Треснет ли

сучок под ногою, вспорхнет ли ночная птица – он вздрагивает. Вроде бы никогда трусостью не страдал – противно!

А лес, его лес, исхоженный вдоль и поперек, продолжал играть с ним в прятки: вместо ожидаемой полянки возникла болотная трясина с кочками, на месте покосного луга – какие-то бугры, сплошь заросшие кустарником... Он с ожесточенным упорством продрался сквозь заросли: луг, наконец-то! Вот он, луг, на котором еще мальчишкой... но что это?. лесной клин угрюмой стеной надвигался па покосы. Этого клина, он точно помнит, здесь не было. Не было! Неужели он опять не туда попал? Дэбшэн огляделся затравленно. Постоял, плюнул, пошел... сам не зная куда... пока грудью не налетел в темноте на какое-то препятствие. Поскотина! Тяжело дыша, принялся перелезать через изгородь, кое-как одолел, но, зацепившись рукавом за кол, порвал куртку. Черт с ней! Такой уж злосчастный денек нынче выдался.

Теперь он узнавал знакомые места, но чувство одиночества, заброшенности в холодном мире – не проходило. Оружейные выстрелы, раздававшиеся где-то на другой стороне Харагуна, отзывались тревожным эхом. Тяжело пронеслась стайка пугливых уток. Покой! Дэбшэн усмехнулся. Нигде нет покоя – это надо уяснить себе раз и навсегда, а не шарахаться от каждой тени, не строить иллюзий. Жизнь есть борьба, и даже здесь, в этой родимой глуши, его подстерегает... Вдруг близкий лай собак заставил насторожиться; впереди зачернело в густых сумерках какое-то строение.

«Слишком влево взял, значит, вышел к летникам Унсэгтэ», – сообразил Дэбшэн и окончательно расстроился. Повернул было направо, но через несколько шагов остановился: настроение настроением, а голод и усталость дают о себе знать. Постоял, глядя в сторону летников, и, махнув рукой, решительно зашагал по направлению к ним.

С громким хриплым лаем выкатилась навстречу крупная черная дворняга, за ней другая – белая, – подтягивая звонко и залиvisto. Собаки обнюхали Дэбшэна и, рыча и повизгивая, двинулись следом.

«Возмечтал тут... о покое!» – ворчал Дэбшэн, оглядываясь на шавок: еще куснут сгоряча.

Так, под конвоем, он прошел мимо навеса, вдоль забора и, дернув за ручку двери первого из двух домиков, шагнул через порог.

– Дядя Гомбожап! – слышался радостный детский голос.

Прежде всего бросилась в глаза керосиновая лампа с тусклым стеклом на столе. За ним с раскрытой книгой сидел мальчик, который, повернувшись на табуретке, сделал движение навстречу вошедшему, но тотчас замер, приглядевшись.

В углу за печкой неясно угадывалась покрытая светлым покрывалом кровать, а возле печки виднелась женская фигура, белел платок на голове, блестели черные глаза, уставившиеся на Дэбшэна.

И он глядел в эти глаза, продолжая неподвижно стоять у порога. Хотел поздороваться, но не мог. Что-то странное случилось с ним: услышав радостное восклицание «дядя Гомбожап», он ощутил себя незванным гостем, бесплотной тенью, почти растворившейся в полумраке маленького дома.

Давно не бывал он здесь – и вот явился нежданный-негаданный. «Дядя Гомбожап!»! Невольное восклицание ребенка задело неожиданно сильно.

– Там у стола есть скамейка, – прозвучал звенящий напряженный голос, и женщина опустила голову.

Дэбшэн шагнул вперед, нащупал скамейку, присел к столу. Мальчик склонился над книжкой – букварь, понял Дэбшэн, – но время от времени косился исподлобья, явно неодобрительно. И она молчала... тягостное затянувшееся молчание: чем дольше длится, тем труднее его нарушить. «Уйду!» – решил Дэбшэн, но тут хозяйка загремела чугунной сковородкой на плите, заговорила (правда, не с ним, но Дэбшэну стало вроде полегче):

– Завтра у дяди ночуй, Чингис. А то пока наиграешься, пока сюда доберешься – гляди, темень какая! Чего глаза при керосиновой лампе портить.

– Ничего я не порчу, – буркнул мальчик.

– Да ведь сколько времени над букварем сидишь. Трудно? – она скользнула взглядом по лицу гостя. – Вон пусть Дэбшэн Шаралдаевич поможет. Он большой ученый.

– Обойдусь! – отрезал Чингис. – Мне учителя не нужны, – и быстренько положил книжку в портфель.

«Большой ученый! – повторил про себя Дэбшэн с иронией. – Был, да весь вышел...»

– Мы должны были на зимнюю стоянку перебраться, – продолжала хозяйка, обращаясь к гостю, – да уборка задерживает, не управляемся никак. Здешние пастбища пустые уже, надои снижаются.

«А где же ее соседка? – взглянув на кровать в другом углу, подумал внезапно Дэбшэн, едва вслушиваясь, и вдруг разволновался. – В Хасууриту подалась?.. Да ну! Сидит, должно быть, в соседнем доме да с доярками лясы точит...» – старался отвязаться от непрошенной мысли, однако волнение не проходило.

...Позавчера утром, когда Дэбшэн с рюкзаком за спиной шагнул из Хасууриты в свой шалаш, его догнала подвода. Он оглянулся на скрип колес.

На телеге сидела Мэдэгма с какой-то девушкой. Проехала мимо, потом придержала вожжи.

Дэбшэн Шаралдаевич, вот не ожидала... – начала удивленно, на миг запнулась и продолжала сухо: – Когда приехали?

– Вчера, – ответил Дэбшэн хмуро.

Мэдэгма сидела на телеге высоко, смотрела на Дэбшэна сверху, спрашивала, как ему казалось, снисходительно. Каким-то маленьким он сам себе вдруг показался.

– Куда идете? На озеро? Охотиться? – сыпала Мэдэгма вопросами, не дожидаясь ответов. – Садитесь, подвезу!

Дэбшэн сел рядом с ней на поперечную, прибитую к рамам телеги, доску. «Что спрашивает! Как будто не видит, что я без ружья...»

Мэдэгма нервно перебирала вожжи: то, подстегнув коня, заставляла его бежать крупной рысью, то, придерживая, переходить на шаг. Чтобы унять волнение, прорывавшееся наружу, отвернулась в сторону, разгадывая невидящим взглядом все, что попадалось на пути: стога, березы, камни...

Когда-то он часто вспоминал ее... возвращаясь вечером из института, или ночью в общежитии, когда одолевала бессонница, или во время скучной лекции вдруг вспыхнут ласково черные глаза... Но проходили дни, месяцы, годы в горячке поисков, в напряжении всех сил, душевных и физических, – и Мэдэгма ушла, казалось, навсегда. Нет, не ушла: в этот последний год, безнадежный и отчаянный, он все чаще вспоминал ее, цепляясь за воспоминания, как будто надеясь, что она...

– Надолго приехали? – спросила Мэдэгма рассеянно, явно думая о чем-то своем. Он помолчал в досаде какие тут надежды через десять лет! – и только через минуту, наверное, ответил – то ли ей, то ли самому себе:

– Поживем – увидим.

Так они и ехали рядом, но далеко друг от друга, перебрасываясь редкими незначительными фразами, пока Дэбшэн не соскочил с телеги и не направился крупным резким шагом к устью Харагуна.

И ни разу не оглянулся, не увидел, не почувствовал, как Мэдэгма провожает его пристальным взглядом, а молоденькая девушка, не проронившая ни слова, задумчиво смотрит вслед.

Сейчас, в полутемном домишке на краю света («Что меня сюда занесло?»), под уютное домовитое шипенье картошки на сковородке, внезапно вспомнилась та девушка. Впрочем, рассмотреть ее Дэбшэн не успел – не до того было! – лишь

осталось воспоминание о ее юности, свежести и... лукавстве.. «Должно быть, вместе доярками работают, – думал он сейчас, пытаюсь отвлечься. – Интересно, чья же она дочь? Тыщу лет в деревне не был, целое поколение без меня выросло. Может, ее родители... Тьфу! – оборвал он сам себя в раздражении. – Какое тебе дело до этой девушки и ее родителей! Зачем ты в Хасууриту приехал, в шалаше поселился, заблудился сегодня и торчишь тут... Вот она, Мэдэгма – перед тобой! А ты... ты вечно будешь висеть между небом и землей... «Ученый муж!»»

Но как ни настраивал себя Дэбшэн на душевный, так сказать, лад, как ни раздражался – что-то не срабатывало. «Неужели поздно? – мелькнула испуганная мысль. – Неужели не вернуть?..» А сам поддерживал вялый, с длинными паузами, бесконечный разговор о деревенских делах, коровах, надоях, уборке...

Мэдэгма между тем собрала на стол: жареная картошка, соленые грибки, сливки, чай, хлеб. Дэбшэн с утра ничего не ел, а кусок не лез в горло; сидел, потягивая крепкий душистый чай; Мэдэгма же и вовсе ни к чему не притронулась. Зато Чингис уминал за троих, не уставая, однако, следить за непрошеным гостем и матерью настороженным взглядом.

«Может, из-за мальчишки эта странная неловкость, неестественность? – размышлял Дэбшэн. Так смотрит, словно... Ерунда! Ребенок – что он понимает!..»

Наконец Чингис наелся и по категоричному материнскому приказу вынужден был отправиться спать. Но не лег, а сел на кровати, прислонившись к подушке и глядя на гостя все так же упорно, исподлобья. Глядел, глядел – да так сидя и уснул, мгновенно, без перехода, по-детски.

Мэдэгма раздела мальчика, так и не проснувшегося, накрыла одеялом, убрала со стола и присела – только угол стола разделял их.

– Что ты молчишь? – тихо спросила она.

Если б знать! Дэбшэн усмехнулся. Если б знать, зачем он вообще тут сидит целую вечность? И молчать неумоготу, и говорить, и совсем уж невозможно встать и уйти.

– Что ты молчишь? – повторила Мэдэгма, слегка наклонившись к нему. Вдруг померещилось, будто она хочет обнять. Он в непонятной панике откинулся назад, плотно прижавшись к стене, и смятенно, чуть ли не с испугом уставился на нее. Чего он так запаниковал? Круглое смуглое лицо светилось в тусклом золотистом свете лампы, уголки губ чуть изогнуты в легкой улыбке, волосы, черные, отливающие красноватым блеском, подобраны в тяжелый узел на затылке, курчавятся на висках. И взгляд – нежный, мягкий, хочется сказать: милосердный. Наверное, никто и никогда не смотрел на него так. А может быть, он не замечал? Никого и ничего не замечал вокруг себя в бешеной гонке, называемой им жизнью? И, остановившись на мгновенье, испугался этой нежности?

Мэдэгма подперла ладонью щеку, задумчиво, открыто глядела в родное лицо, такое близкое сейчас... прямо не верится, что вот – он здесь.

И будто молодость вдруг нахлынула на нее – голоса, краски, движения, беззаботный смех – и пятнадцати лет разлуки как не бывало... деревенские гулянки по вечерам, и она, чувствуя его взгляд в толпе, смеется еще беспечнее...

Дэбшэн, тогда маленький, смуглый, подвижный парнишка, был на два года моложе, но к восемнадцати внезапно вытянулся, раздался в плечах, загустели широкие полосы бровей над большими карими глазами, черные волосы поднялись шапкой над высоким лбом, зачернел над верхней губой первый пушок... ну прямо мужчина! Раньше всех это заметили, разумеется, сверстницы... нет, Мэдэгма. С удивлением и интересом следила она за этим превращением – она, уже взрослая девушка, после школы работавшая на ферме.

Где б ни собиралась местная молодежь, рядом с Мэдэгмой непременно видели Дэбшэна, но о настоящей причине этого никто не догадывался: сбивала с толку разница в возрасте. Ребята крутились возле нее, ухаживали напропалую – но

безуспешно. Странно, конечно, но никому и в голову не приходило обвинить в этом Дэбшэна. И когда позже, уже студентом, он приезжал домой на каникулы, никто не замечал, как Мэдэгма словно расцветала: улыбается чаще, смеется звонче, напевает весело, глаза искрятся и работа будто горит в руках. А Дэбшэн... Дэбшэн считал, что она всегда такая и есть.

Но вот – университет позади, красный диплом, будущее – аж дух захватывает! Последнее беззаботное деревенское лето. Друзья собрались в дом Шаралдая отметить успехи Дэбшэна, разошлись за полночь... А Мэдэгма, набравшись наконец решимости, попросила виновника торжества отвезти ее на мотоцикле на летнюю ферму. Все как сейчас. Так же горела тусклая лампа и тени копошились по углам, и никого не было в маленьком домике на краю света, кроме них двоих, и Мэдэгма так же подошла и села рядом. Только в ту пору жгучее лето набирало силу, а сейчас надвигается зябкая осень и в углу за печкой на сколоченной из досок кровати спит ее сын.

Пятнадцать лет прошло, их не выкинешь. Все эти годы она работает дояркой, уезжает на зиму в Хасууриту, а на лето возвращается сюда, в Унсэгтэ. Начинает зеленеть трава, деревья покрываются нежной листвой, распускаются цветы, медовые, душистые – чтобы потом увянуть и осыпаться. Пятнадцать лет. И вот он сидит, совсем близко – можно дотронуться рукой, прикоснуться губами – а так и не понять, о чем он думает, что чувствует. Как тогда. Они лежали на этой кровати под лоскутным одеялом, она прижималась к нему изо всех сил – не различить, его ли сердце так тяжело бьется, ее ли, оба одновременно... Она ждала: вот, сейчас он скажет слово – и все переменится! Он молчал. Потом встал: оделся торопливо, шаря в темноте, склонился над ней, поцеловал в висок, едва притронувшись губами, и вышел. «А как же... я?» – хотелось закричать, заплакать... Она напряженно вслушивалась в плотную тьму. Взревел мотоцикл оглушительным ревом... тише, тише, совсем не слышно... все было кончено.

Через год Мэдэгма вышла замуж за Цезаря, сына Ломбо, родила сына. Однако вскоре разошлась.

И вот: снова ночь, они вдвоем, тишина в старом домике, лампа на столе, он молчит. «Постарел, – думает Мэдэгма, – морщины... и волосы поредели, а глаза... то ли усталые, то ли измученные... Видно, тоже нелегко эти пятнадцать лет дались!»

– Устал на охоте?

«Охотник! – Дэбшэн чуть не рассмеялся язвительно. – Я такой же охотник, как ученый человек. Опять Мэдэгма в небо пальцем попала...»

– Устал. Не уток и гусей стрелять в болотах Харагуна – бумагу марасть устал.

– Ничего, отдохнешь в родных местах, сил наберешься – в городе тебя не узнают. Вот увидишь! – говорила Мэдэгма ласково, словно ребенка успокаивала. – Лето никудышное было, дождливое, зато, говорят, осень сухая будет.

– Да, похоже, осень будет хорошая, – рассеянно согласился Дэбшэн и добавил внезапно: – Но обратно в город я не вернусь.

– Вот как? – Мэдэгма поглядела внимательно. – Работу свою закончил?

– Скорее покончил с ней, – отозвался Дэбшэн с усмешкой.

– Чем же будешь в деревне заниматься?

– А, ноги есть, руки есть. Подвернется что-нибудь.

– Но ведь на черную работу ты не пойдешь, – спокойно заметила Мэдэгма. – Начальством каким-нибудь сядешь или специалистом, директором школы...

– Нет, нет, – отмахнулся Дэбшэн, поморщившись. – Физический труд – это как раз для меня.

Мэдэгма с сомнением окинула взглядом худую фигуру («А какой крепкий паренек был!»), изможденное лицо, руки, лежавшие на столе, – белые, с длинными пальцами, давно отвыкшие от лопаты, скажем, или от косы.

– Ничего не понимаю, – прошептала она.

– Видишь ли, Мэдэгма, – заговорил он глухо, стараясь выражаться попроще, – я несколько лет работал над одним вопросом теоретической физики. Но теперь необходимость отпала...

– В тебе отпала необходимость или в вопросе? – тихо спросила Мэдэгма.

– Неважно... ну, во мне, во мне. Ну, не могу я тебе всего объяснить, не поймешь. Не каждый специалист поймет.

– Да, конечно, но... – она запнулась, подбирая слова. – Наверное, можно взять другой вопрос, не такой трудный, а?

Дэбшэн улыбнулся.

– Можно, можно... но неинтересно, понимаешь? Мне самому неинтересно.

– Тебе виднее, – согласилась Мэдэгма. – Если неинтересно, то, конечно... – она помолчала. – Только я не пойму, почему тебе тем вопросом... ну, своим... нельзя заниматься? Профессора, что ли, так сказали?

– Во-первых, мою тему не включили в план научно-исследовательских работ. И я был вынужден другими делами заняться. Работа вроде бы несложная... со стороны, – Дэбшэн улыбнулся. – Ты не поверишь: сидит дядя и загоняет в разные круги маленькие квадратные камешки и обратно из кругов выводит. Вот как это выглядит со стороны. Так я и сидел, а свои исследования в нерабочее время гнал, по ночам, в выходные. Что-то не сходилось в расчетах, как заколдобило... Знаешь, детские кубики с рисунками, складываешь – картинка: волк, медведь или лиса. Не той стороной кубик поставишь – картинка не получится. Вот и у меня не получалось. Никак! – Дэбшэн усмехнулся, дернувшись щекой, и закончил резко: – А у других вот в результате опытов получилось. Так что я свои «кубики» должен был забросить.

– А те, другие-то, не ошиблись? – осторожно поинтересовалась Мэдэгма,

– Не ошиблись.

– Значит, кончено дело?

– Нет, разумеется, опыты продолжают, новые серии. Наука – поиск, одно открывает путь другому, а там – третьему... и так до бесконечности, куда живо человечество.

– И здесь, конечно, ты эти самые опыты проводить не сможешь, – грустно подытожила Мэдэгма.

Дэбшэн улыбнулся – на этот раз мягко, как ребенку... вроде бы чуть-чуть полегчало на душе.

– В таких экспериментах, бывает, сотни людей участвуют, тысячетонные машины, напичканные сложнейшей электроникой... иногда одна подготовка к эксперименту годы занимает...

– Ну вот, а ты хотел один, по ночам свою картинку сложить!

– Представь себе, теоретик может свою идею вычислить, на бумаге доказать. Я не смог!

Не смог. Конечно, не смог, иначе не сидел бы вот так, сгорбившись, в деревенском летнике. Что ж, и она не восемнадцатилетняя девчонка, чтоб признавать только победителей. Мэдэгма пробормотала уважительно:

– Знать, непростая идея была. Мне-то, разумеется, где понять...

«И не надо, – хотелось Дэбшэну сказать, – мне и так с тобой хорошо». Хотелось сказать, но не сказалось. А ведь и вправду хорошо, тепло, уютно, рядом женщина, глядит ласково. Что еще нужно человеку? Дэбшэн вздохнул. Представил, как уходит, ищет свой травяной шалаш в кромешной тьме, где двое не увидят друг друга, не узнают, пока не обнимутся. Найдет шалаш – если найдет – заберется под тонкое одеяло, сверху еще плащ накинёт и... ведь не заснет, так всю ночь и промучается в заколдованном своем кругу. Коротко вздремнет на рассвете, проснется разбитый, с тяжелой головой, чтоб начать новый бессмысленный круг – повторение прежнего, ежедневного...

Он с надеждой посмотрел на Мэдэгму, заметил мелкие морщинки возле глаз – и

словно еще ближе стала она ему, еще роднее. Кажется, протянуть руки, прижать к себе изо всех сил, ощутить нежное женское тепло – и разорвется постылый круг, и новый мир, счастливый и уютный... Он обнял ее за плечи, мягко притянул, пробормотал, задыхаясь:

– Прости за все, ты знаешь... Я ведь к тебе приехал.

В эту минуту он сам верил в то, что говорил; однако – странное дело! – его слова что-то нарушили в тихом спокойном мирке старого дома; Мэдэгма отстранилась, медленно, но настойчиво, мелькнуло сомнение в черных глазах.

– Мэдэгма, – говорил он торопливо, пытаюсь вернуть прежний доверчивый настрой, – ты же меня понимаешь? Что было, то прошло, я постараюсь... мы хорошо заживем...

Черные глаза вспыхнули – насмешка? ирония? или все-таки ласка?

– Поэтому ты сюда и приехал?

– Поэтому, – ответил он поспешно.

Какое-то мгновение они глядели глаза в глаза, и вдруг она улыбнулась застенчиво, как бы говоря: знаю, что неправда, но так и быть...

– Хороший ты человек, – сказал Дэбшэн задумчиво, взял ее руки, прижал к лицу, вдохнул полузабытый запах молока, травы, навоза и дыма.

## 6

Дверь скрипнула, мужчина в темном распахнутом плаще возник на пороге. Узкое длинное лицо – неясное серое пятно в полумраке – казалось неживым.

Дэбшэн вздрогнул от неожиданности, но рук Мэдэгмы не выпустил и уставился на вошедшего широко раскрытыми, грозно заблестевшими глазами, как бы ожидая, что тот сгинет во тьму. Мэдэгма отняла руки и отодвинулась вместе с табуреткой – протяжный скрип ее вернул Дэбшэна к реальности.

«Дядя Гомбожап!» – со злостью подумал он. – Подкрался, как «тать в нощи», даже собаки не залаяли. Всех сумел завлечь – и животных, и детей, и... хозяйку?»

– Незванный гость, русские говорят, хуже татарина, – ядовито произнес Гомбожап, непонятно, к кому адресуясь: то ли к себе, то ли к Дэбшэну – и, по- бычьему нагнув голову, подошел к столу. – Извините, коли не вовремя...

Гомбожап, не сняв плаща, уселся за стол напротив Дэбшэна – потянуло резким спиртным духом – и прищурил опухшие глаза, продолжая с шутовским вызовом:

– Услышав о приезде, посчитал своим долгом встретиться. И вот нашел. Я бы тебя нашел и под землей, превратись ты хоть в червяка, хоть в гусеницу. Разделим радость встречи?

– Разделим... радость, – буркнул Дэбшэн: поразмыслив, он решил с пьяным в пререкания не вступать, может, уберется подобру-поздорову...

– Ну как, все свои частицы заарканил? Всех в отдельные клетки загнал, а? Как зверей в зоопарке? Небось, слава спать не дает! Таблица химических элементов Менделеева – таблица элементарных частиц Азаргаева... Звучит? Знай наших!

Дэбшэн побледнел, но сдержался; Мэдэгма поднялась резко, заговорила сердито и решительно:

– А тебе злота спать не дает, а? Прямо жизнь не в жизнь, коли не сцепишься с кем-нибудь... Эх, старые друзья называются, встретились...

– Мне что, с ним целоваться прикажешь? – Гомбожап сплюнул. – А то я не знаю, зачем он сюда явился! Все знаю...

– Ладно, не дури, ребенка разбудишь, – отозвалась Мэдэгма примирительно, но, кажется, только подлила масла в огонь.

– Кто из нас дурит – это еще разобраться надо, – упрямо гнул Гомбожап свою линию. – Мы народ простой, а ты, – он ткнул пальцем в Дэбшэна, – мог бы выбрать другое место... где поразвлечься. Как приехал, так и назад уедешь, а мы тут...



– Дэбшэн насовсем приехал, – перебила Мэдэгма с насмешливой улыбкой (двусмысленной – отметил про себя Дэбшэн: к Гомбожапу она относилась или к нему, к Дэбшэну... непонятно).

– Здесь будет жить, – продолжала Мэдэгма. – Научную работу свою он бросил.

– Ах, вот оно что... – протянул Гомбожап, усиленно что-то соображая. – Вот оно что! По этому поводу требуется... сами понимаете. Ну, Мэдэгма, мечи пироги на стол для дорогого гостя!

Он встал, снял плащ, небрежно перекинул его через спинку кровати, снова подсел к столу – Дэбшэну показалось даже, что он протрезвел – и спросил недоверчиво:

– Правду Мэдэгма говорит?

Дэбшэн молчал, продолжая угрюмо наблюдать за Гомбожапом. Да, старые друзья, да, нравился когда-то его острый язык и колючий нрав. «Нравился... покуда этот язычок против меня самого не обернулся!» И главное: в грубых и несправедливых выпадах Гомбожапа была какая-то... пусть ничтожная, но доля правды. Черт его принес! А тот продолжал, не дождавшись ответа:

– Коли Мэдэгма правду сказала – грош тебе цена. Я же тебя как облупленного знаю! Натолкнулся на препятствие какое-то там – и сразу в кусты. Что, не так?

– Во всяком случае, у тебя совета не попрошу, – процедил Дэбшэн, чувствуя, как заломило левый висок.

– Где уж, нам, неучам, советы давать! – подхватил Гомбожап смиренно. – А я все-таки дам. Нет, выскажу свое мнение. Имею право? Так вот: терпеть не могу трусов. Что уставился? Повторяю: трусов! Гляди, Мэдэгма, ведь сейчас с кулаками на меня бросится. А я тебе свое мнение растолкую, слушай. Помнишь, ты мне всю ночь эту самую... как ее?. вот вспомнил – единую теорию всех природных взаимодействий... помнишь, как расписывал? Дарвина и Эйнштейна поминал? Ну, может, по молодости ты занесся чересчур, размахнулся... Бывает! Замахнулся, как говорится, и промахнулся. Выходит, не Эйнштейн. Ну и что? Сразу руки опустились? А ты не отступай, чем-нибудь еще займись, попроще. Ан нет! Тебе надо или все, или ничего! Вот я и говорю: не вышла слава – сразу в кусты!

– А тебе пить надо меньше! – зло перебила его Мэдэгма, шумно ставя на стол сковородку с картошкой и грибы. – Как напьется, так... Чего к человеку привязался?

Но Гомбожап все больше входил в раж.

– Ты сколько лет учился? – пылал он праведным гневом. – Сколько на тебя средств государство потратило? И все попусту! Здесь он жить будет! Здесь, к твоему сведению, каждый ребенок и старик – я уж о прочем населении и не говорю! – каждый свое дело знает. А твое здесь какое дело?

– А твое? – не выдержал наконец Дэбшэн. – Какие такие подвиги ты совершил здесь за тридцать пять лет? А ведь тоже – сельскохозяйственный кончил, горы думал свернуть.

– Не обо мне речь! Нас с тобой не равнять, я и в школе-то... не отличался, заочный кончал и вообще... повертелся б ты тут в моей шкуре... завфермой... – Гомбожап махнул рукой и кончил неожиданно: – Водка меня сгубила – вот что.

«Это точно, – подумала Мэдэгма грустно. – Была б жива Валя... при ней он так не пил. Детей жалко... да и его, дурака!»

– Так отметим, что ли, встречу-то? – Гомбожап вытащил непечатую бутылку из внутреннего кармана пиджака.

– Я с тобой пить не буду, – отрезал Дэбшэн.

– Брезгуешь значит?

Гомбожап вскочил, Дэбшэн тоже поднялся, медленно, не сводя глаз со старого друга. Мэдэгма стояла, растерянно переводя взгляд с одного на другого.

И в этой чреватой последствиями паузе скрипнула дверь, распахнулась, маленький мальчик шагнул через порог.

– Дядя Дэбшэн! – закричал Баяр. – Едем скорей домой, с дедом плохо.

Еще засветло примчался Баяр на коне в верховья Харагуна, однако дядю в шалаше не застал и долго просидел в терпеливом ожидании. Сумерки сгущались, закатные лучи освещали верхушки сосен и елей... вот-вот наступит полная тьма, а дядя Дэбшэн все не появлялся... Баяр торопливо разжег крошечный костерок, принялся подбрасывать охапки сена, они сгорали мгновенно, почти не озаряя подступающий вроде бы со всех сторон лес. Баяр заплакал. Вообще-то он не боялся ни темноты, ни одиночества, но в такой переделке оказался впервые. Жутко!..

Бросив догорающий костер, он взобрался на коня и помчался вскачь, не разбирая дороги. Однако умный конь сам разыскал жилье. Два бревенчатых домика, собаки несутся с залиvistым лаем. Подбежали, обнюхали, подпрыгивая, всадника – и вдруг разом дружелюбно завиляли хвостами, заскулили радостно, тыкаясь мордами в ноги. Так ведь это же собаки Чингиса! Значит, тетя Мэдэгма здесь, на летней ферме. Баяр сразу воспрянул духом, спешился и побежал на слабый, но такой приветливый в ночи огонек в окошке первого домика.

– Шибко не суетитесь, – такими словами встретил Шаралдай сына. – Аюша был давеча. Может, оклемаюсь, а ежели суждено к богам отправиться – никакие врачи не помогут.

Но Дэбшэн, не слушая, поспешил в красный уголок – дом на краю деревни, где обычно проводились собрания и где был единственный в Хасуурите телефон.

Красный уголок, как и следовало ожидать, был на замке. Что делать? Дэбшэн полюбовался на огромный амбарный замок, подумал и направился к дому Ломбо.

Ворота на запоре. За забором беснуется матерый черный кобель. Дэбшэн постучался, прислушался и начал колотить кулаком в ворота. Собака исходила в бешеном лае.

Но вот в доме зажегся свет, кто-то, невидимый в темноте, спустился по ступенькам, послышался знакомый низкий голос:

– Кто там день с ночью путает?

– Откройте, дядя Ломбо! Это я, Дэбшэн!

Ломбо цыкнул на собаку – и та умолкла. Затем неспешно подошел к воротам, пытаясь, выдернул поперечную жердь, загремел цепью, защелкнул замком. Наконец обмазанная дегтем створа открылась мягко и бесшумно; перед Дэбшэном предстал, загораживая проход, Ломбо в пижаме и домашних тапочках. Приземистый и плотный, он казался таким же прочным и неприступным, как столбы из мощной лиственницы, меж которыми он стоял.

– Ключ от красного уголка у вас? – спросил Дэбшэн.

– Что случилось? – поинтересовался старик властно.

– Хочу на центральную усадьбу в больницу позвонить. Отцу плохо, – Дэбшэн сам почувствовал, как в голосе его прозвучали просительные нотки.

– Так они тебе на ночь глядя и разбежались.

– Пусть вызов запишут, завтра с утра приедут.

Ломбо что-то буркнул, важно повернулся и зашагал к дому, тяжело переставляя ноги. Кобель – натуральный волкодав – лег на бетонную дорожку против ворот, положил длинную морду на крупные лапы и уставился на Дэбшэна. После приказа хозяина лаять он не смел, но откуда-то, как будто из живота, исходило равномерное грозное рычание.

«Недаром говорят, что собака становится в конце концов похожей на своего хозяина», – подумал Дэбшэн. Они сами собак никогда не держали. «Зачем она человеку, который не охотится и добра много не накопил?» – говорил отец. Вообще,

как это ни странно, его страстью – именно страстью, иначе не назовешь, – были быки. Бедный отец! Жалость подступила к горлу, Дэбшэн нервно зашагал взад-вперед под прицельным взглядом ошестинившегося кобеля.

Да, добра за свою долгую жизнь Шаралдай так и не нажил. В двадцатые, после японской оккупации, дали землю, народ кое-как встал на ноги. Тут пошли коммуны, артели, товарищества, объединялись, расходились, роптали, одобряли... чего только не было! Наконец начали создавать колхозы, устроились, начали жить. Только-только в силу вошли – война. Так и прошла молодость отца. После фронта женился, дети родились, нелегко было. Дэбшэн считает, что его поколение настоящей нужды не знало. А все ж пришлось походить в рубашках заплатанных да в унтах из голой кожи. Жили в основном картошкой; конфеты, например, в диковинку, только по праздникам. Но особенно туго пришлось, когда свиноферма сгорела, где Шаралдай скотником работал. Хлебнули нужды. Непьющий отец вдруг попивать начал, с матерью цапаться, их, пацанов, «воспитывать», по двору и по дому все запустил.

И только тогда духом воспрянули, когда принял отец колхозных быков. По вечерам стал приходить довольный, веселый, ни в одном глазу. И ребят частенько с собой на ферму брал, правда, не слишком-то доверял им, тряся над своими быками ненаглядными. Бадмаху – старшего – и вовсе к ним не подпускал: для того что быки, что куры – один черт. Зато в работе за старшим сыном никому не угнаться, отец ему поручал иногда навоз убрать, воды привезти. Дэбшэну доверял побольше, но всегда поблизости находился: малый старательный, но мало ли что... накормит не так или вдруг – боже сохрани! – ударит.

Шаралдай возился со своими быками, как нянька – с детьми любимыми. Не только поил, кормил, на пастбище выгонял – он их и почешет, и погладит, и побеседует, душу отведет. Потому что нет животного благороднее и достойнее (будто гимн пел отец), бык не станет суетиться без толку и не боится никого! И если уж разрушит изгородь или копну разметает, то сделает это открыто, не таясь и не опасаясь. Бык не обидит того, кто слабее, – телку, к примеру, или вола (продолжал славословить отец своих любимцев), это не то, что шавка какая-нибудь, которая так и норовит броситься на слабого, особенно ежели в доме своих хозяев: знает, не дадут ее в обиду. А бык не станет зря хорохориться или хвастаться силой. Случается, конечно, взревет, землю копытами роет. Но не из хвастовства, а для порядка: чтоб знали всякие твари мелкие, кто тут главный. А преданность? О бычьей преданности отец мог говорить часами. Особенно часто вспоминал одну историю – и ребятишкам никогда она не надоедала.

Однажды отец искал в степи свою телку, как вдруг увидел: огромный бык, по прозвищу Атаман, несется прямо на него. «Ну, – думает Шаралдай, – конец мне, на рога поднимет!» Дело в том, что Атамана этого самого на все лето в райцентр возили на выставку: отвык, значит, от хозяина, бодливым, нервным стал. Ничего не оставалось Шаралдаю, как лечь и притаиться между кочками. Пришел его последний час. А бык приближается – аж ветер свистит, аж земля дрожит под тяжелой поступью. И что же? Атаман подошел, фыркнул, ткнулся широкой мордой в бок Шаралдаю и замер. Тот с трудом глаза разлепил – и тоже замер: стоит над ним бык, склонившись и... плачет, слезы из глазищ карих так и текут, крупные, горячие... «Не верите? – строго спрашивал отец у ребят – те верили, всем сердцем. «Ведь и вправду верили!» – вспомнил сейчас Дэбшэн с грустной улыбкой. – Так и было, – уверял отец. – Недаром говорят: даже ворон хоть раз в жизни прольет слезы радости!» Шаралдай, по его словам, сам чуть тогда не заплакал, достал из кармана чистый платок, который вчера собственноручно выстирал и выгладил даже... Достал он, значит, платок и принялся заботливо и нежно вытирать глаза великана, якобы обмякшего, растроганного в эту чудную минуту...

Одним словом, счастлив был Шаралдай в кругу своих любимцев, как вдруг где-то сверху заговорили об искусственном осеменении коров и был спущен

циркуляр, призывающий сдать всех быков за ненадобностью. Шаралдай как услышал про эту ерундовину, так тотчас к Ломбо, бывшему тогда бригадиром (то есть высшим начальством в Хасуурите), прибежал – и ну возмущаться:

– Чего ж это вы надумали, а? Без быка корову стельной сделать? Тьфу! Стыд и срам!

Ломбо хохотал, за бока схватившись.

– Да на что тебе эти быки сдались?

– «На что сдались! На что сдались!» Да бык – он... да бык не хуже нас с тобой будет. Он же живой, чувствует... и пользу приносит. Испокон веков корова от быка телилась, а вы... вы ж закон природы рушите! Ничего не добьетесь, помани мое слово!

Быков все равно угнали. Он стоял оглушенный, опираясь на загородку опустевшего загона, глядя им вслед.

Самый старый, прозванный Красным, бык местной породы шагал во главе стада. Он был ниже других, но телом длинный и крепкий – постоянный умный вожак. Никогда никто не видел его в схватке с другими быками, наверное, все привыкли подчиняться ему смолodu, потому и не осмеливались мериться силой. Когда Красного хотели однажды ликвидировать – плохой, мол, породы, местной, – Шаралдай горячо заступался:

– Ничем он не хуже ваших симментальских. Телята от него здоровые, мясистые, коровами справными становятся... молоко вон как сливки...

Тогда прислушались, а теперь – всех под корень. Старый вожак, свесив голову, брел по пыльной дороге. А за ним так же бесшумно и покорно следовали остальные – в свой последний путь по осенней грустной поре.

За вожаком трусил, полуприкрыв глаза, пегий – победитель всех весенних схваток. И летом именно он в коровьем стаде первенствовал. В могучем теле неистовая сила дремала – до будущей весны, когда земля и, кажется, сам воздух забродят пьянящими соками, когда солнышко пригреет... нет, не видать ему тон весны. Так же, как и ступающему за ним черно-пестрому, недавно привезенному из Иркутской области. И сумма, за которую он колхозу достался, вызывала почтительное уважение. Молодой, легконогий, резвый – сейчас он шагал медленно, время от времени вскидывая мощную голову, словно вопрошал окружающих, куда это их гонят.

А самый младший в стаде, двухгодовалый бычок с белым пятном на лбу – сын Красного – больше всех суетился, раздувал ноздри, с шумом втягивая воздух, делал прыжки то в одну, то в другую сторону... вот задел кого-то, на чьи-то рога напоролся и затих вроде.

Однако на этом приключения молодого быка не кончились. Вот он осторожно пробрался между пегим и черным и поравнялся с отцом. Тот мотнул мордой, насторожился. «Правильно, милый, правильно! – шептал Шаралдай в отчаянии от покорности, с которой его быки идут на убой. – Расшевели их всех! Милый!»

Отец и сын вдруг вырвались вперед, вожак резко развернулся, растопырив ноги, угрожающе подставив рога. Парни на конях, подгонявшие быков, поскакали за беглецами, догнали, закружились на мосте, натянув поводья. И тут двухгодовалый бычок рванул сквозь строй, понесся огромными скачками к еловому лесу и исчез.

Люди молча глядели вслед – доярки, скотники, погонщики... Ломбо махнул рукой, развернул коня и поехал в деревню крупной рысью.

А Шаралдай хохотал – зло и торжествующе. Никогда Дэбшэн не слышал, чтоб отец так смеялся. Когда очень радуется, то потихоньку лицо поглаживает, покачиваясь то вперед, то назад, и посмеивается тихонько, почти беззвучно. Сейчас же словно незнакомый человек на носках приподнимается, кулаком стучит по изгороди... подбородники шапки болтаются незавязанные, голова трясется, рот широко открыт, торчат редкие желтые зубы...

С тех пор Шаралдай похудел, почернел, работал спустя рукава, молчалив стал.

Мать Дэбшэна – она тогда еще жива была – испугалась, уговаривала мужа к врачам обратиться, лекарства какие-то доставала, заставляла пить.

Отец же перегородил загон для коров и однажды пригнал из лесу удравшего быка. И как будто ожил слегка, даже лицом посветлел.

А по весне все деревенские вынуждены были смелому быку поклониться. Первым Ломбо пришел, ведя на поводу свою корову-трехлетку.

– Да, ошибка с быками вышла, – признал он степенно. – Дурная у нас привычка: зажмурился глаза, так сказать, за рога хватаемся... не проверивши, не подумавши. А уж если сверху жмут, мы на все готовы...

Шаралдай промолчал тогда, вообще в присутствии Ломбо он... Дэбшэн остановился круто... Куда он пропал? Почему ключ не несет? Кобель зашевелился, предупреждающе рыкнув. Действительно, похожи: хозяин буркнул, пес – тоже, по-своему. Станный человек Ломбо.,.

Наконец хлопнула дверь, застучали по ступенькам, по дорожке шаги, drobные, торопливые. «Да Ломбо ли это?» – удивился Дэбшэн, вглядываясь в густую, хоть глаза выколи, тьму. Да, Ломбо. Подошел почти вплотную, часто дыша, спросил (и как будто волнение слышалось в голосе):

– Отец серьезно заболел?

– Не знаю я ничего, – отозвался Дэбшэн с досадой, взял – почти вырвал – ключ у Ломбо, повернулся и пошел быстрым шагом по пустынной деревенской улице.

– Телефонная книга, Дэбшэн, там на столе! – крикнул старик вслед.

Открыл красный уголок, пошарил справа от входа – выключатель впустую щелкнул, свет не зажегся, видать, лампочка перегорела. Чиркнул спичкой: в тусклом сумраке от крошечного пламени письменный стол у окна, телефон, толстый потрепанный справочник... огонь обжег пальцы... Наконец кое-как, израсходовав три спички, нашел нужный номер, поднял трубку: шипенье и отдаленный треск. «Черт возьми! – ругнулся Дэбшэн. – За что тут ни хватись – ничего не действует! – постоял в раздумье. – Ладно, хоть к доктору Аюше сбегаю».

## 8

Доктор с Булгашей возвращался с вечерней тяги и, по своему обыкновению, размышлял о жизни. О ее быстротечности, неумолимости думал он... Болезнь Шаралдая, намеки Дулсамы... их общая далекая молодость, которая, впрочем, не перешла плавно и незаметно в зрелость, а оборвалась у Аюши неожиданно и стремительно.

Еще двадцати не достиг он, как дацан закрыли. Что ж, помолился, чтоб осуществились заветные желания – и в миру исцелять людские болезни и страдания, – домой вернулся, снял с себя красное орхимжо и вместе со всеми встал за артельную соху. И дернула ж его нелегкая увидеть однажды Дулсаму – да, да, ту самую Дулсаму, которую нынче величают старухой Ломбо – увидеть как-то по-особенному, другими как будто глазами (разговаривая с подругой, она вдруг покорно опустила нежное тонкое лицо), увидел ее лицо – и влюбился без памяти. Нежданно-негаданно вместо бога Ошото появился другой бог... В хувараках был – божеские книги изучал, молился, о девках не думал, а тут земного счастья пожелал, надеялся: истинное счастье – с любимой соединиться, детей родить и вырастить... И Дулсама начала поглядывать ласково, но встрял меж ними Ломбо. Как же, начальник, важный, наган в кобуре на поясе, длинные волосы отрастил, ходит, гривой потряхивает, командует. И поползли по деревне слухи: лама среди нас, куда ж, мол, товарищи, посмотрим... Исключили из артели, сослали на север, в тайгу...

Так вот и оборвалась молодость. На студеное севере на лесозаготовках чего только не навидался, каких только людей перед ним не прошло. Испокон веков люди угнетают друг друга – и никакие религии этому не смогли помешать. В чем же корень

зла? Непонятно. У теперешних, у школьников даже, на все готов ответ, а Аюша начинал с нуля. «Как освобожусь, – мечтал он, – займусь историей: какие порядки у разных народов, как развивалось человечество, в какую сторону идет?..» А пока приступил к русской грамоте – помогли добрые люди.

Однако не столько исторические книги – прах времен, сколько сама жизнь, суровый и прекрасный двадцатый век – чем прекрасен он? тем, что именно в этом веке, и никакой другом, суждено нам жить? – так вот, сама жизнь дает уроки. На фронте на собственной шкуре познал Аюша «порядки у разных народов», а уж наглядился... выжженные села, виселицы, печи за колючей проволокой, рвы и трупы, трупы, трупы... Так что «угнетение» – это еще мягко сказано. Насилие тотальное беспощадное – вот на что, оказывается, способен человек! Однако в этом гигантском всемирном пожаре молоденький недоучка-санитар продолжал упорно размышлять о самом, по его мнению, главном: как добиться счастья, мира и справедливости? И так уж он был устроен, что мысли эти сопровождали, и даже направляли, всю его жизнь.

Булгаша вдруг зарычал, залаял оглушительно, со всех дворов отозвалось собачье эхо. Кто-то, смутный в темноте, вышел из его, Аюши, калитки.

– Никак, Дэбшэн? – неуверенно спросил доктор, цыкнув на пса. – Стар я стал, не вижу ничего.

– Я, я, здравствуйте, – отозвался Дэбшэн. – Смотрю, у вас окна темные, не стал стучаться.

– Это ты правильно, внуки спят... А я... – доктор Аюша махнул рукой. – Иной раз до свету не заснешь. Ты ведь из-за отца пришел?

– Ну да.

– Пойдем в дом, я переоденусь. Только тише.

Они поднялись на веранду, доктор свет зажег, ружье на стену повесил, сбросил в угол брезентовый плащ, сел на низенькую табуреточку и начал с великим трудом стягивать резиновые сапоги с длинными, до самого паха голенищами, приговаривая:

– Видно, и в самом деле невезучий я человек. Представь себе: в десяти шагах в селезня не сумел попасть. В десяти! Во всем не везет... Взять, к примеру, карты... Ты играешь в карты?

– Нет!

Дэбшэн стоял, прислонясь к дверному косяку, страдальчески морщился, наблюдая долгие сборы. «Какие-то карты... При чем тут карты? Или он отвлечь меня хочет?..»

Доктор Аюша тем временем, кончив возню с сапогами, принялся разматывать длинные добротные портянки... разматал и бессмысленно, как казалось Дэбшэну, устался на худые голые ноги.

– Так вот, играл я как-то раз в карты...

– Дядя Аюша, там отец...

– Знаю, знаю, я его недавно смотрел. Сейчас пойдем.

Наконец старик переобулся, накинул на себя черное драповое пальто, погасил свет, они вышли – и будто окунулись в чернильный мрак, и доктор, к немалому раздражению Дэбшэна, продолжил свою бесконечную картежную историю:

– Так вот, уже после войны играл я однажды в Болдео в карты. А мы все как раз с деньгами были: мясо продали, я сам телку-двухлетку сдал. На банке крупная сумма. И на первых порах карта хорошая шла, говорят, с новичками это часто бывает, а я на деньги до этого никогда не играл. Да и после уже не играл: невезучий оказался. Начал я робко, а как козыри пошли – осмелел. Раз выиграл, другой... Ну, думаю! А тут погода и переменялась: проигрыш за проигрышем. Что делать?.. Вообще-то меня втянул в эту историю отец Ломбо.. Ты знал отца нашего Ломбо?

– Нет! – отрезал Дэбшэн, ускоряя шаг.

– Ну, ну, Дэбшэн, мне за тобой не угнаться. Как русские говорят: поспешишь – людей насмешишь. А отец Ломбо – это был тип! В молодости, еще до революции, у

одного богатейшего скотовода служил, с монголами торговали. И вот однажды в Иркутске понесло отца Ломбо в картежный дом, где он деньги проиграл, что за целое стадо выручил. Не свои, конечно, а хозяина. С горя побежал на железнодорожную станцию по вагонам шарить. Там встречается неожиданно с одним боханским торговцем. «Что ты тут делаешь?» – удивился тот. А отец Ломбо отвечает: «Не знаю, что и делать. Разве что голову на рельсы – н конец. Хозяйское стадо в карты проиграл». – «Э! – сказал боханец. – Из-за такой ерунды умирать? На тебе деньги, рискни. Авось отыграешься – тогда отдашь. А нет – так нет». Что ты думаешь? Ведь отыгрался! Везучий – не то что я. Я свои денежки на две части разделил, в тряпочку завернул да в голенище сапог засунул. А отец Ломбо шепчет: «Не паникуй – вернется счастье». Не вернулось. Сначала один сапог опустел, потом второй... А тот все шепчет: «В займы возьми – отыграешься». Но тут уж я опомнился и больше – веришь? – никогда...

– Вы в медпункт будете заходить? – перебил старика Дэбшэн.

– Туда и иду. Погоди малость.

Дэбшэн остался стоять на улице. В темноте резко светились окна Ломбо. «Смотри-ка, не ложится, а ведь недавно, кажется, я его с постели поднял...» Вспыхнули три окна медпункта и вскоре погасли, послышались шаги доктора. «Сейчас опять про карты заведет», – подумал Дэбшэн с тоской, но старика занимало теперь другое.

– Если вдуматься, – начал он без подходов, стараясь не отставать от Дэбшэна, – вся наша жизнь – сплошное ожидание. Как картежник в большой игре, где ставки крупные, своего туза ждем. Сначала я ждал: вот стану настоящим ламой-лекарем. Ты не думай, меня хвалили, будущее улыбалось. Тогда старались, чтоб чуть не в каждом доме был гэбшэ, в каждом улусе – габжа. Сэндэ-Аюша из Хасууриты, говорили, хорошим ламой будет. Это теперь меня привыкли просто Аюшей звать, про Сэндэ я и сам позабыл. Есть бурхан, долголетие людям дарящий, – Сэндэ-Аюша. Раз уж у меня такое знаменитое имя, думал я, надо всеми секретами Отошо овладеть, познать болезни и страдания и, кто знает, сделать людей долгожителями. Вот куда я в мечтах-то залетал...

«И до сих пор залетает! – думал Дэбшэн неприязненно. – Нашел время вспоминать, пока тут...»

– Вас больной ждет, – заметил он холодно. – Может быть, умирает (сказал – и страшно сделалось!), а вы в воспоминания ударились!

— Эх, сынок, – сказал старик грустно, после паузы, – есть такие воспоминания, что всю душу у человека выворачивают. Ты молодой, конечно, будущим живешь, а мы с твоим отцом... нам есть что вспомнить.

– У меня тоже кое-что найдется, – возразил Дэбшэн угрюмо.

– Ну что ж, тогда ты должен стариков понять. Старость... – доктор Аюша помолчал. – С десяти шагов в утку не смог попасть!..

Сегодняшний день у Ломбо складывался в общем удачно: в районной милиции к нему отнеслись со вниманием, даже кое-что записали, и насчет дочки он договорился, и насчет «Волги», и жене лекарства достал, и попутка сразу попала. На ней он ехал из райцентра по шоссе до проселка, а там уж свой местный до Хасууриты подвез, так что до дому он добрался раньше, чем рассчитывал.

Эта маленькая удача в ряду других еще больше подняла настроение. Веселый и довольный, возвратился Ломбо домой, на веранде почистил щеточкой запылившийся в дороге плащ, аккуратно повесил его в шифоньер, туда же – выходной костюм. Надел коричневую пижаму, в которой любил ходить дома, поужинал, походил по комнатам... Сознание собственной удачливости распирало, страсть как хотелось

выложить подробности поездки – да некому: Дулсама, собрав ужин и наглотавшись таблеток, завалилась спать, а дочь и вовсе из своей комнаты не вышла – то ли книжку читает, то ли спит. Пора и ему на боковую... Ломбо совершил последний обход по дому, выключил свет – как вдруг в ворота постучали...

Как ни странно, известие о Шаралдае выбило из колеи, хотя с чего бы это, спрашивается?.. Давно умолк в ночи торопливый гулкий стук шагов Дэбшэна, а старик все сидел на ступеньках веранды. Спать расхотелось. «М-да, видать, тяжело заболел, раз ночью забежали, – размышлял Ломбо. – Немудрено, если концы отдаст...» Трое их осталось на деревне, трое, прошедших огонь, воды и медные трубы: он, Ломбо, Аюша и Шаралдай. Выходит, Шаралдай первый...

Ломбо силился припомнить, чем болел старый... друг? приятель? или враг?.. С фронта он, конечно, слабый вернулся, но ни на что особо не жаловался. Курил много, в кашле заходил, но работал как вол, не отлеживался. Однажды с лошади упал, копчик отшиб, но быков своих не сдал... И еще... да, после пожара. Вел себя, можно сказать, героически (Ломбо усмехнулся), весь обгорел, в больницу попал чуть жив. Но едва положенный срок вылежал; домой рвался. Говорил, будто печень налимыя от ожогов – первое дело, лучше всяких лекарств поможет... Эх-хе-хе!..

Пожар тот чертов! Было-было, да быльем поросло – ан нет, не забывается. Помнит, как горячил коня, летел на огненные языки во тьме, аж сердце заходило. Когда прискакал, уже все четыре свинарника полыхали вовсю. В жгучих дрожащих сполохах каждый кустик, каждая кочка высветились. Чернел на горизонте лес. Небо мутное, беспокойное, жар, дым, треск, посвист, крики, причитания, визг, хрюканье, вонь от горелого мяса, мелькающие тени, грязные в саже и копоты лица... Невдалеке на подножке своего «газика» пристроился председатель колхоза, головушку повесил, бледный, расстроенный... Поделом! Пожар – это последняя капля, наверняка снимут!.. Ломбо с громким токотом проскакал мимо, резко осадил коня, спешился... Кто-то орал благим матом:

– Куда ж он полез! Держите! Сгорит ведь!

Он подбежал к огненному кольцу, навек запомнил, как перехватило тогда дыхание и волосы на голове зашевелились от нестерпимого жара, и в багряном блеске будто ослепли глаза... Нет, не ослепли! Все помнят, все видят как сейчас. Ломбо закрыл глаза: огненные языки с треском заплясали во тьме... застонал...

– Папа, что ты? – раздался в ушах нежный голос (треск и огонь вдруг исчезли).  
– Что-нибудь случилось?

В освещенном дверном проеме стояла дочь, встревоженно глядя на него, вот подошла, прикоснулась рукой к плечу.

– Да ничего, ничего... все нормально.

– Так чего ж ты тут сидишь... ночью?

– Захотелось – и сижу.

– Какие-нибудь неприятности в райцентре? – продолжала допытываться дочь и присела на ступеньку рядом.

– Какие у меня могут быть неприятности! – Ломбо словно очнулся и заговорил с обычной своей самоуверенностью. – Не родился еще тот человек, который сумел бы меня одолеть. И не родится – так и запомни! А в аймак как раз очень удачно съездил. С главным врачом договорился: берут тебя медсестрой в больницу.

– Не поеду, – сказала дочь и отвернулась.

Ломбо чуть не вскипел, но сдержался, знал уже: здесь лобовой атакой ничего не добьешься.

– Что с тобой, Катюша? – спросил мягко, участливо. – Четыре года проучилась, не сегодня-завтра – врач.

– Я же говорила, что не буду врачом, – в голосе дочери ему слышалось только упрямство.

Снова их беседа возвращалась «на круги своя»: теперь каждый их разговор



кончался спором.

– А кем же ты будешь? – поинтересовался Ломбо спокойно, сдерживаясь.

– Не знаю.

– Будешь всю жизнь коров доить?

– Не знаю.

– А я знаю! – закричал Ломбо, но тут же опомнился, сбавил тон, заговорил рассудительно, как с ребенком: – Кончится твой академический отпуск... я понимаю, ты устала, надо было передохнуть... кончится отпуск – и поедешь учиться. Такой конкурс одолела – не шутка – неужели теперь...

– Не я этот конкурс одолела, – перебила дочь насмешливо, – а ты.

– Ну, ну, не выдумывай... Я, конечно, помог, не спорю, но как же не помочь близкому, если есть такая возможность? На том мир стоит. Выйдешь замуж, появятся дети – поймешь.

– «На том мир стоит»! – подхватила дочь. – Плохо, значит, стоит. Ведь у нас полкурса, наверно, таких, как я, блатных...

– Чтоб я этого не слышал.

– Блатных! Детки начальников – и я в том числе. Помню я суету во время экзаменов, целая толпа родителей во дворе собралась, пока мы сочинение писали. Не помнишь? И ты... в новом костюме, с сигаретой... Я все глядела-глядела в окно на тебя, ничего в голову не лезло...

– Ладно, ладно... что было, то прошло. Четыре курса без моей помощи училась – как-нибудь еще два одолеешь...

– Вот именно: «как-нибудь»! Полкурса – как-нибудь... Что мы за врачи будем?

– Слишком много рассуждаешь...

– Ну пойми, папа, ну не мое это дело! За четыре года разобралась... да что там: сразу! А все тянула, вот так же думала: «как-нибудь»! Вас с матерью боялась огорчить. И вдруг поняла – не могу...

– Заладила... «не могу, не могу»... Сможешь!

– Папа, я...

– Все, хватит на сегодня!

Молчание. Долгое непримиримое тяжелое молчание. Стало отчего-то жаль отца (как он сидел тут... одинокий, странный какой-то...), она спросила рассеянно, чтобы отвлечься и его отвлечь:

– Кто приходил-то?

– Когда?

– Да вот, в ворота колотил.

– А, Дэбшэн.

– Дэбшэн! Зачем? – она сразу насторожилась.

– За ключом от красного уголка. Отец вроде у него заболел.

Дочь поднялась, спустилась по ступенькам, прошла взад-вперед по бетонной дорожке, постояла, глядя вверх, опять заходила медленно, то попадая в полосу света, падающего из окна дома, то исчезая в густом сумраке... стройная тонкая в светлом сарафане с оборками, в разношенных домашних тапочках на босу ногу, волосы – пышная грива под круглым гребешком... Его Катюша. Хороша, ничего не скажешь, но бестолкова! «И в кого ж она такая бестолковая уродилась? – размышлял Ломбо, наблюдая за мятущейся легконогой тенью – розоватым мотыльком в ночи. – Летит на огонь! И сама не поймет, как сгорит... А может, все они нынче такие? Молодые-то? Вон и Дэбшэн... хотя какой он молодой, а туда же... все бросил! Работу важную какую-то бросил, чтобы – курам на смех! – в шалаше деревенском пожить. Шаралдаю на старости лет подарочек... Шаралдай!» – вновь метнулась тревожная мысль. Ломбо резко встал, позвал:

– Катюша! Пойдем-ка спать!

– Сейчас! – отозвалась она, не обернувшись, шагу не сделав. Ломбо

беспомощно махнул рукой и отправился в дом.

А ночь стояла бескрайняя, беззвучная, звездная. Как тогда. «Неужели он меня позавчера не узнал?.. Да ведь неудивительно! Когда-то он меня артисткой назвал... Хороша «артистка» – в застиранном халате на телеге едет в Унсэгтэ коров доить!.. Интересно, почему он тогда сказал, что я буду артисткой? В них что-то особенное, загадочное, а во мне? Разве что петь люблю? Но это ничего не значит... И все же он назвал меня артисткой, а позавчера не узнал...»

С тех пор пять лет прошло. Выпускной класс, урок астрономии, учительница объявляет, что вечером в школе для десятиклассников состоится лекция. «Дэбшэн Шаралдаевнч Азаргаев – местный уроженец, теперь крупный ученый любезно согласился в свой отпуск...» Ожидали с любопытством, однако «местный уроженец» мало напоминал «крупного ученого»: так, молодой человек, почти их ровесник (всего пять лет прошло – а позавчера она сама его с трудом узнала). Дэбшэн Шаралдаевнч так рассказывал о строении вселенной, что сумел заразить и тех, кто сроду астрономией не интересовался. После лекции посыпались бесчисленные вопросы; ребята вошли в азарт; девочки, наоборот, притихли, наблюдая за «крупным ученым», каждую мелочь оценивая, переглядываясь, перемигиваясь...

Потом звонкой стайкой высыпали из школы, чтобы воочию удостовериться в величии и бескрайности вселенной. И ночь надвигалась беззвучная, звездная... «Ой, смотрите! Звезда упала!» – закричала она, подняв руку. «Это не звезда, а комета, – сказал Дэбшэн Шаралдаевич, вглядываясь в ее лицо: они стояли рядом. – Звезды не падают, Ханда», – добавил он. «Ее не Ханда, а Катя зовут», – поправил кто-то. «Нет, она Ханда, – возразил Дэбшэн Шаралдаевич. – Я всех в Хасуурите знаю». Она вспыхнула радостно. Он прав! Он действительно ее знает! Ей дали имя Ханда, и в метрике так записано. Это потом отец Катюшей прозвал, ну и все привыкли. А он знает! Это открытие словно намекало на какую-то близость меж ними; стараясь закрепить, подчеркнуть ее, она спросила, волнуясь: «А почему звезды не падают?» Признаться, в тот момент ее меньше всего занимал этот вопрос. Он что-то принялся объяснять подробно, она ничего не слышала, запомнилась только последняя фраза: «Звезды могут гаснуть». – «Обязательно? Все погаснут? – стало грустно отчего-то. – Но, может, есть хоть несколько... ну хоть одна негаснущая?» Он засмеялся ласково, снисходительно. «А вам бы этого очень хотелось?» – «Очень!» – «Вот станете астрономом... – начал было он и сам же себя перебил: – Впрочем... вы, должно быть, артисткой будете? – «Почему артисткой?» – «Так... вы похожи на артистку...»

С тех пор Катюшу – так она захотела – все стали называть Хандой.

## 10

Стараясь не шуметь, Ломбо вошел в спальню и услышал голос жены с кровати:

– Где ты ходишь?

– А ты чего не спишь? – недовольно пробурчал он; еще когда на ступеньках сидел и смотрел на дочь, мысли его приняли новый тревожный оборот.

– Только задремала – кто-то в ворота колотит. Кого это носит по ночам?

– Дэбшэн за ключом от красного уголка приходил. Звонить в больницу собрался... Шаралдаю плохо.

– Ах, ему плохо, – протянула Дулсама с усмешкой. – То ли еще будет! Вот приедет милиция – во всем разберется.

– Да помолчи ты! – взорвался муж. – Я уж жалею, что заявление подал. Из-за какого-то быка...

– Из-за какого-то...

От изумления Дулсама задохнулась, но почти сразу обрела второе скандальное дыхание; скрип кровати – значит, она села, собираясь с силами для борьбы. Ломбо неподвижно стоял у окна, глядя во двор: летник, амбар, колодец, сарай, штабеля

дров... душу во все это вложил – неужели придется расстаться?

– Из-за какого-то быка, говоришь? – продолжала Дулсама со зловещим спокойствием. – А тебе известно, что какой-то бык... наш собственный бык не меньше чем на тысячу потянул бы, а? Так вот пусть Шаралдай, ненасытная утроба, нам эту тыщу отвалит. Пусть он...

– Да погоди ты! Еще неизвестно ничего...

– Известно! Вся деревня говорит, что у Шаралдая мясо не переводится, небось живот с ворованного пучит... или прикинулся умирающим, чтоб ответ за все не держать. За все! Они привыкли жить на ворованное. Забыл, что ли, как ревизия подходила и он свинарник поджег?

– Замолчи! – рявкнул Ломбо; только любящие жены способны так угодить в самое больное место.

– Это почему же я должна молчать! – возмутилась Дулсама, но тон несколько сбавила. – Да что же это: свои кровные денежки коту под хвост? Эдак милостыню скоро просить пойдем! Ты же сам говорил, деньги сейчас на машину нужны, а? Говорил?

– Говорил, говорил...

– Ну и как? Есть надежда?

– Может, в конце осени... – отозвался Ломбо рассеянно, а ведь как домой спешил похвастаться удачей: не «Жигули» какие-то, которые сейчас на каждом углу встретишь, а «Волга» – предел мечтаний – кажется, сама плыла в руки. И вот, из-за Шаралдая этого чертова, возможно, все пойдет прахом. «А также, – шепнул некий внутренний голос, – из-за твоей собственной жадности! Зачем в милицию ходил, заявление писал, на Шаралдая намекал?..»

Ломбо отскочил от окна, нервно прошелся по дому, зажигая везде свет... Привычные дорогие вещи – ковры, хрусталь в серванте, резные шкафы и мягкие кресла, громадные ветвистые олени рога над зеркалом – все эти вещи не приносили гордости и успокоения. Он вгляделся в отражение в зеркале... седая щетина, морщины глубокие, старость... голым пришел сюда, голым и уйдешь... «Ну, ну! – одернул сам себя Ломбо. – Мы еще поборемся!» – и решительным шагом вернулся в спальню. Жена сидела, прислонясь спиной к подушкам, притихнув, наблюдала за ним внимательно. Чего-чего, а чутья у нее не отнимешь: всякую пакость видит за версту.

– Что случилось? – спросила она негромко. – Что-нибудь с Шаралдаем связанное?

Ломбо рывком распахнул один из шкафов – с расхожей одеждой – достал сапоги с брюками, начал переодеваться.

– Куда ты на ночь глядя?

«Куда, куда... – подумалось в раздражении, – сам не знаю куда..» – и он пошел к выходу: зуд беспокойства требовал действий, а каких – он сам еще не знал.

Жена, уже не на шутку встревоженная, встала и, шлепая босыми ногами, пошла следом.

– Да что такое, Ломбо? Ты можешь сказать? Да что...

Входная дверь захлопнулась перед самым ее носом. «Да что ж это такое, в самом деле! Из аймака приехал довольный... Или... – Дулсама улыбнулась с усмешечкой. – Или болезнь старого друга так расстроила? – усмешка стала шире. – Как бы не так!»

Резкий ночной холодок освежил, как будто привел мысли в порядок, и на полпути к дому Шаралдай Ломбо вдруг круто остановился. «Куда это я лечу как сумасшедший? Ночью... в дом больного... что они обо мне подумают? Только в огонь масло подолью. Спокойно! Ничего страшного пока не случилось, может, и не случится...» Тут он опять вспомнил, как намекал участковому на Шаралдая, и чуть не застонал. Сам, сам лично натравил милицию на этого... умирающего! А вдруг он вправду умирает? И перед смертью захочет душу облегчить? Конечно, захочет этот...

правдолюбец!.. И его, Ломбо, заодно на чистую воду выведет. Ему-то что, высказался – и умер, а тут... «Но ведь я не поджигал! – пытался Ломбо успокоиться. – Шаралдай поджег, а подстрекательство... пусть докажет, свидетелей не было, мы вдвоем были, а я буду все отрицать: нет, нет и нет!»

Ломбо сам на себя дивился: и свинарник он действительно не поджигал, и разговор тот был наедине, и столько лет миновало – кажется, плюнуть да забыть. Но вот поди ж ты – страх, смутный, темный, глухой – не проходил. Все эти годы – вот что удивительно! – он ощущался подспудно, до первого толчка, который и вызвал его наружу.

Ломбо все-таки дошел до дома Шаралдая, постоял за забором, глядя на освещенные окна. Воображение разыгралось. Может, вот сейчас, в эту минуту, старый дурак приступил к исповеди, а Аюша, Дулма, ученый этот знаменитый и... кто там еще? вся деревня?. слушают, затаив дыхание. Надо немедленно позвонить, отказаться от заявления... Бык утонул в болоте, и дело с концом... Ломбо поспешил в красный уголок, дошел, подергал дверь – ключи остались у Дзбшэна – наконец сообразил: ночной звонок в милицию произведет весьма странное впечатление. И побрел домой, едва передвигая ноги – так вдруг устал.

Однако дома Ломбо ждали новые испытания – проклятая ночка, наверное, никогда не кончится. Жена встретила его неожиданным вопросом:

– Где Катюша?

– То есть как – где?

– В комнате нет, во дворе тоже...

Супруги в полной растерянности уставились друг на друга.

– Проклятье! – заорал Ломбо. – Не одно – так другое, не другое – так третье... – и уселся, как был, в ватнике и брюках рабочих, на разобранную кровать. – Может, у нее кто есть?

– Откуда мне знать?

– Кому же, как не матери, об этом знать! Да для тебя, кроме здоровья твоего драгоценного, ничего не существует... Ладно, объявится – никуда не денется. Я с ней начистоту поговорю. Институт бросила... – все неприятности сошлись вдруг и разом, хотелось закрыть глаза, уснуть мертвым сном, ни о чем не думать. – Ладно, спать давай... – Ломбо поднялся, начал раздеваться. – Надеюсь, ты никому не болтала тут, что я заявление в милицию собрался подавать?

– Никому... – Дулсама замаялась. – Только Аюше сказала, хотела у него лекарство попросить...

– Аюше? – Ломбо встрепнулся. – Зачем?

– Да так просто... нечаянно с языка сорвалось.

– Длинный язык – петля для шеи, умные люди говорят, – медленно сказал Ломбо и взглянул на жену так, что она испугалась. – Твой длинный язык меня до петли доведет.

– Ломбо! – ахнула Дулсама.

– Что «Ломбо»? – заговорил он устало. – Аюша про твою болтовню дружку старому донесет? Донесет. Шаралдай сообразит, что им милиция интересуется? Сообразит...

– Ну и пусть! Раньше надо было соображать, теперь ответ держать придется...

– Ответ, говоришь? Одному ли ему ответ придется держать? – загадочно как-то произнес муж и ушел на кухню.

«Да что ж это такое? – удивлялась Дулсама. – Что происходит-то? – она забралась в постель и задумалась, глядя в потолок; в голове гудело. – Вот ведь не взяла у Аюши тан... но кто бы подумать мог, что ночь такая выдастся? Из-за чего сыр-бор? Из-за быка?.. Небось Шаралдай лежит сейчас и сокрушается, что зря перед смертью такой грех на душу взял. Так вот бьешься-бьешься с утра до ночи, добро наживаешь, а потом вон сляжешь, как Шаралдай, – и ничего не надо, никакого добро с

собой туда не унесешь. А жизнь прошла...» Дулсаве вдруг так жалко себя стало, вдруг представилось, что не Ломбо муж ее, а Аюша. «Когда-то он на меня ой как поглядывал, была бы докторшей. Ну и что хорошего? Стирала бы пыль с тибетских да русских книг да умные разговоры слушала. Да одна по хозяйству надрывалась бы! Аюша какой хозяин? Никакой... и легкие у него плохие. А Ломбо – хваткий мужик и... наверное, он прав, – Дулсама поморщилась, вздохнула. – Прав. Как-то неудобно соседа, да еще больного, из-за быка в тюрьму сажать. Бог с ним, быком, – решительно сказала она себе. – А вот дочь...» – мысли ее было приняли новый оборот, как вдруг послышались шаги на кухне, в коридоре, хлопнула дверь: Ломбо опять ушел незнамо куда.

Когда Дэбшэн с племянником покинули летник, оставшиеся – Чингис так и не проснулся – долго молчали.

Гомбожап, положив могучие кулаки на стол, не сводил колючего взгляда с двери; мутные глазки так и поблескивали. Мэдэгма стояла возле печки, словно озябнув, и задумчиво глядела на дрожащий огонек керосиновой лампы.

Гомбожап развернулся вместе с табуреткой и заявил:

– Вот так вот: в шею его гнать отсюда!

И такая злость прозвенела в его голосе, что Мэдэгма поразилась и так же – зло на зло – ответила:

– Гнать? Разве Дэбшэн не сам ушел? А ты остался со своим лаем, как наша рыжая шавка во дворе.

– Я-а-а? – Гомбожап задохнулся от возмущения, но за словом в карман не полез: – Я – шавка? А тебе кобель нужен? Волкодав или бульдог?

Мэдэгма вздрогнула как от удара, черные глаза вспыхнули на побледневшем лице – она сделала шаг вперед и отчеканила:

– Ну-ка убирайся отсюда!

Гомбожап и сам понял, что слишком далеко зашел – струхнул немного и вроде протрезвел, – однако с места не двинулся. Как хороша была сейчас Мэдэгма, словно преображенная страстным гневом, какая сила чувствовалась в ней!

– Ну, ты тоже... обзывать, – начал он было примиряюще, но тут некстати вспомнил «шавку» и вскипел: – Обзывать! Не позволю!

– Это я тебе не позволю! Ничего не позволю!

– А Дэбшэну? – Гомбожап нашел в себе силы усмехнуться; усмешечка жалкая вышла, вымученная. – Дэбшэну все позволишь?

– Это мое дело, – отозвалась она презрительно. – Ему – может быть.

– Давай, давай, позволяй... Но помяни мое слово: тут его и след простынет. Вот увидишь...

Мэдэгма не слушала больше, такая усталость навалилась вдруг, показалось; сейчас упадет. Ногой нащупала табуретку у стола, опустилась на нее в изнеможении, руки на стол, как Гомбожап, положила. Не такие, конечно, кулачищи, но... распухшие, красные, шершавые (не то что изнеженные пальцы Дэбшэна), крестьянские руки.

Ничего не знал Гомбожап, а сумел ткнуть в самое больное место: «тут его и след простынет». Ведь так оно и было. Опомнись! Размечталась... А Гомбожап продолжал греметь, ободренный тем, что ему не возражают:

– Больно мы ему нужны, деревенские. Да он нас всех с потрохами за одну элементарную частицу продаст...

И тут он прав. Только тогда и загорелся Дэбшэн по-настоящему, когда о своей работе заговорил. В самом деле, ничего не существует для него, кроме частиц этих самых... и она, Мэдэгма, не существует.

– Да он, в сущности, никаких трудностей не знал, как сыр в масле катался, – продолжал Гомбожап свои обличения; ведь и вправду приятно обличать других: таким себя чувствуешь безукоризненным, мудрым и справедливым. – Эгоист высшей марки. Думаешь, он тебя или, к примеру, меня поймет? Поймет наши с тобой страдания? («Страдания твои – в бутылке водки», – подумала Мэдэгма, но смолчала). Нет и нет, все под себя гребет. Физиком великим себя возомнил! Тут его и щелкнули по носу. И кто же он оказался? Оказался: ди-ле-тант!

Тут уж Мэдэгма не выдержала. «Эгоиста» она еще кое-как снесла, «щелчок по носу» стерпела, но «дилетант»... незнакомое слово, мудреное... какая-нибудь гадость в высшей степени!.. настолько ядовито и торжествующе протянул его Гомбожап. Она сразу выпрямилась, усталости как ни бывало, глаза сверкнули давешним огнем.

– Ты за что же это Дэбшэна так срамишь? – воскликнула с вызовом. – Говорю, уходи отсюда! Чтоб глаза мои тебя не видели!

– И уйду! – взорвался Гомбожап; ему-то казалось, что она со вниманием его слушает, соглашается. Вскочил, опрокинув табуретку, ринулся к двери, но у порога обернулся и выпалил: – Я-то уйду, но ты смотри не пожалей!

– О чем это?

– Да хотя бы о том, что я... что мы..,

– Ну, ну, договаривай.

– Эх, Мэдэгма! – сказал он тихо. – Я ведь всерьез, я думал жизнь с тобой строить, а ты...

Какую-то долгую-долгую минуту они глядели друг на друга. Гомбожап – исподлобья, в ожидании. До него дошло уже, что ведет он себя глупо, по-дурацки, прицепившись к ней с этим Дэбшэном... и выпив для храбрости. Но должна же она понять тоску его черную! Должна?.. Гомбожап вгляделся в ее лицо – холодное, отчужденное. «Совершенно посторонний человек! – мелькнула отчаянная мысль. – Чего я вообразил? Чего торчу здесь и унижаюсь? Ради детей? Их-то хоть сюда не впутывай! Тебе самому она нужна, а ты ей...»

Мэдэгма догадывалась, что когда-нибудь Гомбожап выскажется, хотя вообще-то считала, что пора признаний, от которых голова кружится, миновала для нее. И вот он высказался. Ну и что? Неплохой мужик, несмотря на язык поганый, от которого сам же и страдает. И пить-то он начал после смерти своей Вали... Неплохой. Так говорила она себе, уговаривала, кляня свое постылое одиночество. Но сегодня... «Зачем принесло сюда Дэбшэна? Что ему в действительности нужно от меня? Что им всем... за что они меня мучают?..»

Последнюю фразу она невольно произнесла вслух, Гомбожап встрепенулся.

– Кто тебя мучает?

– Вы... все!

– Да я сам мучаюсь. Разве я такой был? Вспомни, Мэдэгма! А жизнь бьет, бьет...

– Всех вас жизнь бьет! – отмахнулась она с раздражением. – Как сговорились сегодня... Небось в счастливую пору про Мэдэгму не вспомните, а как подперло – прибежали... слезу выжимать. Жалкие вы мужики, коли у бабы опоры ищите! – подбоченилась, рассмеявшись со злостью. – Что, не так? – Гомбожап молчал растерянно, и она dokonчила после паузы, грустно: – А я тоже, может, устала да измучилась. Мне, может, самой опора нужна. Можешь ты мне это дать, а?.. То-то же!

Гомбожап опустил голову, сорвал свой плащ со спинки кровати и вышел за дверь, не оглянувшись.

Не споро, но и не тихо, шагом размеренным и осторожным добрался Ломбо до дома Шаралдая. «И чего испугался? Пока в воду не войдешь, она все ледяной кажется, – уговаривал он сам себя, подходя к калитке. – Ну словно малец десятилетний,

заробел. А дело требует внимания: как говорится, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать...» Ломбо решительно отворил калитку, грузно протопал по ступенькам и шагнул через порог.

И сразу в глаза бросилась старая железная кровать у стенки слева от входа. Шаралдай до подбородка закутан в ватное одеяло, под головой подушка в голубоватой наволочке, а лицо!.. Холодок пробежал по спине, Ломбо попятился, огляделся с испугом – и только тут сообразил; в синем свете ночника все лица в комнате отливают зловещей голубизной. Полутемная комната казалась пещерой, рыжеватая борода Шаралдая – пучком водорослей, а сам он – точь-в-точь чертик болотный, тот самый, что с некоторых пор начал посещать Ломбо в ночных кошмарах.

Думая о Шаралдае весь нынешний вечер, Ломбо видел его почему-то не ровесником, с которым чуть не каждый день встречался, а как тогда, на пожаре: суховатым, жилистым, ловким, отнюдь не старым мужиком. Контраст поразил: на кровати лежал глубокий старик. Да... и живой ли?

Словно в ответ веки у Шаралдая слегка дрогнули, меж ними блеснул мутный, точно сквозь слезу, слюдянистый огонечек – показалось вдруг, больной подмигнул... «Тьфу, пропасть!» Однако наваждение продолжалось: померещился слабый голосок, почти шепоток, ну прямо – Ломбо поежился – зов откуда-то... оттуда, из мира как будто нездешнего: «Ломбо!»

Он перевел взгляд на синие – проклятый ночник! вроде бы нечистой силой зажжен! – губы больного: Шаралдай позвал его или вправду померещилось? Однако лукавый старик не ворохнулся, веки опущены, губы плотно сжаты. Ломбо нервно оглянулся.

В изножии кровати застыли Дулма с сыном. Напротив сидит на табуретке доктор Аюша (самозванец: фельдшеришка по нынешним понятиям – но вся деревня его «доктором» величает, и Ломбо привык), сидит спиной к ночнику, лицо в тени и вроде бы мрачно насуплено. Посреди комнаты, расставив ноги, скрестив руки на груди, грозным судьей – Ломбо все сейчас принимал на свой счет, – возвышается Дэбшэн.

Неподвижные жутковатые синие лица обращены к нему, Ломбо. «Что происходит? – в панике подумал он. – Неужели Шаралдай все разболтал?»

– Так-так... – протянул доктор Аюша, – значит, ты пришел.

«Эх, опоздал я, дурак! Наверняка сболтнул! И кому? Всегда я этого охотника чертова терпеть не мог... Ишь, вытаращился, уши наострил, будто по следу идет, только ружья не хватает...» Мысли, обрывки мыслей метались как угорелые, а слова не шли с языка – как вошел, так и стоял столбом у порога. Уйти? Нельзя, подозрительно... да и невозможно: ноги как ватные, колени подрагивают, поджилки трясутся. Никогда еще в такую скверную переделку не попадал.

Ломбо бросил робкий взгляд на... покойника? Умер он в конце-то концов или нет?.. перевел глаза на доктора Аюшу, умоляя мысленно: «Ну, скажи! Успокой!» И тот сказал, но не успокоил:

– Такое, значит, дело! – сказал доктор тихо и загадочно. – Такое, значит.

«Все знает! – Ломбо аж пот прошиб. – Все знает и играет, как кошка с мышкой!»

– Так вот и конец человеку приходит, – говорит доктор будто бы в пространство, ни к кому не обращаясь, однако искоса на него, на Ломбо, поглядывая. – Раны телесные и раны душевные – муки адские, как в старых книгах говорится, – ведут к концу.

«Раны? – соображает Ломбо лихорадочно. – Какие раны? Военные раны, что ль, у Шаралдая открылись?»

– А кто наносит эти раны? – доктор Аюша словно мысли подслушивает. – Человек – человеку!

«Это меня ты имеешь в виду? – продолжает Ломбо мысленный допрос. – Меня или не меня?»

И доктор Аюша отвечает:

– Взять, к примеру, Ломбо, тебя (Ломбо похолодел: вот сейчас все откроется!) Способен ты на худое дело, как думаешь?

– Я? – с трудом выдавил из себя Ломбо первое слово и огляделся затравленно: «Все знают, проклятые!»

– Ты, или я, или он, – доктор Аюша кивнул на Дэбшэна. – Ведь мы заранее не планируем делать зло, правда? А все-таки делаем.

«К чему это он клонит? Крутит, вертит – не поймешь, обвиняет или насмежается?» – Ломбо собрался с духом и спросил в упор:

– О чем ты говоришь, Аюша? Не пойму я тебя никак.

– Просто размышляю вслух, откуда в нас зло берется, – спокойно ответил доктор.

«Нашел тоже время! – воскликнул Ломбо, но молча, и посмотрел на... («Да покойник он или нет? Черт возьми!») – и начал нерешительно:

– Шаралдай-то наш... как он?

– Да так как-то.

– Как «так»?

– Если б душа его спокойна была, – завел опять доктор Аюша свою песню, – может, и не лежал бы он так вот. Пришла пора для разговора откровенного, я думаю. Ведь прежде чем предстать перед весами хана Эрлиха, не лучше ли предварительно вынести свою жизнь на суд друзей? Провести, так сказать, репетицию, чтоб душой успокоиться, а? Как ты думаешь?

– Ишь ты, на суд!.. Глядите какой судья нашелся! – голос у Ломбо окреп, плечи распрямились: он еще сумеет постоять за себя. – Да кто ты такой, чтоб чужие грехи судить? Самим ханом Эрлихом себя вообразил? На себя сначала посмотри, а в чужие дела не лезь, не ищи грязи там, где ее, может, и нет.

Ломбо сам себя подстегивал идти напролом, а доктор Аюша сидел тихо, спокойно, глядел задумчиво.

– Нечего возразить, да? – распалялся Ломбо. – Нет, раз уж ты начал – договаривай! Кончай свои подлые намеки... «Способен ли ты на худое дело?» – передразнил он доктора. – Так же способен, как и другие, не больше и не меньше. Все мы одним миром мазаны, так что нечего друг на друга зубы точить и пятна на чужих шкурах выискивать.

– Эх-хе-хе, – вздохнул доктор Аюша тоненько, вперед наклонившись. – Ты ведь, Ломбо, уже старик, такой же, как и я. Что ж мы теперь будем с тобой всех людей в один котел валить? Э, нет! Есть свет и тьма, и граница меж ними.

– Тут тебе виднее, – ехидно поддакнул Ломбо. – Как был ты ламой, так, видать, и остался.

– Лама – не лама, а различать черное и белое за свою жизнь не разучился.

– И кто же из нас тут черненький? То есть черт, надо полагать?

– А об этом лучше у себя спроси, – тихо ответил доктор и повернулся к Шаралдаю.

Действительно, чертовщина какая-то! Собраться бы с духом да послать их всех... но Ломбо побоялся. Затеять свару возле постели больного, может быть, умирающего, неудобно и... небезопасно: мало ли что всплывет, о чем вспоминать неохота. Может, Шаралдай разболтал про ту ужасную ночь, а может – нет. Лучше уж все оставить в неопределенности и удалиться, пока не поздно.

Однако просто так уйти после всего наговоренного тоже неудобно. Ломбо вполголоса, робко обратился к Дэбшэну:

– А как вообще отец-то?

На что тот небрежно отозвался, вроде отмахнулся:



– Разве сами не видите?

А что тут, в этой синей пещере, увидишь? Ломбо бесшумно приблизился к кровати – и давешний холодок, какой-то нездешний сквознячок, прошел по хребту... словно труп лежал перед ним. Станный страх, необъяснимый. Дожив до седых волос, Ломбо, естественно, всего навидался: и умирающих, и умерших. И близких родных, и дальних в последний путь провожал. И к мертвому телу приходилось прикасаться, прощаясь навсегда. Но тут... еще позавчера он Шаралдай с Аюшей в магазине встретил... Как быстро, незаметно пролетела жизнь! Совсем недавно, кажется, молодые, здоровые, легконогие, дружбу водили, ссорились, спорили, расходились, вновь тянуло друг к другу. Теперь один лежит неподвижно, другой возле него философствует, а третий вовсе – подойти боится.

Ломбо бросил последний взгляд на старое, знакомое-презнакомое, но сейчас чужое, далекое какое-то лицо и направился было к выходу, как вдруг услышал слабый оклик:

– Постой!

Повернулся, взгляделся, а Шаралдай заговорил хрипло и отрывисто:

– Постой, Ломбо... Ты говоришь, мол, все равно, как жить и как умирать?..

Ого! А умирающий-то, оказывается, в полной памяти и разуме и порассуждать готов. Что ж, всяк по-своему с жизнью расстается.

– Тише, Шаралдай, силы береги. Может, бог даст, поправишься еще...

– Ты, значит, меня пожалел?

– Пожалел.

– Жалеем, жалеем... когда подопрет, – проворчал доктор Аюша.

«О чем они спорят? – подумал Дэбшэн с раздражением. – Вот народец упрямый! Смерть подходит, а они дискуссии развели о жизненных принципах. Как будто поспорят – и враз исправятся, дело на лад пойдет, а жить-то, может, каждому всего ничего осталось... Нет, от доктора Аюши никакого толку! Смотришь на него, как на спасителя, а он способен разве что таблетки от кашля дать...»

## 13

Дэбшэн вышел на улицу и остановился. На месте не сидится, что-то надо делать, предпринимать, как-то унять тревогу. А что тут сделаешь? Он окинул безнадежным взглядом спящую деревню. Глушь, тишь, даже собачьего лая не слышать. Темные безглазые дома, лишь одинокий фонарь на столбе в начале улицы не в силах победить эту бесконечную бездонную тьму, только подчеркивал ее рассеянным жидким холодноватым светом.

Родная деревня внезапно показалась странно чужой, будто остался он один-одинешенек на всем этом свете. Некуда пойти и не к кому... Разве что к Мэ-дэгме, она поймет, поможет. Да, к ней!.. Нет, и у нее своя отдельная жизнь, свои невзгоды и заботы.

Дэбшэн вздохнул. Пришла пора – и он, как все, ждет помощи, ищет – и не находит! – человеческого тепла и внимания.

А ведь с самой юности, когда впервые Дэбшэн ощутил себя личностью, он превыше всего ценил одиночество и свободу. Люди только мешали, отвлекали, отрывали от главного, лезли со своими никчемными заботами, колготились и шумели. Вот он сидит в общежитии после лекций, читает или думает – обязательно кто-нибудь ворвется, пойдут разговоры, споры, к делу не относящиеся. И пропал вечер. Даже в читалке кто-то рядом будет обязательно шуршать страницами, хихикать, перешептываться, а то подсядет назойливый знакомый. Опять вечер насмарку. А уж на работе... собрания, летучки, пятиминутки, бесконечные планы и графики, бесконечное общение, коллеги... и разговоры, разговоры... Одиночество было благом, стало – наказанием. Здесь, на безлюдье, под высокими холодными

звездами, взять да крикнуть на всю деревню: «Где же вы? Подходите, мешайте, отвлекайте...»

Оглушительно рывкнул мотоцикл, яркий белесый свет полоснул по крышам и упал на дорогу. Видно, мотоцикл перемахнул через бугор у околицы.

Дэбшэн бессознательно двинулся на оглушительный треск. Мотоцикл появился в начале улицы, резко затормозил, кажется, у калитки доктора Аюши.

«Должно быть, Таряша с поля вернулся», – догадался Дэбшэн.

Когда он подошел к калитке, Таряша уже загнал мотоцикл в гараж-сарайчик. Сквозь дверные щели оттуда пробивался свет. Дэбшэн распахнул дверь и остановился на пороге, прищурившись: голая электрическая лампочка на миг ослепила.

Таряша, в замасленной телогрейке и в такой же, в пятнах, кепке, натянутой до бровей, сидел на корточках возле мотоцикла. Поднял голову, коротко кивнул, не удивившись приходу старого друга, словно этого ожидал, и опять склонился к мотоциклу, орудуя ключом.

Таков он был всегда, сколько Дэбшэн его помнил. Еще ребенком целыми днями крутился возле шоферов и трактористов, был, что называется, на подхвате, подавал разные инструменты, шурупы и гайки и внимательно наблюдал. Случалось, подшутят над ним, прикрикнут, чтоб под ногами не вертелся, – он не обижался. Постепенно к нему привыкли, даже начали похваливать за расторопность и смекалку – «золотые руки». Идет, бывало, из школы, чистый, наглаженный – мать следила, – а домой возвращается весь в грязи да в масле, – особенно доставалось рукам и коленкам, – бензином пропахший. Это значит – технику ремонтировал. Попадало, конечно, от матери – и просьбы, и ругань, и шлепок под горячую руку, – он был неисправим. В конце концов и мать примирилась с неистребимой страстью, даже хвалилась сыном перед соседками, мол, способный к технике растет. Ребята дразнили «худэлмэришэн тарлашан», что значит «рабочий и крестьянин», но вообще-то втихомолку завидовали.

Дэбшэн не завидовал, хотя до друга ему было далеко, просто никакого сравнения. И тем не менее, по дружбе (в детстве они были неразлучны), также от машин не отходил. Но то, что получалось у Таряши ловко и сноровисто, у Дэбшэна выходило вкривь и вкось. Однажды они подошли к Ломбо, ремонтирующему свой мотоцикл. «Поставь-ка сиденье», – попросил Ломбо Таряшу. А Дэбшэн, вздумав опередить, ухитрился каким-то образом укрепленный мотоцикл опрокинуть. «Как же ты, такой неуклюжий, на свете будешь жить? Чем займешься?» – заметил Ломбо вполне беззлобно, однако слова задели, и сильно.

После этого он все реже и реже подходил к автомобилям и тракторам, потом перестал совсем, и Таряша теперь «помогал» в одиночку, вовсе от этого, как отмечал его друг с горечью, не страдая.

Зато и у Дэбшэна появилось, наконец, свое собственное увлечение. Пусть он «неуклюжий», это не мешает ему изучать книжки о тех же машинах, разбираться в рисунках и схемах. И то, что раньше, когда он пытался «помогать», казалось невероятно сложным – становилось понятным, разумным и простым на бумаге. Сидеть в вечерней домашней тишине и листать книги гораздо интереснее, чем крутиться возле, например, надсадно гудящего трактора.

Перед Дэбшэном открылся новый мир, красивый и удивительный в своей графической четкости и гармонии. И он сам принялся «придумывать» машины, сначала «в голове», потом, используя известные ему способы черчения и расчета, переносить придуманное на бумагу. Так он «изобрел» косилку с приспособлением для сушки травы, которая потом спрессовывалась в аккуратные кубики. А машина для всех вспомогательных работ в коровнике! «Изобретать» стало потребностью, на которую уходило все свободное время.

Однако никому, даже Таряше, Дэбшэн об этом не рассказывал.

В десятом классе Таряша уже сумел бы отремонтировать любую машину,

прекрасно разбирался в частях и деталях, сдал на права, а закончив школу, стал трактористом, то есть официальным членом бригады, после того как годы и годы был у трактористов кем-то вроде «сына полка». И вот, случилось – и нередко, – даже опытные механизаторы просили у него совета и помощи. –

«Чего ж ты сына не учишь? – спросил однажды Шаралдай у доктора Аюши и похвастался: – Вон Дэбшэн наш почти одни пятерки получает. В высшем учебном заведении!» На что доктор Аюша заметил философски: «Каждому свое. Человек, рожденный для науки, ею и заниматься должен. А Таряша, видно, для другого предназначен: сеять, выращивать и убирать. Потому он и Таряша. Вон Ломбо сына Цезарем назвал – вот он гордым и вырос. Так одного древнего хана звали». – «Уж больно гордый был хан?» – поинтересовался Шаралдан с усмешечкой. – «Знаменитый, всех победил. Однако кончил плохо: убили». – «Скажи, пожалуйста! Думаю, нашему местному Цезарю это не грозит». Старики посмеялись... «Честно говоря, мечтал я, чтоб сын дальше отца пошел, – признался доктор Аюша задумчиво. – Чтоб ученым стал. Но что поделаешь? Такая, видно, судьба. Уже ребенка ждут. Помнишь, как ты его на свадьбе благословлял: «Пусть будет у тебя полон загон скота, полно одеяло детей?» Вот он, с твоего благословения, и старается... А знаешь, иной раз думается: обрабатывать землю, разводить скотину да детей растить – и есть счастье, и ничего лучше на этом свете нету, а?»

...Наконец Таряша поднялся, сунул ключ в кармашек матерчатой сумки, раскладывающейся наподобие книжки, и протянул руку, мозолистую, задубелую от железа и мазута: сколько ни отмывай руки соляркой – бесполезно.

– Наконец-то! – сказал, улыбаясь радостно, чуть смущенно; эта улыбка на крупном, обветренном лице напомнила детство. – Еще вчера слышал, что ты здесь, а ко мне... Что случилось? – вдруг перебил сам себя, вглядываясь в Дэбшэна.

– Отец заболел, – сказал Дэбшэн и сразу почувствовал облегчение: вот, нашелся-таки человек, который поймет и поможет. – Не съездишь на центральную усадьбу за врачом?

– Съезжу, конечно, – Таряша помолчал, озабоченно хмуря брови. – А мой отец что – не смотрел его?

– Смотрел, – ответил Дэбшэн нехотя.

Карие мягкие глаза друга глядели из-под козырька недоуменно и вопросительно. Он был ниже Дэбшэна, но казался гораздо крупнее: грудь и плечи широченные, как у атлета, массивная шея, руки и ноги под стать, крепкие, сильные. Сила ощущается в каждом движении; рядом с ним Дэбшэн чувствует себя каким-то разболтанным и хилым... так, ковыль под северным ветром.

Таряша вновь склонился над мотоциклом, осматривая его перед поездкой, спросил рассеянно, чтобы переменить тему:

– Когда приехал-то?

И Дэбшэн так же рассеянно отозвался:

– Да два дня уж тут.

Он понимал и разделял недоумение Таряши: кому как не его отцу, стариннейшему приятелю Шаралдая, разобраться в его болезни и сделать все, что можно: если уж не вылечить, так облегчить страдания? А он и пальцем не шевельнул, сидит – философствует... Однако выдать свое раздражение сыну доктора Дэбшэн не мог, а тот не допытывался, чуя что-то неладное.

Наконец Таряша оторвался от мотоцикла, сменил кепку на пластмассовый шлем, который достал из люльки. Поглядел на Дэбшэна, снял с гвоздя на стене второй шлем, протянул.

– На, надень. Придется вдвоем ехать; мотоцикл барахлить стал. Если остановится, толкать будешь.

Вывел мотоцикл из гаража, погасил свет, замкнул дверь и запрокинул голову.

– Гляди, только что чистое небо было, ни одного облачка. А теперь?

Действительно, с северо-запада, оттуда, где громоздились на горизонте каменистые гольцы, неслись тяжелые облака, заглатывая в своем движении звездное пространство; потянуло резким ветерком.

– Хорошо, что ты... пришел, Ломбо, – произнес Шаралдай тихо, но внятно.

Глаза широко раскрыты, смотрят в упор. Ломбо и не упомянул, когда это Шаралдай смотрел вот так вот требовательно и многозначительно. Да, видать, сегодня жизнь вышла из своих обжитых берегов.

– Но ты неправ, – продолжал Шаралдай. «Откуда только силы берутся? – недоумевал Ломбо. – Ведь трупом лежал!» – Неправ. Человеку не все равно, как жить и как умирать. Приходит такая минутка...

– Покой тебе сейчас нужен, а ты... – начал Ломбо заботливо, однако больной упрямо гнул свое:

– Покой заслужить надо. А между нами не все еще выяснено, правда?

Вот оно! Прошлое не исчезает бесследно, обязательно всплывет, настигнет – да еще в самую неподходящую минуту. Столько свидетелей!

– Потом, потом, Шаралдай... Встанешь на ноги – будет время и вспомнить и потолковать.

– Будет, говоришь, время? – синие старческие губы изогнулись в усмешке. – А если не будет? Тогда как? На том свете станем свои делишки перебирать, да? Нет, лучше здесь, где творили их, здесь с ними и покончим. А Аюша, как знаток, тут же и определит: куда мы с тобой попадем; впрочем, это и без Аюши известно: ад нас ждет...

Смеется он, что ли, над ним? Ломбо сделал попытку засмеяться, мол, забавная шутка... попытка не удалась: не до смеху тут. Он заговорил оживленно, с напускной уверенностью:

– Брось, Шаралдай, ничего с тобой не случится. Я же вижу! Есть еще силы, вот и доктор подтвердит, а?

Тот промолчал, но Ломбо это не обескуражило, он решил твердо держаться линии жизнеутверждающей, жизнерадостной даже: все хорошо, все пустяки, посмеемся вместе.

– Ну, Дулма, чего пригорюнилась? Свекор твой еще хоть куда!

Но Дулма почему-то не развеселилась, лишь взглянула изумленно. «Чего это Ломбо так суетится? Видать, неспроста!»

А Баяр, услышав бодрое восклицание «Держись, Баярка! Твой дед нас всех переживет», – отвернулся к стенке.

И Ломбо выдохся, опустил голову. Ну что мешает ему послать их всех куда надо и уйти? Страх? И страх тоже, но... не только страх.

– Дулма, иди-ка с сыном спать ложись: пора, – сказал доктор Аюша спокойно, но тут же вспылал. – Я кому сказал! Не путайтесь под ногами, оставьте деда в покое!

Дулма схватила за руку упирающегося Баяра и поволокла к двери.

– Значит, без лишних свидетелей допрашивать будете? – заговорил Ломбо, ставший вдруг прежним: ну прямо танк, с места не спихнешь. – Чего молчите? – он обвел тяжелым взглядом доктора и Шаралдая. – Начинайте свой допрос!

– И начнем, – сказал Шаралдай угрюмо. – Кто сжег свинарник?

– Какой еще свинарник? – удивился Ломбо притворно. – А-а, ты про тот пожар... Нашел, о чем вспоминать. Когда это было... и быльем поросло!

– Нет, ты скажи: кто сжег?

– В таком случае... – Ломбо зло прищурился. – Тебе лучше знать.

– Мне?

– Тебе, тебе... Что тут еще выяснять? Ты и сжег, своими собственными руками!

Ломбо держался все увереннее, все напористее, однако взгляда Шаралдая избегал почему-то. Почему? Сам не понимал. Уж кому-кому, а Ломбо лучше всех известно, кто перед ним: поджигатель, уголовный преступник, можно сказать, а строит из себя... судью! «И этот, – Ломбо покосился на доктора Аюшу, – сидит, как пень, слушает... Ну и пусть! Пусть оба знают, что меня голыми руками не возьмешь, не родился еще такой человек, который с Ломбо справится!»

– Ну, все выяснили? – спросил он торжествующе. – Разрешите подсудимому удалиться?

– погоди, – сказал Шаралдай словно бы в раздумье. – Я все хотел спросить у тебя... давно собирался... Скажи, тебя совесть никогда не мучает?

– Мучает, не мучает... Ты, стало быть, перед смертью решил очиститься и меня в это дело впутать? За мой счет, так сказать, в рай въехать? Не выйдет! Я знаю, на что ты намекаешь, – Ломбо взглянул на доктора Аюшу и пояснил: – Он намекает, будто бы я его на поджог подбил...

– Не намекаю, а прямо говорю. Если бы не ты...

– Я виноват? Я? – Ломбо аж затрясло от возмущения. – Так и знал, что когда-нибудь ты завоняешь гнилым червяком.

– Остановись, Ломбо! – вмешался доктор Аюша. – О своей совести подумай.

– Слушайте, вы, оба! – заговорил Ломбо ледяным тоном. – Что вы ко мне пристали? «О своей совести подумай»! О своей подумайте, если она у вас есть. Если она вообще есть! Я не уверен. Умрешь – и сгниешь, и нет тебя, и ничего тебе не нужно. А что там после будут про тебя болтать – уже не важно. Тебя-то уже не будет! Так что давайте-ка лучше оставим этот бестолковый разговор.

– Ты меня подбивал, – пробормотал больной упрямо, – потому что с председателем не ладил.

– Опять двадцать пять! Да, не ладил. Ни от кого не тай и не таю, – Ломбо усмехнулся. – Можно сказать, что это благодаря мне он отсюда убрался... да если б не я – от нашего колхоза ничего не осталось бы. Вспомните: когда буряты гусей и уток этих самых разводили? А он все наши денежки на ту дурацкую затею ухлопал, натворил делов...

– Он же молодой был, всего только год у нас проработал, – вставил доктор Аюша.

– Во-во! А сколько за год наворочал, чуть хозяйство не развалил. Да вы мне спасибо должны сказать! Да я с ним, как с теленком, справился... безо всякого пожара. Что мне было на него еще и пожар вешать?

– Тогда зачем ты меня толкал на поджог? – прошептал Шаралдай обессиленно. Но Ломбо, делая вид, что не слышит, продолжал громить председателя:

– Шибко возомнил о себе, высоко залетел! Никого из старших не признавал. Вот про таких говорят: «В довольстве купался, в радости прыгал». Приехал на все готовое и начал еще понукать...

Доктор Аюша вдруг поднялся и пошел к двери, ни на кого не глядя, какой-то пришибленный и жалкий, словно разобиженный сильно на что-то.

Ломбо вслед ему не обернулся, однако сосредоточенно прислушивался к шарканью сапог по крашеному полу. Едва дверь захлопнулась с тяжким стуком, тотчас проворно подскочил к освободившейся табуретке, сел, точно упал, и спросил робко, почти шепотом:

– Ты разве... в самом деле тогда поджег?

Секунду они глядели глаза в глаза, Ломбо сдался первый, опустил голову, Шаралдай ответил вопросом на вопрос:

– А как ты все эти годы про меня думал?

– Как думал, как думал, – проворчал Ломбо, – как все, так и я думал.

Молчание долгое, томительное – и вновь Ломбо не выдержал, заговорил, хотя – где справедливость? – оправдываться должен не он.

– Я от чистого сердца пришел, а ты? Зачем ты при Аюше начал? Ославить меня на всю Хасууриту хочешь... Ладно, черт со мной! А дети? А внуки? Им за что позор нести, невинным? – Ломбо склонился к кровати и зашептал: – Ну, оба мы виноваты, поровну, доволен? Так пусть эта вина между нами останется, с нами и умрет. Нечего свою грязь на миру размазывать. Понял?

Шаралдай не отвечал, и Ломбо со вздохом облегчения решил уже, что тот склоняется к разумным доводам – как вдруг больной огорошил его вопросом неожиданным:

– Ломбо, а ты в ту ночь когда к свинарникам подошел?

– Я? – Ломбо удивился. – Да чуть не последний, уже тушили вовсю и председатель приехал... А на что ты намекаешь, а? Уж не хочешь ли ты сказать, что я...

– Да не намекаю я, а разобраться хочу. Дело темное.

– Да ведь ты сам, своими руками...

– погоди. Помнишь, как ты тогда меня уговаривал? На новые свинарники уже деньги отпущены, а председатель, мол, их на что-то еще транжирить собирается, так?

– Так, но...

– погоди. Вот твои слова: надобно эти развалюхи гнилые снести к черту, аль, еще лучше, сжечь – тогда, глядишь, и власти зашевелятся, новый построят, так?

– Да, так, но...

– И ведь ты, Ломбо, меня подпоил тогда, нарочно подпоил, знаю...

Ломбо расхохотался, но хрипло, с натугой.

– А может, я тогда шутил, а? Может, это всего лишь шутка была! Ты ж сам ходил, ныл: в холоде работаем, изо всех щелей несет, свиньи мрут... А я, вроде как бригадир, обязан... Мне ж от тебя житья не было, вспомни! Не чаял, как от тебя отвязаться, понял? Ну и пошутил... для потехи. Неудачная шутка получилась, да кто ж знал, что ты ее всерьез примешь и поджигать бросишься. Сам, сам себя одного и вини!

– Вот, значит, как ты все повернул, – заговорил Шаралдай после паузы. – Ты, значит, чистенький, а я уголовник. О своих детях и внуках беспокоишься, а о моих кто подумает? Я уж о себе не говорю – чего я только не перенес по твоей милости. От людей хоронился среди бела дня, а по ночам... как засну – все будто в огонь кидаюсь, кидаюсь... каждую ночь почти. Смотри!

Шаралдай решительно – и сила откуда-то взялась! – скинул одеяло ватное, нижнюю белую рубаху задрал – живого места на теле нет: грубые рубцы и шрамы, старые, будто запекшиеся ожоги в синем мертвенном свете бросились в глаза.

– А у тебя и душа не болит? Каменный ты, что ли, стал или деревянный? И к совести глухой и к людям?

Ломбо замер, аж что-то перевернулось внутри... Но нет, он не поддастся на жалкие слова! Он еще поборется – и все сметет со своего пути... он не позволит... он... Слова самые сильные, самые убедительные кипели в голове, да вот никак не шли с языка...

Дверь скрипнула, слышались чьи-то легкие тихие шаги. Ломбо чего-то вдруг испугался и сидел, боясь шелохнуться. Еще кого-то принесло... кончится когда-нибудь эта проклятая ночь? Больной внезапно заулыбался, Ломбо, чуя подвох, обернулся резко, чтобы лицом к лицу встретить нового врага...

Посреди комнаты стояла его дочь и с ужасом глядела на изуродованное тело Шаралдая.

Тот поспешно одернул рубаху, а Ломбо подозрительно и угрюмо уставился на дочь. «Почему она здесь? – мелькнула испуганная мыслишка. – За дверью стояла и подслушивала? Или Аюшу встретила и он проболтался? Этого еще не хватало!»

Ломбо вскочил, ринулся к дочери, мертвой хваткой в руку вцепился и потащил через порог.

– Отец, я... – пораженная, Ханда пыталась вырвать руку, да не тут-то было!

Уже у самой калитки Ломбо ослабил хватку и прошипел:

– Зачем сюда пришла, а? Зачем?

Но, не дав ей прийти в себя, продолжал быстрым шепотом:

– Никогда – слышишь! – никогда не смей переступить этот порог!

– Но почему?

– Потому! – отрубил Ломбо. – Нечего тебе здесь делать!

– Ты же сам говорил про Дэбшэна...

– Про кого?

– Дэбшэн врача хотел вызвать...

– Ах, Дэбшэн! – Ломбо пристально посмотрел на дочь, она отвернулась. – Дэбшэн... – повторил он задумчиво, вспоминая мятущуюся тень, розового мотылька в ночи... смутная догадка крепла. – Значит, Дэбшэн тебе понадобился, так?

– Совсем нет. Я пришла...

– Знаю, зачем ты пришла. И вот заруби себе на носу: Дэбшэн не тот человек, который тебе нужен. За тридцать перевалило, а он дурью мается. И вся родня его такая, и отец, и братец... тьфу!

Ханда опять попыталась вырваться, но Ломбо в ответ дернул руку так, что чуть-чуть не сломал, и, не разбирая дороги, ринулся вперед.

– Хватит! Хватит! – бормотал Ломбо, все больше распаляясь. – Слишком много воли я тебе дал... что хочешь, то и делаешь. Хватит! Посмешищем для людей хочешь стать и меня сделать посмешищем? Дочка Ломбо, молоденькая, красавица, с гнилым сухарем путается? В дом к нему по ночам бегают?

Ханда поневоле семенила рядом, вконец оглушенная. Что с отцом? Никогда она от него таких слов не слышала, никогда он на нее так не орал... О Дэбшэне говорит прямо с ненавистью, а ее... за что он ее оскорбляет? Раз он так...

Ханда упрямо вскинула голову, напряглась что есть мочи – и вырвалась. Тотчас отскочила в сторону, но не убежала, остановилась, тяжело дыша, наблюдая за отцом. В свете уличного фонаря лицо ее, внезапно осунувшееся, выразило отчаянную решимость, – и Ломбо не рискнул вновь применить силу, отступился.

– Отец, что с тобой? – заговорила Ханда дрожащим голосом. – Разве не ты говорил, что дядя Шаралдай заболел тяжело? Я хотела его посмотреть. Как- никак, а в медицине я кое-что...

– Ишь ты! – усмехнулся Ломбо со злостью. – Медицину вдруг вспомнила! А кто недавно говорил, что не мое, мол, это дело? А теперь вдруг захотелось людей лечить и сразу способна стала? Всех лечить собираешься или только отца Дэбшэна?

– Я просто хотела...

– Где уж тебе! У него болезнь особенная, вон даже Аюша разобраться не может, а ты... – он услышал тихое всхлипывание и замолчал. А может, правда, зря он так кипятится? Не на дочери надобно гнев срывать, а... Ломбо заговорил мягко, как с ребенком, ласково:

– Ну ладно, пошумели – и будет. Пошли-ка, Катюша, домой...

Но она повернулась круто, побежала и – глазом он не успел моргнуть – исчезла в ночной тьме.

Да что ж это такое делается кругом? Снится ему, что ли, сон поганый? В каких только переделках не приходилось бывать, но чтоб так вот... обложили со всех сторон! Старость, вынужден был признать Ломбо, он стареет, смягчается – вот, дочь не смог обуздать, больно своенравная растет... Ломбо стоял, прислонившись к чьей-то изгороди – как-то вдруг ослабел, – а мысли металась по кругу: Шаралдай, Аюша... доктор молчать не будет... Дэбшэн – и этот еще на его голову! Рано или поздно они с Катюшей встретятся, в деревне не разминешься. Что же делать?

«Согнуть то, что не гнется, сломать то, что не ломается», – пробормотал Ломбо, пытаясь приободриться, вернуть прежний размах и удаль, вернуть любой ценой...

«Согнуть то, что не гнется...» – повторял он как заклинание. Где уж там! Собственную дочь не в силах к рукам прибрать, а бывало... Вспомнился тот председатель, молодой, горячий, нетерпеливый, – а ведь не сумел устоять перед ним, Ломбо. Все повторял: «Времена нынче другие, хозяйство надо вести с дальним прицелом». Ломбо, имевший верные сведения, что в райкоме председателем недовольны, слушал да ухмылялся про себя: «Пой, пой, знакомые песенки, уже не раз слышали. А что за год сделано? Птицеферма построена? Кому она нужна? А свинарники вот-вот развалятся!»

И однажды приступил к решительному разговору: «Про дальний прицел мы понимаем, а как со свиньями быть? Или ждете, крыши на них обрушатся и вопрос сам собой отпадает?» – «Будем строить, – ответил на это председатель. – Я уже в городе насчет проекта советовался». – «Ведь есть же у нас проект и денешки были отпущены. Куда-то канули, на птицеферму, что ли?» – осведомился Ломбо словно невзначай о том, что ему было прекрасно известно. Председатель выдвинул нижний ящик письменного стола, достал пухлую пыльную папку, водрузил на стол. «Эти бумажки теперь не нужны никому, проект устарел безнадежно. Необходим полностью механизированный комплекс». – «Ах, устарел! – повторил Ломбо. – Может, вам и виднее, только не я этот проект выдумал. Над ним целая организация строительная, инженеры голову ломали... а вы – устарел!» – «Так сколько лет он вот в этом самом столе пролежал, а? Чего ж вы не строили, меня дожидались?» Ломбо молчал: возразить действительно нечего. И председатель добавил с усмешкой: «А если эти бумажки вам так уж дороги – дарю, можете ими комнату оклеить». – «Я вам не мальчишка в конце концов! – взорвался Ломбо и так грохнул кулачищем по столу, что злополучная папка подпрыгнула как живая в облачке пыли. – Дождались... светлого праздничка!» И крупным резким шагом вышел из кабинета, процедив на ходу едва слышно: «Ты у меня дождеся праздника!»

– Да, двум медведям в одной берлоге не ужиться, – размышлял сейчас Ломбо, невидяще глядя в кромешную темноту. – А кто виноват? Если б он не издевался надо мною по каждому пустяку, разве я стал бы с ним связываться? Да что я, шавка дрожащая, со всеми соглашаться должен? Я свое мнение имею и его отстаиваю! И потом: разве я не пытался по-хорошему общий язык с ним найти?»

Пытался, пытался... Вот они едут из аймака на стареньком ГАЗ-69, белая равнина сквозь мутные заиндевелые оконца... Ломбо, подавшись вперед с заднего сиденья, старается перекричать оглушительный рев мотора:

«А я говорю, есть возможность занять нам первое место в аймаке! Падь Белой березы распахать. Во-первых, урожай зерновых резко повысится...» – «Не такими средствами повышать урожайность надо, – возражает председатель, – а за счет интенсификации. Те же механизированные комплексы – раз, мелиорация – два, удобрения...» – «Понятно, понятно, – перебивает Ломбо нетерпеливо. – Все это правильно, конечно, но... время! Эта программа на десятилетия, а сейчас...» – «А вам все сразу вынь да положь? Нет, леса сводить не дам, их и так-то осталось... Впрочем, вы уже приехали. В другой раз договорим». «Газик» резко тормозит перед забором, за которым возвышается дом Ломбо. «А может быть, сейчас и договорим? – предлагает тот радушно. – Жена небось уже бузу приготовила, ведь канун сагалгана нынче, посидим в спокойной обстановке. Я давно собирался с вами...» – «Сегодня никак не могу, – отзывается председатель вежливо, но твердо. – Когда-нибудь посидим, поговорим. А сейчас я еще к чабанам заехать должен», – и хлопает дверью машины.

Так и не посидели, не собрались. «Хоть шелком оберни, хоть маслом мажь – бесполезно. С таким упрямым сговориться – дело пропащее». Видать, пожар свинарников и был последним ударом, что свалил-таки председателя. «Можно сказать, я его и свалил!» – в который раз в эти годы поздравил себя Ломбо, но... ничего не ощутил: ни гордости, ни радости, так, тоска одна. Одиноким старик, никому не нужный – кто тебя испугается?



– Ну нет! – закричал Ломбо, словно очнувшись. – Мы еще поборемся! Мы еще поглядим, кто кого!

Он и сам не смог бы ответить, кому бросает вызов. Старому другу, его сыну, доктору Аюше или собственной дочери... Не важно! Сознание своей внезапной силы опьяняло, неожиданная ярость против «них всех» требовала выхода. Ломбо огляделся, вдруг выдернул толстенную жердину из изгороди, о которую опирался, подержал в руках, сам на себя дивясь, потом резким ударом о колено переломил надвое, а обломки с силой в чужой огород запустил. В ответ раздался свирепый лай, и Ломбо поспешил домой.

Вот поворот на его улицу, медпункт, вот калитка, метнувшаяся к хозяину собачья тень, ступеньки, комната, старый, затесавшийся среди полированной мебели, диван, на который Ломбо, не раздеваясь, грузно опустился. Пружины застонали жалобно.

«Эх, разбушевался... – подумалось невесело. – А способен-то... разве что чужой забор своротить!»

## 15

Миновав ельник, окружающий деревню полукругом, Таряаша с Дэбшэном вырвались на простор. Поля, поля под низкими клубящимися тучами – не разглядишь, где кончается земля, а где начинается небо... Так и несся мотоцикл между небом и землей по проселку, накатанному грузовиками, возившими хлеб.

Вдруг пахнуло резким сырым ветром навстречу, и первые редкие крупные капли ударили в лица. Гуще, чаще... дождь обрушился сплошной лавиной, сверкнуло в вышине, загрохотало – началась нежданная гроза, должно быть, последняя в этом году. Дорога в свете фары сразу почернела, словно бы разбухла, колеса, катившие мягко и легко, забуксовали. Вильнув в сторону, мотоцикл встал поперек проселка, мотор заглох.

Таряаша, а вслед за ним Дэбшэн спрыгнули, попав прямо в лужу. Дэбшэн встал позади мотоцикла, изготоясь толкать, Таряаша сказал озабоченно:

– Безнадежно.

– Ну почему?

– Даже если мотор заработает, по такой грязи далеко не уедешь. Давай-ка мотоцикл на обочину оттащим... Ага, вот так! Пусть до утра постоит. Пошли, – и Таряаша крупно зашагал по стерне куда-то во тьму.

– погоди! – крикнул Дэбшэн в отчаянии. – Давай еще раз попробуем.

– Нечего зря мучиться!

Таряаша не остановился, не оглянулся, и Дэбшэну ничего не оставалось, как поспешить за ним. Ноги разъезжались, скользя. Дождь с ветром хлестал в лицо, все больше набирая силу. «Куда нас несет нелегкая?» – думал Дэбшэн в крайнем раздражении, едва различая впереди движущееся темное пятно – Таряашу. Наконец в ревущем хаосе смутно завиднелось какое-то строение: передвижной вагон механизаторов, как узнал Дэбшэн впоследствии.

Поднялись на ощупь по узенькой железной лесенке, дверь протяжно заскрипела. Таряаша канул куда-то в полную тьму, чем-то зашуршал, наконец чиркнул спичкой: загорелась самодельная лампа – консервная банка с соляжкой.

– Ну вот, огонь есть, – сказал Таряаша с удовлетворением и оглядел съезжившегося от холода Дэбшэна. – Куртка насквозь промокла?.. Моя-то маслом пропитана, воду не пропускает – шкурка, как у нерпы... Эх, жаль, дождевик я в комбайне оставил. Ладно, раздевайся, сушиться будем.

Но Дэбшэн не шелохнулся, с промокнутой одежды капало, начала пробирать дрожь. А, пусть, все равно!

Не в натуре Таряаши было настаивать и уговаривать – он начал действовать.

Пошарил в углу, нашел несколько поленьев и топорик с черным, будто отполированным топорищем. Расколол одно полено на чурки и принялся разжигать железную печурку на высоких ножках и с трубой, выведенной наружу через стенку вагона.

Поленья запылали весело, вдруг и разом. Стало теплее и светлее, и Таряша погасил лампу, от которой несло соляжкой.

Дэбшэн наконец сдвинулся с места, подошел к печурке, присел на чурбан перед открытой дверцей, протянул застывшие руки к огню, от куртки пар пошел. Таряша пристроился наискосок на лавке, так же не сводя глаз с пляшущего пламени, заговорил рассеянно:

– Только вчера здесь уборку закончили, за реку переехали. Помнишь, поля направо за Хасууритой? Мы теперь там, там и вагончик такой же есть.

Он закрыл печную дверцу, огонь запылал пуще, тускло освещая сквозь круглые дырочки в дверце их усталые хмурые лица. Они долго молчали, потом Таряша пробормотал озабоченно:

– Дождь этот не вовремя... только б надолго не затянулся...

Дэбшэн взглянул на старого друга. Нетрудно догадаться, что не болезнью его отца озабочен Таряша, а уборкой. Вот так всегда. Главное – дело, дело, человек по сравнению с ним ничто. Или к старости жизнь человеческая так обесценивается, когда с делом покончено, когда надо дома сидеть да смерти дожидаться? Старики никому не нужны, потому что пользы от них, как от козла молока... Да что старики! Кому, например, нужен он, Дэбшэн? (Как всегда, незаметно, он свернул на себя.) Да слег бы он сейчас при смерти – кто пожалеет, погорюет, кто хлопотать станет, теряя рассудок от страха? Наверное, мать... если б была жива. Ну, еще, наверное, отец. Да, отец, конечно! Он бы не сидел вот так вот у теплой печурки, представляя с жалостью себя самого при смерти. Он бы пошел за врачом для сына, если надо, пешком. И в дождь, и в снег...

– И в прошлом году такая же круговерть, – жаловался Таряша. – Дождь и дождь, будь он проклят! Уборка чуть не до зимы затянулась, пришлось двести гектаров хлеба под снегом оставить, представляешь? Нынче вроде урожай неплохой, центнеров по пятнадцать должны снять, а на поле, куда вчера переехали, должно быть, и побольше получится. А если дождь на неделю зарядит, на две, а?

Дэбшэн молчал отчужденно. Центнеры, гектары, тонны – польза, только польза. И действительно, жизнь настолько широка и бесконечна, что умри один – и не заметят, тут же сомкнутся ряды, и все пойдет своим чередом – работа, любовь, вражда и снова работа... Не отставать, в ногу, в ряд – чуть замешкался («Вот как я!» – усмехнулся Дэбшэн) – выбросят тебя, словно шлак отработанный... Дэбшэн отдавал себе отчет, что уже с год примерно он бесконечно пережевывает одну и ту же жвачку: пустота, тоска, бесцельность жизни. В деревню, к родным и любимым, он бросился, чтоб стряхнуть постылое уныние, как дерево – высохшую листву. И что? Все то же: ничего он не мог с собой поделаться! И сейчас, под монотонный гул дождя, возле железной печурки он особенно остро ощущал свое одиночество, свою заброшенность среди пустых промозглых полей, отчужденность друга, самого, казалось бы, близкого. Дэбшэн зябко охватил руками колени.

А Таряша незаметно, но внимательно приглядывался к старому товарищу. В последний раз они виделись в прошлом году в городе, совершенно случайно. Таряша тогда ездил на областное совещание механизаторов. Как-то, возвращаясь после заседания в гостиницу, он прямо на улице носом к носу столкнулся с Дэбшэном. Конечно, был у Таряши адрес и собирался он зайти, но... побоялся помешать. Давно известно, что Дэбшэн отгородился ото всех своей работой какой-то там важной (наверное, секретной?), знать никого не желает, в общем, занят человек. И вот он стоял перед ним: хорошо одетый, в шерстяном костюме и при галстукe, в черных начищенных ботинках, с тоненькой папкой в руках. Дэбшэн улыбался рассеянно, про

деревенских расспрашивал, но то ли слушал, то ли нет – не разберешь. А сам худой, в чем только душа держится. «Ты-то как?» – поинтересовался Таряша. «Да так, – ответил неопределенно, – бумажки с места на место перекладываю».

«Случилось что?» – хотелось спросить, но не спросил, не решился: если надо – сам расскажет.

Сейчас, глядя на понурившегося Дэбшэна – сидит, бедняга, голову повесил, весь грязный, мокрый – понял: «Надо!» И уже кашлянул, рот открыл, чтоб начать: «Дэбшэн, а что с тобой...» Как тот вдруг голову поднял и заявил решительно:

– Пойду.

– погоди, дождь немного утихнет.

– Сколько ждать? Может, он на неделю зарядил, – и Дэбшэн решительно поднялся.

– Да не сходи ты с ума! Ведь отец рядом с ним. Он, если нужно, всех на ноги поднимет. Значит, не нужно...

– Я же не прошу тебя идти со мной, – процедил Дэбшэн холодно. В эту минуту он почти ненавидел Таряшу, как будто именно тот вдруг оказался виноватым во всем: и в болезни отца, и в неудачах самого Дэбшэна, и в том, что дождь льет и мотоцикл сломался... И доктор Аюша палец о палец не ударит – и сынок такой же. Вместо того, чтобы помочь... как каменная плита на пути, только мешает.

– Подожди, – Таряша тоже поднялся, но Дэбшэн, чертыхнувшись сквозь зубы, бросился к двери: обойдемся без таких «друзей»... Но дверь начала сама тихонько приоткрываться – они замерли – и некто в огромном мокром плаще вошел и ринулся к печке.

– Дэбшэн, давай до утра подождем! – продолжал Таряша, уже не обращая внимания на вошедшего. – Ну какой врач сейчас в Хасууриту попрется... в ночь, в ливень...

– А кому тут нужен врач? – подал голос Гомбожап (а именно он ввалился в теплый вагончик), блаженствуя у печки.

– Дядя Шаралдай заболел, мы за врачом на центральную усадьбу подались, а тут мотоцикл...

– Нету врача! – заявил Гомбожап.

– Как нету? – переспросил Дэбшэн недоверчиво.

– А так вот. В город уехал, на курсы повышения квалификации, уже с неделю как отбыл. То ли месяц там квалифицироваться будет, то ли два...

– Вот видишь! – обратился Таряша к Дэбшэну. – Посидим, переждем дождь, а потом...

– Да вижу! – отрубил Дэбшэн, махнул рукой – «пропади оно все пропадом!» – и уселся на лавку: чурбан возле печки был уже занят разглагольствующим завфермой.

– Везучий человек – тот, кто в бурю, в ночи с огнем встретился!

– А я было подумал, бродячая собака к нам в дверь лезет, – усмехнулся Таряша.

– Хороший человек и собаку в такую погоду не выгонит, – многозначительно заметил Гомбожап и начал стягивать плащ. – Но человек – не собака – вот в чем дело. Его выгнать можно. Но! – он поднял палец. – Человек может сам уйти – в этом его отличие от собаки.

Нетрудно догадаться, на что это он намекает. «Так тебе и нужно, – подумал Дэбшэн с минутным удовлетворением. – Молодец Мэдэгма!»

Гомбожап, тем временем, располагался прочно и надолго. Швырнул в угол промокший плащ, снял серый пиджак, темно-зеленую рубашку, набросил их на укрепленную над печкой перекладину, на которой хлебобобы сушат портянки, и, оставшись голым до пояса, расстегнул на брюках ремень. А речь его текла, не иссякая:

– А на дворе темень! Хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми – один черт.

Небо с землей слились, и весь мир водой стал. И с тебя вода льет, прям непонятно: то ли ты двигаешься, то ль на месте ногами гребешь... Подбрось-ка, Таряша, дровец... Вот так! Ишь, запылали...

Гомбожап задумался на секунду – и брюки стянул, на ту же перекладину повесил и сел спиной поближе к печурке.

– Говорят, человек на восемьдесят процентов состоит из воды. Вот я иногда думаю: а не легче ль совсем в воду превратиться, такой крошечной капелькой в океане стать, а? Счастливому – не позавидуешь, несчастного – не пожалеешь... Потому как все станут капельками – ни богатых, ни бедных, ни красивых... или там сильных... ни жены тебе, ни детей. Все одинаковые. Правда, здорово? И чтоб всегда – навечно! – вот такая вот темная мокрая ночь... А мы втроем в вагончике, никого кругом, снизу вода, сверху вода... освободились ото всего и сидим, как боги... Здорово, а?

Сквозь насмешку («пьяное кривлянье!») – отмахнулся вначале Дэбшэн) в голосе Гомбожапа, в несурзных его словах слышалась горечь, даже отчаяние. И Дэбшэн с удивлением ощутил жалость к человеку неприкаянному, понял его одиночество, как свое.

«И я смотрел на него, как на врага? Он же нуждается в помощи, почти просит! А я-то что могу? Я сам... вон на Таряшу взбеленился, требую ото всех поддержки и сочувствия. А по какому праву?...» Дэбшэн совсем запутался, вскочил, прошелся взад-вперед по узкому вагончику.

– Чего это ты разбежался? Что у вас тут вообще? – Гомбожап окинул недоуменным взглядом обоих друзей.

– Да ничего, – отозвался Таряша нехотя и принялся подкладывать поленья в печку.

– Я вижу! – с настойчивостью пьяного протянул Гомбожап. – Я все вижу... собачки не поделили косточку? Плюньте! Если из-за каждой этой самой косточки бесноваться – жизни не хватит. А жить нам дано в образе человека. Человека! А мы? Весь мир желаем за пазуху к себе захватить, а если уж разобраться по-честному, много ли и надо-то человеку? Иногда думаешь: а ничего... Ни-че-го! Суедемся, мечемся, как вон тень на стенке... – он кивнул на шагающего взад-вперед Дэбшэна, точнее, на тень его, прыгающую по стенкам, прячущуюся по углам. – А мысли наши, как известно, старше неба. Так что пусть все к черту идет...

– Ты, Гомбожап, сегодня прямо в каком-то ударе, – заметил Таряша насмешливо.

– Я-то в ударе, – огрызнулся тот. – А вот вы, ударники липовые, опять с уборкой тянете! Опять все свалите на атмосферные осадки? Испокон веков осадки эти самые никому не мешали, а у вас: то ранние заморозки, то поздние снега, то, неровен час, дождик помешал, а?

– Язык у тебя подвешен, верно, – согласился Таряша спокойно. – А толку-то? Оттого, что складно говоришь, – дождь не перестанет, хлеб не вырастет.

– Ага, привыкли меня треплом считать да пьяницей горьким. А у меня, может, душа болит...

– Да кто тебя считал-то? – примирительно начал Таряша. – Никто и не считал. А что в последнее время ты зашибать больно стал – это правда.

– У меня, может, душа болит, – продолжал Гомбожап, вроде не слыша, но голосом размягченным, и губы задрожали от благодарности, и глаза заблестели подозрительно («Немного же тебе надо, – думал Дэбшэн, внимательно наблюдая. – Два-три слова сочувственных – и готов»). – Болит душа.

– Ну, ну, – подбодрил Таряша, – понял: болит. С чего бы это?

– Думаешь, с водки? Ни-ни, это я после Вали, покойницы... позволил, распустился, так сказать. А вот дела у нас, братцы, в колхозе... никуда не годны дела. К примеру, моя ферма... за нее душа и болит. У других, у нас же в районе, по

пять-шесть тыщ литров коровы дают. А у нас? В лепешку расшибись – из отсталых не выйдем!

– Да ведь Мэдэгма, кажется, в этом году обязательство приняла до четырех тыщ надои довести, а? – поинтересовался Таряаша.

– Принять-то приняла... и выполнит, наверное. Мэдэгма вообще молодчина, – Гомбожап мельком взглянул на Дэбшэна, и у того вдруг заныло сердце, как при прощании с чем-то дорогим, но уже далеким. – Но, во-первых, четыре тыщи – это все-таки не пять и не шесть, верно? И кроме того, рано или поздно – скорее рано! – и эти надои понизятся, и намного.

– Почему? – с каким-то детским любопытством спросил Таряаша: чувствовалось, разговор начинает занимать его – о деле говорит человек, а не о каких-то там... «водяных каплях».

– Да потому, что все коровы у Мэдэгмы одного возраста, причем самого молочного, лет около пяти. Вот Мэдэгма и ходит в передовых... пока. А потом...

– А потом молодых коров получите. Разве не так?

– Не получим – в том-то и дело. Все молочные трехлетки идут не к нам, а на комплекс, понятно?

– Вот! – закричал Таряаша. – Я давно говорил, что нам надо...

– Говорил он! И раньше тебя, и поумнее люди говорили, и с властью. Помните председателя, при котором свинарники сгорели? Ну, шуму еще было, его выперли... А он, между прочим, уже документацию собирал на единый механизированный комплекс. Да нашим дояркам, честно говоря, в ножки поклониться надо – все на них держится! Где-то машины работают, а мы... все руками за коровьи соски дергаем. Хозяин нашему колхозу нужен настоящий – вот что!

– Это да, – Таряаша вздохнул, – глядишь – и комплекс тебе будет, и трехлетки к нам пойдут...

– Да не в комплексе же в одном дело! – перебил Гомбожап нетерпеливо. – Ну конечно, доить, вообще ухаживать за коровами станет намного легче, племенную работу упорядочим – это так. Но если брюхо коровье кормом не набьешь – откуда молоко возьмется, а? Откуда шерсть у овцы, если ее не кормить как следует? Выходит, вся соль в кормовой базе, то есть, – Гомбожап круто повернулся на чурбаке, подставляя огню другой бок, и ткнул пальцем в Таряашу, – то есть в конечном счете все зависит от вас. У нас ведь горы... пастбищ – раз, два и обчелся. Подымайте урожайность посевных.

– Легко сказать... – заговорил Таряаша, но Гомбожап уже вошел в раж, впрочем, с самого вечера он из него и не выходил.

– Вы одно знаете – баранку крутить! А на что способна земля, если ее плодородие поднять, – вы и знать не желаете. Что, не так? Слыхал, по сколько центнеров с гектара в некоторых местах получают?

– Да что ты сравниваешь нас с западными районами? – заорал, в свою очередь, задетый за живое Таряаша. – У них там степи черноземные, а у нас? Горло дерешь, как будто не знаешь... Тоже, учитель нашелся! Там одно, у нас – другое. Какой вывод, по-твоему, а?

Гомбожап долго молчал, не просто так молчал, а со значением: сейчас, мол, такое скажу, ахнете. И сказал:

– Вывод такой: работать вы еще не умеете.

Таряаша аж плюнул с досады и отвернулся. Чего от этого пустозвона ждать, каких таких выводов! С кем связался!

– Критиковать вы все горазды, – проворчал он разочарованно и занялся печкой: принес охапку дров из дальнего угла, открыл дверцу, подложил два полена – пламя вспыхнуло и загудело (Гомбожап с воплем: «Чуть ребра не спалил!» – отодвинулся), однако привычное мирное занятие не успокаивало, и он продолжал: – Слыхали мы этих критиков... Институты поокончали, дипломами щеголяют, а того не могут

сообразить, что места наши особые, стало быть, и урожайность поднимать надо по-особому...

– Ух ты, знаток! – ухмыльнулся Гомбожап.

– А вот знаток! – принял вызов Таряаша. – Таких, как ты, специалистов кругом навалом. Все вы сегодняшним днем живете, а что раньше было, к чему завтра придем – об этом не задумываетесь. Вон я агроному твержу, твержу, что землю по-другому обрабатывать надо, а он...

– Не слушается, значит, агроном? – вставил Гомбожап с усмешечкой.

– Да что с тобой, с дураком...

– Нет, ты скажи, – похоже, Гомбожап даже на «дурака» не обиделся. – Поучи уму-разуму.

– Слишком глубоко пашем, понимаешь? Плодородный слой у нас неглубокий, а трактора сильные, к примеру, К-700 взять: землю вон как выворачивает, глину наверх поднимает. Вот и все.

– И все? – переспросил Гомбожап недоверчиво. – И ты хочешь сказать, что никто, кроме тебя, до такой пустяковины не додумался?

– Чего ж ты-то не додумался? – закричал Таряаша в сердцах.

– Агроном небось побольше твоего соображает, – голос Гомбожапа звучал неуверенно. – Раз он с тобой не согласен...

– Видал? Вот народец! – обратился Таряаша к Дэбшэну как к единомышленнику. – Коли у меня диплома нет – нечего на меня и время тратить. Ученые! Что агроном наш, что этот, – он ткнул пальцем в Гомбожапа, – два сапога пара. Лишь бы ничего не трогать, не менять, пусть все по-заведенному катится... Вот и развал! Прошлой весной получили мы три новых КРН-4 к тракторам гусеничным. Один разобралн до винтика, и к двум оставшимся части его приладили, что-то вроде культиваторов получилось... шесть метров охват, представляешь, какой агрегат мощный вышел? А он, агроном, является – и ну шуметь: заводскую продукцию, дескать, сломали. И главное: за сколько он теперь машин должен отвечать – за две или за три? Это ученый? Смех и слезы!

– Ну так борись, доказывай! – рассердился Гомбожап. – Что ты тут перед нами...

– Доказываю! Поле вон прошу на будущий год дать, мелкую вспашку попробовать...

– Дадут поле-то?

– Черт их знает! Нет у нас в колхозе настоящего хозяина – тут ты прав...

Дэбшэн слушал внимательно, но как бы со стороны, даже странно было, насколько чужим стал он в родных местах. Эти двое и думать о нем забыли, все больше углубляясь в дела колхозные, будто мировые проблемы решают, глаза горят, а крику...

Дэбшэну вспомнилось, как однажды – ну да, он в десятом учился – был собран небывалый урожай, закрома ломились. Дело в том, что весной в первый раз (и кажется, в последний) завезли в колхоз элитные семена, новый сорт. Что на полях творилось! Вся школа была мобилизована на ток, где зернопункты попросту не справлялись с гигантскими кучами. Ребята лопатами зерно ворошили, с места на место перекидывали, шуму было, песен... Какой урожай, на всю жизнь запомнился! Колхозники подходили, перебирали горсти крупных, густозолотистых зерен, любовались как драгоценностями какими-то редчайшими... Вот так загорается женское лицо, склонившееся над старинным богатым сундуком. Украшения давно прошедших времен – нагрудные, наголовные, всевозможные браслеты, ожерелья из золота, серебра... изумруд, жемчуг, сердолик, бирюза... Впрочем, женщин, озаряемых блеском сокровищ, Дэбшэну приходилось видеть разве что в кино. Хасууритинцы – народ небогатый, ну, колечком может кто похвастаться или сережками... Золото зерен – вот несметное богатство. Да, сколько лет прошло, а не забывается: зерно на ладони, мозолистой крестьянской ладони, – словно живое, дышит... И тысячелетиями

поддерживает жизнь человечества.

Он ушел от всего этого в другой мир – простым глазом не видимый, руками не осязаемый, почти нереальный. Когда это случилось? Когда он «изобретал» машины? Или когда прочитал про опыт Эрстеда? Ганс Христиан Эрстед, датский профессор, еще в 1821 году проделал опыт, который поразил сегодняшнего школьника. Профессор поднес компас к проводнику, по которому шел ток, и стрелка компаса отклонилась. Так было доказано единство совершенно разных, казалось бы, физических сущностей – электричества и магнетизма. Первое открытие, первый шаг к отысканию единства всех сил природы.

За эти сто пятьдесят лет пройдено немало, изучены природные процессы – от электромагнитного излучения до химических реакций, создано кое-что практическое: от электростанций до компьютера. И он, словно замороженный, пошел по этому пути: найти ключ к Единой космической теории. Найти ключ, открыть и войти. Зачем? Ответ прост: получить неограниченную власть над Природой. Есть ли цель благороднее? – думалось ему, ею он жил, она была его верой. Но вот однажды вера пошатнулась.

Может быть, произошло это потому, что его самого постигла неудача и многолетние расчеты не оправдались? И успех, признание, слава оказались недостижимыми? Если так – то он попросту озлобленный неудачник.

Однако – Дэбшэн помнил и чувствовал – сомнения в истинности избранной цели приходили к нему и раньше. Он отмахивался от них, отгораживался работой, работой, работой от всего казалось бы, мира. Но окончательно отгородиться, возвести пресловутую «башню из слоновой кости» – так и не смог. Мир, прекрасный, живой (золотое зерно на ладони дышит!), мир тот гибнет: гибнут леса и звери, воды, воздух, птицы и цветы, чудища в океане и сам океан... Потому что человек в хищной тысячелетней борьбе с природой добился кое-какой власти над нею – а что будет, если власть эта станет неограниченной? Не сгорит ли весь мир дотла, как сгорела в атомной атаке Хиросима?

Как говорил позавчера доктор Аюша: во что могут превратиться эти самые частицы в ваших руках... что б вы ни пооткрывали, все ведет к разрушению... Распад!.. А целью науки должно быть благо...

Да, да, это так, и он, Дэбшэн, прав. Ведь имели мужество отказаться некоторые ученые от дальнейших исследований в области мозга и психики? Исследований, которые могли привести к изменению самой сущности человека.

Конечно, он («неудачник!» – Дэбшэн горько усмехнулся) не такая уж потеря для науки. Но и он сумел сделать выбор, он возвращается... так сказать, к «зерну на ладони» – основе основ жизни. Не этот ли труд и сделал человека человеком?

Он возвращается к ним – Дэбшэн внимательно всмотрелся в полууголого Гомбожапа, бегающего в возбуждении по вагончику, в Таряашу, размахивающего руками, – и на душе стало легче.

– Пьяница, пьяница! – орал Гомбожап. – Повесили ярлык – и рады! А думаешь, у меня никаких таких идей после института не было? Да только я тебе скажу: идеи идеями, а нужна нам в колхозе умная власть, хозяин – тогда и дело сдвинется.

– Пусть наверху подумают...

– Пока они там надумают, – упрямо возражал Таряаша, – я буду делом заниматься. Нечего время зря терять. Верно я говорю, Дэбшэн?

– Верно, – Дэбшэн улыбнулся. Интересно, как бы они отнеслись к его решению бросить науку и остаться в деревне? Сочли бы блажью или...

И Дэбшэн промолчал.

Дождь, на какое-то время вроде притихший, вдруг припустил с новой силой;

зашумел мерно и однообразно.

Ханда, пряча лицо от холодных резких ударов капель, наклонялась к самой гриве и неслась во весь опор. Гнедой чуял дорогу домой, в стойло, но бежал неровно, то и дело норовя замедлить шаг, пофыркивал недовольно. Еще бы! Никогда так безжалостно не гоняли его ни в телеге, ни под седлом. Если обе хозяйки едут вместе, то разговаривают, смеются, о дороге забывают – и гнедой особо не утруждает себя, плетется шагком. А когда по отдельности едут, в седле, то петь любят. Одна поет грустно и протяжно, другая – беззаботно и весело.

Конь различает хозяек не только по голосу (запах от всех доярок одинаковый – молоко, навоз...). Одна потяжелее будет, другая – полегче. Одна в седле сидит крепко, уверенно, как влитая. Другая вертится, ногами по крупу елозит, стремящем похлопывает, будто гладит, или рукой шею ласково треплет... то в галоп пустит, то рысью бежать заставит. Натянет повод туго, чтоб конь голову высоко задрал, прошелся танцующей походочкой, подняв развевающийся хвост.

Одна кого на дороге завидит, остановится и спокойно в седле сидит, разговаривает; гнедой же травку пощипывает, ждет. К другой ребята как пристанут со смехом да с шутками, она коня вскачь мимо с ветерком припустит. А случилось, если уж очень досадят, прямо на компанию веселящуюся направит гнедого, дергая за удила, тот – на дыбы, ребята мигом разбегутся, поневоле дорогу уступят.

И настроение своих хозяек конь чутко различал: сердятся, волнуются, или, напротив, спокойные, тихие, ласковые... Но сейчас... под стремительным напором какой-то нервной лихорадочной энергии гнедой сам занервничал и заволновался...

Ханда спешила, отвела коня в сарай к сену, попоной покрыла, чтоб не застудился, и, только подходя к летнику, с удивлением заметила освещенное окошко. Обычно доярки рано ложатся, чтоб выспаться к утренней дойке.

Она взялась за ручку двери, та вдруг подалась... странно: даже на крючок не заперта. Мэдэгма сидела на лавке у стола, рассеянно уставившись на прогоревшую печку.

Ханда бросила к стенке у двери уздечку и седло, Мэдэгма вздрогнула и обернулась на шум. Глаза, огромные, черные, вспыхнули каким-то нетерпеливым ожиданием, будто не Ханду ожидали увидеть, а что-то необыкновенное – и тут же потухли. На лице выразилось удивление. Ее младшая товарка, оставшаяся ночевать в деревне, стояла перед ней в розовом сарафане и в тонкой шерстяной кофточке, насквозь промокшая, как залитая в норе мышка. Тонкие струйки с одежды стекали на пол, лицо побледнело от сырого осеннего холода.

– Что случилось? – Мэдэгма вскочила и подошла к ней.

– Ничего.

– Да ты вся дрожишь! Что случилось?

– Правда, ничего.

– Немедленно переодевайся, простынешь...

– Ага, сейчас.

Мэдэгма кинулась к остывающей печке, сунула в топку три полена, щепок положила побольше и подожгла. Сухие дрова затрещали весело.

Ханда уже разделась, закуталась в большое мохнатое полотенце и подошла поближе к печке, продолжая дрожать мелкой, едва заметной дрожью.

– Давай-ка я тебя разотру.

Мэдэгма кончиком полотенца принялась вытирать голову, лицо, близко взглянула в глаза, отсутствующие, но как будто слабый огонечек мелькнул в глубине и исчез. «Должно быть, дома с кем-то поссорилась, вспылчива – вспыхнет из-за пустяка... вот, среди ночи прискакала, – думала Мэдэгма. – Молода, жизнь еще не укутала...» Она провела полотенцем по длинной тонкой шее, по худеньким девичьим плечам, выступающим ключицам... «Тонка и легка, словно перышко», – отметила Мэдэгма без зависти, но вздохнула отчего-то.



Ханда отстранилась в смущении, отвернулась, скинула полотенце и сама начала надраивать кожу до красноты... кожа белая, гладкая, тонкая талия, крепкие спортивные ноги – с детства увлекалась бегом. Кончила, повесила полотенце над печкой, набросила махровый пестрый халат.

Мэдэгма любовалась ею с тихой грустью. «Как ребятам не бегать за такой девчонкой? Все при ней – стройная, как елочка, молоденькая, умница. Каждый вечер тут толкуются, можно выбрать, но в юности, должно быть, всем чего-то необыкновенного хочется, чтоб самый красивый был, самый сильный и умный. Я и сама такая была... ведь чувствовала, что Дэбшэн мне не пара, а... А кто мне пара? До сих пор не знаю, а жизнь проходит... Только не Цезарь, конечно...»

Ханда продолжала стоять возле печки, задумалась о чем-то. Крышка чайника на плите начала подпрыгивать – вода закипела. Мэдэгма отодвинула чайник па край плиты, открыла дверцу, поворошила смолистые, шипящие поленца; все это машинально, занятая своими мыслями.

«И не Гомбожап. Он неплохой, но хватит, ошиблась однажды. Что ж, после Дэбшэна мне все стало безразлично. Потому и замуж пошла. Эх, Дэбшэн, что же ты...»

Мэдэгма достала из настенного шкафчика чашку, налила чаю, сахару положила и протянула Ханде.

– Ну-ка выпей, пока горячий. Нет ничего лучше от простуды.

Та взглянула на нее своими карими глазами послушно, покорно, как ребенок на мать. Приняла чашку, на лавку села, сжалась вся, согнулась – и вправду будто ребенок – и принялась мелкими глотками чай пить.

Мэдэгма не удержалась, погладила мокрые волосы: ничего, мол, все пройдет, утро вечера мудренее. Да и как помочь? Ханда ведь ни за что не расскажет, что случилось. Не надо и расспрашивать, понапрасну тревожить. Чаю выпьет, согреется и заснет. А завтра, может, и позабудет все. В молодые годы – грусть ненадолго...

В самом деле, после чая Ханда забралась под одеяло и затихла. И Мэдэгма, помыв посуду и лампу погасив, вытянулась рядом со сладко посапывающим Чингисом.

Она всегда спит с сыном. Что б там ни тревожило, а как ляжет рядом, прижмет горячее тельце – и вроде легче на душе. Хотя вообще-то спать с Чингисом – испытание не из легких. Он и во сне продолжает жить бурной мальчишеской жизнью: ворочается, брыкается, одеяло скидывает... Посторонний после такой ночи одуревший встал бы, а она... что там говорить! «Лапочка моя, – думает она каждый вечер с нежностью, засыпая. – Как бы я без тебя жила...»

Но сегодня, она чувствует, заснуть ей не скоро удастся, слишком много обрушилось на нее нынешним вечером, слишком... Вдруг в полной тишине послышался глубокий вздох. Ханда еще не спит? Странно. Да, не спит, вон повернулась на другой бок, заскрипел пружинный матрас, все стихло.

«Так, девичья чепуха какая-нибудь, – подумала Мэдэгма. – Мне б ее заботы!» Она вновь увидела лицо Дэбшэна, глаза, почувствовала его руки на лице. Обнять бы его крепко-крепко, погладить короткие вьющиеся волосы... И ведь она почти решилась, не в силах больше сдерживаться, но тут вошел Гомбожап. Принесла его нелегкая!..

Ханда опять заворочалась в постели и позвала тихонько:

– Мэдэгма!

– Не спишь? – не сразу отозвалась та, нехотя отрываясь от своих мыслей.

– Нет...

«Наверное, ждет, что я спрошу «почему?» – поняла Мэдэгма, но так не хотелось разговаривать.

А Ханда вдруг спросила после паузы, словно подслушав ее мысли:

– А вы помните свою первую любовь?

Мэдэгма замерла. «Кто же ей мог рассказать о Дэбшэне? – пронеслось в голове. – Цезарь? Но когда мы развелись, она маленькая была... Ну и что? Дети так все быстро схватывают. Вон Чингиска сегодня как Дэбшэна встретил, в штыки!.. А почему она вдруг спросила?.. Ну и ладно! Чего я испугалась-то?»

– Помню, конечно.

– А говорят, первая любовь проходит и забывается.

– У кого как.

– А у вас?

– Не забывается.

– Несмотря ни на что? Даже если он сильно изменился? – голос Ханды выдавал жадное любопытство.

«Неужели про нас уже болтают? – удивилась Мэдэгма. – Ну да! Не успел приехать, как в шалаш подался, рядом с летниками... конечно, к Мэдэгме... должно быть, родители у Ханды уже интересовались, Дулсама известная сплетница...»

– Даже если он сильно изменился, – повторила она с грустной иронией слова Ханды. «Ну разумеется! Уже небось промывают ему косточки: «пропавший», «из института выгнали», «до ручки дошел!» Да ничего подобного! Не спился, не опустился – жив-здоров... такой же, как прежде!» – А что, человек обязан все время вверх карабкаться? Так по-вашему? Да мало ли что в жизни случается...

– Это правда, – неожиданно согласилась Ханда и вздохнула. – Чего не случается... И главное, как ни скрывай, все равно наружу выйдет...

«Этого еще не хватало! – Мэдэгма начала внутренне закипать. – Чтобы девчонка меня поучала...»

– Что ты, Ханда, можешь об этом знать! Ты еще слишком молода, чтобы...

– Да это все пустяки! – воскликнула Ханда горячо. – Если любят друг друга, понимают – разница в возрасте не имеет значения, правда ведь?

«На что это она намекает? Что я на старости лет... Да он всего на два года моложе, если уж на то пошло!» – не будь она так взволнована сегодня, она давно бы догадалась, что каждая из них говорит о своем.

– Настоящая любовь ничего не испугается! – отчеканила Мэдэгма с вызовом.

– А вы кого в первый раз полюбили? – задала Ханда неожиданный вопрос.

– Кого, говоришь? – переспросила Мэдэгма растерянно. «Но... разве она не про Дэбшэна только что говорила? Ничего не понимаю!»

– Брата, наверное? – робко продолжала допытываться Ханда.

«И чего она не в свое дело лезет!» – раздражение Мэдэгмы росло, она отрезала коротко:

– Нет!

– Нет? – в голосе Ханды слышалось такое искреннее удивление, что до Мэдэгмы дошло наконец: о Дэбшэне и речи не было, все это она сама понапридумывала.

– Я имела в виду, – поспешила объяснить Мэдэгма, – что влюблялась в ребят, когда молоденькой была. С кем не бывает, вон и ты небось...

– Но вы же сказали, что забыть не можете. Ведь так?

– Ну, молодость, лучшие годы... конечно, не забываются. Когда-нибудь и ты меня поймешь.

– Нет, нет, я понимаю. Вы не хотите рассказывать, я понимаю. Я тоже... я бы тоже не смогла.

«Вот оно что! – Мэдэгма почувствовала облегчение. – Девочка переживает... что-то там случилось у нее, ночью в дождь прискакала... Ей, видать, поговорить не с кем, а я...»

– Понятно, – сказала Мэдэгма ласково. – Значит, и твое время пришло. Влюбилась?

И та отозвалась после долгого молчания:

– Давно.

«А-а, должно быть, еще в школе, – догадалась Мэдэгма. – И ведь как! До сих пор никого к себе не подпускает. Теперь ясно...»

– А сегодня что произошло? Письмо получила?

– От кого?

– От парня своего, от кого ж...

– Нет, что вы! Я никогда от него писем не получала, – Ханда умолкла, потом добавила после паузы: – Он сейчас здесь.

– Здесь? – удивилась Мэдэгма. – Вот уж ничего не замечала!

– И замечать нечего было.

– Так он... Он тебя не любит, что ли?

– Не знаю.

– То есть как это?... А впрочем, бывает, – Мэдэгма опять вспомнила свое. – Поди разбери их... любят, не любят...

– Он совсем на меня внимания не обращает, – прошептала Ханда. – Наверное, все еще за девчонку принимает.

– Он разве старше тебя?

– Ну и что? Как будто, если человек старше, его и полюбить нельзя!

«Кто ж это такой? – с любопытством подумала Мэдэгма. – Здешний, старше... Ну-ка, ну-ка...»

– Отчего же нельзя? Любовь не спрашивает, но... – Мэдэгма поколебалась и все же решила предостеречь девушку. – Но если он женат, подумай прежде, чем...

– Да не женат он! И никогда не был.

«Дэбшэн! – как что-то стукнуло в голове. – Конечно, Дэбшэн. Как она сказала... «он сейчас здесь»... Сейчас, то есть не всегда в Хасуурите жил... И женат не был, и старше... То-то она третий день, как Дэбшэн приехал, сама не своя... Но как же это? Как это Ханда могла влюбиться в Дэбшэна?... А почему бы и нет?... Ну и пусть! Она ему не нужна... Не нужна? Ты уверена? Только что сама ею любовалась... И он ведь может... да, он наверняка...»

– Это Дэбшэн? – спросила она хриплым, внезапно осевшим голосом, приподнялась на локте, вглядываясь в безнадежную тьму.

Молчание – упорное, глухое, слишком затянувшееся молчание, будто Ханда исчезла, растворилась в этой крошечной тьме. Наконец – едва слышный ответ:

– Нет...

Это «нет» означает «да», несомненно. Слезы подступили к горлу... зарыться в подушку и выплакаться всласть... Нет, нет, надо взять себя в руки, надо терпеть. «Сколько можно терпеть, всю жизнь? А, мне не привыкать. Да и что, собственно, случилось? Какие права я имею на Дэбшэна...»

– Ты его не любишь! – вырвалось вдруг у Мэдэгмы. – Тебе просто показалось, ты еще девочкой была... что-то новое, необычное...

– Показалось? Я вас не понимаю.

– Ты его не любишь! – отрезала Мэдэгма со злостью, так что сама удивилась: будто с врагом каким разговаривает.

– Странно, – повторила Ханда недоуменно. – Вы что, лучше меня знаете: люблю я, не люблю?

– Да люби себе кого хочешь! Мое какое дело!

– А почему... послушайте, почему вы на меня злитесь?

– Кто злится-то? Очень нужно!

«Она злится, а сама чуть не плачет. Она... – внезапная догадка рассеяла недоумение, словно в комнату, полную тьмы, внесли лампу, сверкнул яркий кружок света, разгоняя тени по углам. – Сама призналась: первая любовь, которая не забывается... Да, да! Кажется, и мать говорила... давно, когда они развелись... Нет, не Цезаря любила она, не Цезаря... И сейчас любит...»

Ханда уцепилась за эту мысль, стараясь убедить себя, будто ей обидно за брата. «Скажите, пожалуйста! Цезарь для нее не хорош. Да за него любая с радостью пошла бы. Папа так и говорил: любая. А она... Теперь понятно, почему Цезарь ее бросил... Правильно сделал! Да кто она такая, чтобы... вот сейчас спрошу спокойно, холодно: «Кто ты такая, чтобы любить моего Дэбшэна?..» – Ханда опомнилась вдруг, почувствовав, как вспыхнуло лицо. Стыдно. И хорошо, что темно. В темноте как будто легче самой себе признаться: не за брата стыдно, а за себя.

Но она не поддается мелочной бабьей ревности. «Не в Мэдэгме, в конце концов, дело, пусть она любит, кого хочет, хоть Дэбшэна... – вновь непонятная обида шевельнулась в душе, но Ханда не поддалась. – Не в ней дело, а во мне самой. Я его люблю? А может быть, нет? Может быть, просто придумала себе героя, и вот уже годы... Ведь что, в сущности, было? Да ничего...»

Да, ничего, кроме того единственного звездного вечера. Но почему всякий раз сердце замирает, стоит подумать о нем или имя услышать? Вон недавно, еще до приезда Дэбшэна, завфермой тут в летнике разглагольствовал, что, мол, Дэбшэн – самый талантливый парень из их улуса. «Вы еще о нем услышите!» – заключил Гомбожап многозначительно. Она слушала жадно, волновалась, будто ее хвалили, но принялась возражать из духа противоречия («он там думать про меня не думает, а я тут!...»): «Что-то пока ничего не слышно». – «Не слышно! Понимала б ты, на какое дело человек замахнулся». – «А вы-то понимаете?» – «Я, конечно, не физик, но и не дурак какой-нибудь. Талант – он за версту виден. Вот разберется Дэбшэн со своими элементарными частицами, наведет там порядок, так сказать, и внесет ясность». – «Во что?» – «Во все, – ответил Гомбожап с важностью. – Как дознается до единого закона природы, так все станет ясно». – «А если не дознается?» – «Дознается! – уверенно отозвался Гомбожап, помолчал, потом добавил: – А уж коли нет... что ж, и ошибочный путь, бывает, приносит свою пользу... Как говорят: методом проб и ошибок можно отыскать истину. Так-то вот! А ты «не слышно», «не дознается»... Наука. Это тебе не коров доить...»

Ханду и не надо было убеждать, она и так верила, что Дэбшэн – человек необыкновенный и жизнью живет особенной, загадочной. Не то что она: с утра до вечера копается в житейских мелочах, сама не знает, чего хочет. Вот если б Дэбшэн... рядом с ним она бы!.. Впрочем, ничего конкретного Ханда вообразить не могла, так, одни мечты о жизни интересной и значительной. Чаще всего представлялось (очевидно, по ассоциации с тем единственным вечером) бесконечное сверкающее небо. Они вдвоем глядят на звезды... нет, она глядит вверх, а он не сводит с нее глаз... «Вон звезда упала», – тихо говорит она. «Это не звезда, а комета... звезды не падают». – «А почему они не падают?» – «Звезда может только погаснуть». – «А есть негаснущие звезды?» – «Есть!» – говорит Дэбшэн, они смотрят в глаза друг другу, он наклоняется...

Сейчас, лежа в старом, затерянном среди лесов и полей летнике, возле остывающей печки, Ханда только усмехнулась, вспомнив все эти «звездные глупости». Жизнь куда жестче и... неожиданнее любых фантазий. Дэбшэна, как злорадно говорит мать, «выгнали с работы, десять лет коту под хвост, в деревню вернулся». А она... она мечется как угорелая, со своими поссорилась, в грозу ее нелегкая понесла, чтобы лежать вот так до утренней дойки, остро ощущая присутствие этой чужой непонятной женщины, напряженно вслушиваясь в темноту. Но та лежит как мертвая: ни шороха, ни вдоха.

Мэдэгма лежит и ждет рассвета.

– А что, правда, я слышал... – Гомбожап хитренько прищурился, глядя на Дэбшэна. – Болтали, вроде ты в Хасуурите жить остаешься. Это как понимать?

«Ага, уже болтают, – подумал Дэбшэн с раздражением. – Болтают небось, что я дубина сырая, без толку воду в науке толочшая!»

Он молча встал и пошел к двери, otvorил ее: пахнуло зябкой сыростью.

– Дождь кончился? – спросил Таряаша и тоже поднялся.

Дэбшэн, не отвечая, спустился по лесенке в шуршащую темень; грозовой ливень сменился нудной осенней моросью.

– Гомбожап, ты с нами? – обратился к нему Таряаша с порога.

– Мне спешить некуда, – Гомбожап сидел, чуть не прижавшись спиной к печке. – И не к кому. Торопись, спеши, беги или сиди – толк один...

Однако Таряаша, не дослушав, нырнул в темноту, как в озеро, и бросился догонять Дэбшэна.

Тот широко шагал по обочине в сторону Хасууриты. Намокшие волосы прилипли ко лбу, студёные струйки текли по лицу, стекали за шиворот. Не видно ни зги, кажется, дорога эта бесконечна, и неизвестно, что ждет его впереди. На мгновение потянуло назад, в вагончик механизаторов, тёплый, такой уютный сейчас, в мокрой ночи. Но там Гомбожап с его навязчивыми вопросами и подковырками... Дэбшэн махнул рукой, подумал с каким-то даже горьким наслаждением: «А, чем хуже, тем лучше!» – продолжая брести по жидкой грязи.

– Дэбшэн! – прорвался сквозь шум дождя громкий голос Таряаши. – Подожди! Машина идет!

Дэбшэн обернулся: далеко позади два ослепительных лучика прорезали сплошную тьму, ближе, ближе... вот уже видны капельки, брызги, пляшущие в свете фар... с надсадным воем подкатил «уазик»: притормозил, кто-то, сидящий рядом с водителем, открыл дверцу и сказал, почти приказал:

– Садитесь!

Таряаша, услышав этот голос, смутно знакомый, близко подошел к машине, пытаясь разглядеть лицо говорящего:

– Садитесь скорее! – нетерпеливо бросил тот, и на его коленях вдруг заплакал ребенок.

– Цезарь, ты, что ли? – воскликнул Таряаша, еще сомневаясь, и обернулся к Дэбшэну. – Садись, поезжай с ними.

Дэбшэн, поколебавшись, нерешительно открыл дверцу, увидел женщину и маленького ребенка, которого она тотчас взяла на руки, как бы приглашая Дэбшэна садиться. «Всей семьей едут», – понял он.

– А ты? – коротко обратился Цезарь к Таряаше.

– Как-нибудь доберусь. У меня тут с мотоциклом... мотор заглох, – пояснил Таряаша и захлопнул дверцу.

«Ну и ночка! – подумал Дэбшэн. – Цезаря здесь только не хватало».

Машина тронулась. Все молчали, должно быть, устали в дороге. Прямо перед собой Дэбшэн видел широкие плечи Цезаря, крепкую шею, крупную голову в шляпе – и полузабытое, но, как теперь выяснилось, цепкое чувство неприязни потихоньку охватывало его. И сам Цезарь представлялся человеком сытым, самодовольным... и сплоченное семейное молчание вдруг поразило напряженностью, даже враждебностью.

У Дэбшэна с Цезарем еще в детстве дружба как-то не ладилась. Правда, Цезарь старше на три года, однако не в этом дело: ведь с другими детьми постарше Дэбшэн дружил. Хасуурита – деревня маленькая, все ребятишки держались сообща, а вот Цезарь... Нет, он не обижал никого, с маленькими не задибался, не давал рукам воли, но чем-то – характером, что ли? – незаметно, без нажима подавлял. Ребята ему подчинялись, и Дэбшэн в том числе. А когда миновало пятнадцать, стал проявлять независимость, вступал в спор по пустякам, горячился – и сам не заметил, как отделился от старой приятельской компании... или его отделили: ребята не поддержали Дэбшэна в его независимости.

Впрочем, у него оставался Таряша и тайные, тщательно скрываемые «изобретения». А много лет спустя – Дэбшэн только что закончил университет, Цезарь уже работал в колхозе инженером-механиком – произошел как будто окончательный разрыв. Они оба, а также Гомбожап с Таряшей, отмечали встречу в сарае у доктора Аюши. И выпили-то всего две бутылки красного, но непьющий Дэбшэн сразу захмелел, заговорил громко, размахивая руками, о будущем физики, о своем собственном великолепном будущем.

Таряша слушал внимательно, стараясь хоть что-то понять. Гомбожап кивал самодовольно, полагая, что с любым – и с Дэбшэном, конечно, – найдет общий язык: он действительно читал много, хотя и беспорядочно. А Цезарь глядел рассеянно, отсутствующе, потом вдруг собрался уходить. «Ты чего? Разве неинтересно? – остановил его Гомбожап и добавил шутливо: – Может, что-то полезное в башке останется». – «То, что мне нужно, в ней имеется, – ответил Цезарь бойко. – А попусту мучить свою башку не собираюсь». – «Попусту! – мгновенно вскипел Дэбшэн. – Над этими проблемами ученые всего мира думают». – «Пусть они и думают, – усмехнулся Цезарь. – Но без тебя им, конечно, ни до чего не додуматься. Ничего! Наш Дэбшэн из Хасууриты все мировые проблемы решит».

Дэбшэн вспыхнул, как спичка. Но от волнения и гнева мысли в голове перепутались, он начал возражать невпопад и бессвязно. А Цезарь, напротив, держался все спокойнее и увереннее, каждым словом попадая в цель. Поединок, таким образом, окончился отнюдь не в пользу начинающего физика.

Вспомнив об этом, Дэбшэн был вынужден признать: Цезарь оказался прав. Если он сейчас обернется и спросит с усмешкой: «Ну, гений! Сумел утереть нос всему ученому миру?» – возразить ему будет нечего.

«Да, нечего, – размышлял Дэбшэн, остро ощущая присутствие давнего друга-недруга, уверенность и силу, исходящую от него и сейчас вроде подавляющую его, Дэбшэна. – Что ж, он человек практичный, реально мыслит и стоит на земле прочно... Как таких называют: хозяин жизни. Когда еще сумел понять всю несбыточность моих этих самых юношеских восторгов... Муравью не сдвинуть камень, который и быку не под силу... Скорей приехать, что ли... А может, я не могу простить ему, что он женился на Мэдэгме, а потом бросил ее?.. Ему не могу, а себе смог?.. Нет, нет, сейчас лучше в это не вдаваться, и так голова трещит...»

А дороге, слякоти, дождю, казалось, конца не будет. Не будет конца и молчанию, угрюмому, отчужденному. Жена Цезаря чувствовала какую-то напряженность... С самого начала поездки, нет, с того дня, как муж получил новое назначение, он места себе не находит, обрывает любой разговор, что-то думает, думает... Вот и сейчас сидит, замкнувшись, нахохлившись... Что-то ждет впереди?

Соня давно уже научилась угадывать настроение мужа и вела себя соответственно: не перечила, не лезла с советами, если ее не спрашивали. «Умная женщина, – любил говорить отец, – мягкостью и покорностью из мужчины веревки вьет». Или: «Женщина сдержанная, умеющая себя в руках держать, всегда вызовет к себе уважение».

Вот почему в тот вечер, когда он неожиданно обратился к ней со словами: «Цезарь хороший парень – это мое мнение. Но решай сама», – она от избытка чувств – отец не против! – хотела броситься к нему, обнять, но заставила себя сдержаться.

Это случилось всего через неделю после знакомства с будущим мужем – Соня училась тогда на третьем курсе политехнического, – но события развивались стремительно. Она-то решила почти сразу, но ждала отцовского одобрения. И вот оно получено, и Соня чуть не кинулась ему на шею, но не посмела, и, чтобы отец не заметил ее вспыхнувшее лицо, склонилась над раскрытым пианино, за которым сидела, и машинально нажала на клавишу: чистый протяжный звук пролетел по комнате. Отец продолжал улыбаться, она, стараясь скрыть смущение и радость, пробормотала небрежно: «Ну, может, не такой уж он и хороший...» Что она имела в

виду – что Цезарь разведен? Скорее всего, в ту минуту она об этом не думала, скорее всего, ей хотелось вызвать отца на возражения. И он как будто подслушал ее мысли, отозвался укоризненно: «Мне-то хоть не морочь голову... И вообще: идеальных людей, как известно, не бывает, у всех у нас свои грешки найдутся. Если любишь, сумей смириться и поладить...»

Она знала, что это не просто слова. Отец с матерью поженились очень молодыми и никогда не ссорились, относясь терпимо и снисходительно как друг к другу, так и к окружающим. Соня выросла в семье, где царят мир и согласие, и главная заслуга в этом принадлежала, безусловно, отцу. Он имеет привычку подходить ко всему в жизни без суеты, неторопливо, придерживаясь мудрого правила, что «все торопливое – сырое».

На службе его ценят как работника знающего, основательного, который дров не наломает, порученного дела не завалит, а поведет ровно и гладко. Карьера без взлетов и без падений: ценят, уважают, но держат на вторых ролях. Зампредседателя колхоза, зампредисполкома, заведомом в райкоме, второй секретарь... Тут как будто счастье улыбнулось отцу: выбрали первым секретарем райкома. Теперь, казалось, он развернется широко и самостоятельно. Не тут-то было! И подвели отца именно его добросовестность и чувство долга. Короче говоря, за сравнительно короткое время он сумел вывести район из отстающих в передовые. Как нарочно, и года прились урожайные, обильные зерном и сеном, соответственно, и скотина в теле, и поставки молока и мяса в норме... и так далее. Район начал мелькать в печати, отец фигурировать на всевозможных собраниях и заседаниях. Его наконец заметили сверху – и назначили заместителем министра сельского хозяйства республики. Как будто лестное назначение: замминистра – звучит! Но Соня прекрасно помнит день накануне отъезда в город, уже полупустой дом, чемоданы, мешки, суету, свое радостное возбуждение предстоящими переменами, отца, сидящего на стуле среди нагромождения вещей, какого-то грустного и потерянного. Его слова: «Не дали развернуться... Видать, на роду, у меня написано прожить заместителем. Теперь, конечно, застряну до пенсии. Что ж, надо молодежь выдвигать, как это говорится: метать зарод, и в тени сидя...».

Слова вечного заместителя оказались пророческими как в отношении себя (действительно, сел «в тени» и сидит до сих пор), так и в отношении молодежи, в первую очередь Цезаря.

Самолюбивый Цезарь полагался только на себя и считал, что сумеет выдвинуться безо всякой опеки. Возможно, он был прав – энергии ему было не занимать, – но когда его послали под начало директора одного из лучших в республике совхозов, он мигом догадался, кто к этому «приложил руку». Однако не стал препираться, понимая, что тесть поступает с дальним прицелом.

Но вот кого это назначение по-настоящему взбесило, так это Ломбо, и он разразился сердитым письмом. «Мужчина, если он и впрямь мужчина, не должен расти под чужим крылышком, – читал Цезарь, слегка улыбаясь: отец всегда пишет, будто акт составляет, крупными печатными буквами. – На это соглашаются людишки без воли и без ума. А у тебя все это есть! Подумай хорошенько и от назначения поскорее откажись. Твоего директора хваленого я не считаю толковым руководителем, ничему дельному ты от него не научишься...»

«Еще бы! – подумал Цезарь тогда. – Разве месть забывается? Когда свинарники сгорели, отец довольный ходил: враг, можно сказать, уничтожен. А тот опять поднялся, теперь, глядишь, над сыном измываться будет, мстить...»

Начав работать в совхозе бок о бок с отцовским «врагом», Цезарь не раз задумывался об этой старой странной вражде. И тот и другой люди долга, будто бы за

одно дело болеющие, а вот поди ж ты... Очевидно, отцу привычнее работать по старинке, новое не по нутру, а главное: он везде норовит взять верх, не любит подчиняться, а уж в Хасуурите, отдаленной от центральной колхозной усадьбы, и вовсе считал себя (да и вправду был) первым лицом. Но вдруг, как говорится, коса нашла на камень.

И к женитьбе сына Ломбо отнесся как-то... двойственно, что ли. С одной стороны, конечно... вон Дулсама от радости будто помолодела, носилась по деревне, с каждым встречным-поперечным обсуждая событие: с какими достойными людьми, мол, сумели породниться! Это так. А с другой стороны... если откровенно, Ломбо боялся, как бы сватья нос не начали задира́ть перед ними, перед деревенскими, – потому и говорил пренебрежительно: «Подумаешь, заместитель министра! Ну и что?» – «А то! Заместитель министра, а ты до заместителя председателя колхоза не поднялся», – возражала жена резонно, и у Ломбо все внутри переворачивалось, но он не сдавался. «Если б в молодости у меня были связи и «рука» наверху, я б и не туда поднялся: министром мог бы стать». – «Это еще неизвестно». – «Зато каждому известно, что ни перед каким начальством я лисьим хвостом не вилял!» – «Ты что это хочешь сказать? – так и взвилась Дулсама. – Что сват наш подхалимством себе положение выбил? Как говорят: сватьев хулить – себя унижать!» – «Да не об том речь! – отмахнулся Ломбо с досадой. – Сват наш своих сил и возможностей не переоценивает: они очень средние. Потому всю жизнь и сидит на вторых ролях...» – «А ты на каких?» – принялась за свое жена; Ломбо не выдержал, плюнул и ушел.

А разговор этот, помнится, затеялся в связи с приездом в Хасууриту молодых впервые после свадьбы. Разговор не к месту и не ко времени: Соня, стиравшая белье во дворе под открытым окном, поневоле слушала и возмущалась. Вилять лисьим хвостом! Ее отец! Да как о нем может судить какой-то бригадир из глубинки! Пусть-ка сам попробует руководить таким крупным районом, а теперь вон целой отраслью в сельском хозяйстве... И ни перед кем отец никогда не вилял!

Неудивительно поэтому, что сваты так и не сошлись, близкими родственниками не стали и лишь однажды встретились за накрытым столом.

Замминистра запомнил Ломбо еще с тех времен, как горели свинарники. Он как раз работал в райкоме, который позднее и возглавил, и приезжал в Хасууриту для выяснения ЧП. Теперь же, по должности, он нередко бывал в аймаках и колхозах и, раз уж очутился в Хасуурите, как не зайти к свату? Даже если догадываешься, какого он мнения о тебе...

Нойон (так иронически называл про себя городского родственника Ломбо) явился в дом неожиданно, но хозяев врасплох не застал: у них припасов хватило бы пересидеть недолгую войну. Дулсама с ног сбилась, но уже через считанные минуты стол ломился от закусок, а из летней кухни заманчиво потянуло дымком и жареным мясом.

Ломбо следил за каждым своим словом и за гостем, разливал и подкладывал, свято, от чистого сердца блюдя законы гостеприимства.

Говорили о том, о сем, благодушно и не торопясь, покуда не коснулись тем местных. Замминистра, рассказывая о поездке, заметил, что здешний аймак отстает по многим показателям, сравнил их с показателями других хозяйств, в числе которых как бы вскользь, мельком (да Ломбо не провести!) упомянул и передовой совхоз, где работал Цезарь.

Наверное, именно с того времени выросла между сватами глухая безнадежная стена.

Нойон из Улан-Удэ понапрасну слова тратил, пытаясь донести до своего упрямого и сноровистого свата сведения о новых методах хозяйствования (та самая интенсификация, о которой, как дятел, долбил председатель). Работать по-прежнему, мол, все равно, что ставить заплату за заплатой на расползающиеся штаны. Нойон из Хасууриты, вмиг ошестинившись всеми своими колочками, отвечал, в свою очередь,



что «хваленый ваш директор у нас чуть-чуть хозяйство не развалил», что вообще колхозники стали к делу спустя рукава относиться. А почему? Да потому, что нет больше прежних строгих, но необходимых законов, а на одной этой самой интенсификации далеко не уедешь...

– Разве не так? – разглагольствовал Ломбо. – Техники понагнали, а выход продукции практически не увеличился. Дальше. Удобрения тоннами на поля гребем. А толку? Двадцать лет назад и без удобрений наши поля столько же давали... А мы все шумим, гремим! Вместо того чтоб выход искать, начинаем кого-то в передовые тащить всеми правдами и неправдами... Равняйся по ним, подтягивайся! А как равняться, ежели условия неравные... Хотя, к примеру, нашего бывшего председателя взять. Теперь ему – все, он – маяк...

– Не забывайте, – перебил замминистра, – он приехал в хозяйство разваливающееся и сумел...

– Сумел, сумел! А как ему помогали? Поглядим, что дальше будет.

– Чего на чужое глядеть. Вам самим нужен председатель молодой да энергичный, а? – сват улыбнулся как-то многозначительно, лукаво. – Перспективный, а?

– Был у нас уже такой. Нагляделись, – проворчал Ломбо. «Молодой да энергичный»... да усмешечка лукавая. Нетрудно догадаться, кого столичный нойон имеет в виду!

– Ему просто не повезло, – ответил замминистра серьезно. – Неопытный был еще, чересчур вспыльчивый и напористый. Дров наломал, в райкоме умудрился кое с кем в конфликт войти. Собственно, потому и полетел...

– Курятники начал разводить, – ядовито вставил Ломбо.

– Ну да, сделал ставку на птицеводство, а от плана на овощи самовольно отказался, из-за чего весь сыр-бор и загорелся.

– И свинарник загорелся, – опять вставил Ломбо.

– Да, помню, это была последняя капля. Чуть до суда не довели: халатность, бесконтрольность... Правда, у следователя было, кажется, особое мнение... Впрочем, вы сами все, конечно, помните! Да ведь не сломался человек – вот что самое главное...

Столичный нойон вздохнул и замолчал. Молчал и Ломбо, он и предположить не мог, о чем думает сейчас его высокий, так сказать, гость. А тот вспоминал свое: как кончилась его районная, единственная за всю жизнь самостоятельная деятельность. Он тоже умудрился кое с кем в конфликт войти – с обкомовским секретарем по сельскому хозяйству. На областной партконференции затронул вопрос по овцеводству: вместо того чтоб увеличивать поголовье без соответствующей кормовой базы – надо заняться селекцией... научный подход... более продуктивные породы... и так далее... Дернул же его черт! В своем-то районе он уже начал конкретные планы по овцеводству внедрять, выступал с тайной мыслью, что одобряют его, поддержат, ведь в те времена без опеки ни на шаг, «самодеятельность» не поощрялась. Не вышел номер. На конференции, как обычно, трубили про успехи и слегка касались «отдельных недостатков». Нет, его как будто одобрили, даже похвалили за смелость; сам раскритикованный секретарь в перерыве руку ему жал, а потом...

Потом его вызвали в обком и предложили (точнее, приказали) идти на повышение. Еще бы – замминистра! Ходили разговоры, будто готовят его аж в министры. Он не верил, чувствовал, что ярлык «заместитель» выдан ему теперь навсегда, однако надеялся в подчиненной ему отрасли – животноводстве – повести собственную линию, ту самую, из-за которой на партконференции погорел. Но вскоре с запоздалым отчаянием понял, что и на этом надо поставить крест, что он простой исполнитель чужой воли, и не за какие-то заветные планы и идеи должен бороться он, а за свое теперешнее кресло. И из этой борьбы он вышел матерым волком, очень осторожным, действующим только наверняка.

Итак, ему не удалось войти в круг тех, кто решает, а не только подчиняется. Может быть, удастся зятю? Он угадывал в Цезаре деловую хватку, характер упорный, «железный», честолюбие... Все это прекрасно, конечно, но Цезарь был всегда лишь узкий специалист, инженер, привык топтаться на своем крошечном пятчке; необходимого опыта – руководителя, организатора – ему явно не хватало. Пусть поначалу походит в заместителях... и не кого-то там, а директора лучшего совхоза в республике. Случайно его выбор пал на бывшего «погоревшего» председателя? Или подсознательно хотелось досадить норовистому свату? Трудно сказать. Во всяком случае, замминистра кое-что знал о тех минувших событиях, а еще о большем догадывался.

Но вот «искус» – выражаясь высокопарно, по-старинному – период «послушания» будущего руководителя, так сказать, надежды и отца, и тестя, подходил к концу. Об этом и надо бы поговорить откровенно, без утайки, раз уже довелось встретиться за накрытым столом, а сваты никак не хотели отвязаться от прошлого.

Ломбо мгновенно понял намек столичного нойона насчет «энергичного перспективного председателя», но ему трудно было смириться с тем, что в начале карьеры сына оказался его, Ломбо, враг и именно ему на первых порах будет обязан Цезарь своими успехами. Ничего не скажешь, благородная месть: ответить добром на зло!

– Как-то интересно получается, – нарушил он затянувшееся молчание, упрямо возвращаясь к прежней теме, – этот ваш хваленый директор одно хозяйство развалил, а другое возродил, – Ломбо говорил и сам на себя дивился: хотелось о сыне послушать, а он как заикнулся на этом... «погорельце»! – Что-то тут не так.

– Однако факт есть факт.

– За уши его вытянули! – убежденно заявил Ломбо. – Нашел где-то «руку» наверху. Это вам, начальникам, кажется, что вы – всё, что руководитель – главное. Много на себя берете, забыли, что главное-то производители, то есть мы, народ.

– Разумеется, – согласился замминистра. – Но народ надо суметь организовать. А то получается, будто в передовом колхозе народ хороший, а тут же, рядом, где ни шатко ни валко дело идет – народ плохой. Нет, роль руководителя велика, и хотелось бы, чтоб власть была в руках достойных...

Власть! Ломбо не пытался больше возражать, да и вообще слушал свата вполуха, замороженный этим заманчивым словом. Да, увидеть сына на вершине... пусть и не на самой высокой, даже невысокой... а впрочем, чем черт не шутит! Может, недаром он выбрал для него такое имя?

Власть вызывает восхищение и зависть, дает доступ ко многому, о чем простой человечешко («вроде меня», – уточнил объективно Ломбо) не смеет и мечтать. Но – восхищение, зависть – всего лишь чувства, хоть и лестные, а вот блага материальные – это уже нечто конкретное, осязаемое. Материальные! – звучное слово, веское, прямо-таки клокочет в горле... Деньги – и все, им сопутствующее – обесценятся разве что при коммунизме. А нынешнее поколение вряд ли будет жить при коммунизме... Хотя сам когда-то распорядился вывесить, и немедленно, именно этот лозунг (естественно, без слов «вряд ли») в красном уголке...

И все же... все же обидно, что власть Цезарь получит благодаря свату, который разводит перед ним сейчас туры на колесах о роли руководителя, поминает то и дело изгнанного председателя. Ломбо слушал и злился, как будто не он председателя спихнул, а наоборот – так трудно нам забыть и простить зло, которое мы сами же и причинили. Неукротимая натура нойона из Хасууриты вся восставала против этого. Значит, сам, без поддержки и унижительного покровительства, сын не способен ничего достичь? Отец не достиг – чего перед собой скрывать? – зато независим и ни перед каким замминистра не виляет хвостом. Ибо никакая зависть, восхищение, материальные блага – Ломбо убежден – не сравнятся с тем, что называется добрым

И вот Цезарь едет в родные места – не в отпуск своих навестить или в командировку – и тоже, как Соня, думает: что-то ждет впереди? Машину швыряет в разные стороны, словно лодку по волнам, фары вырывают из тьмы лужи, колдобины, промозглые деревья на повороте... Вдруг так трянуло, что Цезарь чуть лоб не расшиб о ветровое стекло... Ну и дорога! И здесь придется наводить порядок, за все теперь будет отвечать именно он... что-то ждет впереди?..

Дэбшэн напрасно беспокоился, что старый знакомый обернется внезапно и задаст каверзный вопрос. Цезарь был настолько погружен в свои мысли, что ничего не замечал вокруг... Случайная встреча с Таряшей на ночной дороге не задержала внимания, прошла как во сне... какой-то человек сел в машину... Цезарь и думать тут же о нем забыл, как вдруг услышал голос жены сквозь надсадный рев мотора:

– Ушиблись? Двигайтесь сюда, ближе к середине, тут места хватит...

И невнятный ответ:

– Ничего, ничего, спасибо.

Вроде знакомый голос... «Э, не все ли равно! Мне б их заботы...» А жена продолжает, к тайной досаде словно разбуженного Цезаря:

– Вы в Хасууриту едете?

«Ну куда еще этот тип может ехать? Дорога в один конец!» – раздражение Цезаря почему-то растет, и Соня, точно почувствовав это, сразу поправляется:

– Я хотела спросить: вы сами из Хасууриты?

«Какое ей до этого дело? Пристала к незнакомому, да еще по-русски... Какого черта...»

– Да, – роняет незнакомец сухо, словно тоже недовольный допросом, и Цезарь наконец узнает его голос.

Вот, значит, кто первый встретил его в родных местах! Человек, из-за которого он расстался с Мэдэгмой. Хорошенькое предзнаменование! И воспоминания, полузабытые, глубоко запрятанные, закопошились в душе... Что-то ждет его впереди? Судя по всему, ничего хорошего.

Цезарь был убежден, что семейная жизнь его с первой женой не заладилась именно из-за Дэбшэна. Ходили какие-то слухи, на что-то намекала мать... но ничего конкретного, так, словно что-то носилось в воздухе... Он старался не обращать внимания, и ему это удавалось – до одного случая, вроде пустякового, однако имеющего огромные последствия в его жизни.

Однажды Цезарь, придя с работы, обнаружил, что папиросы у него кончились. Он достал с полки настенного кухонного шкафчика кисет с махоркой, поискал взглядом кусочек бумаги на самокрутку и заметил уголок газеты, торчащий из-под бумаг – на этой полке жена хранила письма и различные квитанции. Цезарь вытащил аккуратно сложенную, хранимую зачем-то газету, оторвал кусочек, свернул сигарку и закурил.

Тут пришла с фермы Мэдэгма. «Я же просила тебя: не кури при сыне», – обратилась она к мужу, мягко, ласково улыбаясь. Он послушно погасил сигарку в пепельнице.

Мэдэгма принялась собирать ужин и увидела валявшуюся на столе газету, схватила ее, расправила, взглянула и вдруг, на глазах изумленного мужа, смяла и бросила в топившуюся печку.

Они молча поужинали, Цезаря неотступно сверлила мысль: «Почему она хранила эту газету и... сожгла? Что в ней такого?..» После чая Мэдэгма занялась мытьем посуды, Цезарь, поколебавшись, развернул так и лежавшую в пепельнице, почти целую, чуть обожженную самокрутку, стряхнул табак... в глаза бросилось: «в

институте озабочены проблемами... группа молодых физиков во главе...» Что за черт!.. Ага, смотри-ка: «а также Д. Азаргаев...»

Цезарь осторожно, боясь разбудить дочку на коленях, повернулся к Дэбшэну: лица не разглядеть – так, смутно белевшее пятно в густом мраке. Сказал небрежно:

– Привет.

– Привет, – в тон ему ответил Дэбшэн.

– Откуда шел? – продолжал Цезарь еще небрежнее, стараясь подчеркнуть, что задает вопросы, поддерживая пустой разговор ради приличия.

– Собирался на центральную усадьбу... – начал было Дэбшэн и осекся: кому интересны его заботы, Цезарю, что ли?

– Сразу не узнал тебя, – Цезарь отвернулся и тотчас добавил, обращаясь к жене: – Игорь заснул? Держи его крепче, видишь, машину как трясет.

Больше до самой Хасууриты никто не проронил ни слова. Когда завернули на улицу, где стоял дом Ломбо, Дэбшэн, преодолевая смущение, обратился к водителю:

– Отец у меня заболел... Не захватите его в обратный путь в райцентр?

– Я местный, – буркнул водитель, – обратно не поеду... И вообще! – повысил он после паузы голос, то ли стремясь оправдаться, то ли взвинченный тяжелым рейсом. – Имею я право устать? Глаза слипаются, с утра за баранкой... А дорога? Пусть по такой дороге черти ездят!

Как бы в подтверждение его слов «уазик», дернувшись несколько раз, заглох прямо посреди улицы. Водитель, снова помянув чертей, включил передний мост: кое-как, визжа, сотрясаясь мелкой дрожью, машина двинулась.

– Тяжелое, тяжелое... – процедил шофер. – У меня у самого, может, тяжелое... Знаем мы...

— Что ты знаешь?! – сорвался вдруг Дэбшэн; вся нервотрепка сегодняшних суток вырвалась наружу и обрушилась на водителя. – Знает он! В первый раз такого гада встречаю!

Водитель аж притормозил от неожиданности и уставился на Дэбшэна.

– Повезешь или нет? – крикнул тот.

– Нет! – гаркнул, в свою очередь, водитель, очевидно, пошедший «на принцип».

– Ну и черт с тобой! – Дэбшэн выскочил из машины, громко хлопнув дверцей.

«Уазик» резким толчком рванулся вперед и через минуту остановился у ворот Ломбо.

– Может, надо помочь? – с легкой укоризной спросила Соня. – Может, правда тяжелое состояние?

– Да я же с утра... – начал шофер, не договорил, махнув рукой, вышел из машины и принялся разгружать вещи.

Когда с чемоданами и сумками было покончено и сонные детишки были унесены в дом, Цезарь на прощанье сказал водителю сухо:

– Благодарю. И вот еще: вы же знаете, где старик Шаралдай живет? Поезжайте туда, узнайте, чем можно помочь.

– Да я и сам не отказался бы... – пробурчал водитель, несколько смущенный. – Да только Шаралдай этот... Прямо не верится! Только вчера чуть не полбыка запросто поднял и ко мне в машину закинул.

За окном занимался мокрый серенький рассвет.

Ханда встала потихоньку, набросила халат, сунула ноги в тапочки, прокралась к двери: там, левее у стенки, обычно лежали сухие поленья, приготовленные с вечера для растопки. Дров не было, видно, Мэдэгма израсходовала их ночью, чтоб согреть и обсушить ее, Ханду.

Вообще Мэдэгма заботится о ней, словно мать, нет, точнее, старшая сестра.

Например, печку они должны топить по очереди, но Мэдэгма с этим не считается, нередко встает вместо Ханды, огонь разожжет, чай вскипятит. А та спит безмятежно, десятый сон досматривает. «Отсыпайся, пока молода, – отмахнется, бывало, Мэдэгма от укоров и благодарностей. – Замуж выйдешь – придется мужу завтрак готовить, а уж когда дети пойдут, по несколько раз ночью вставать будешь». И понимает она Ханду, как никто, всегда готова посмеяться с ней, никогда не занудствует. Не то что мать: та с утра до вечера готова читать нотации, за каждым шагом следит, боится, как бы чего не вышло, как бы Ханда честь свою девическую не замарала... Вот уж действительно делать нечего! Ханда частенько жалела, что Мэдэгма с Цезарем разошлись – вот здорово такую невестку иметь! – хотя умом-то понимала уже, что тому другая жена нужна, более покладистая.

«Да, хорошо мы с ней жили, – Ханда едва слышно вздохнула и испугалась. – Почему «жили»? Что случилось-то? – она посмотрела на лежащую лицом к стенке Мэдэгму. – Да, случилось. Но может... обойдется?..»

Она натянула тяжелые, с комьями глины на подошвах – ночью помыть не удосужилась – сапоги и тихо вышла. Дрова, сваленные в кучку перед летником, разбухли, казалось, промокли насквозь. Дрова кончаются, а топлива не завозят больше, говорят, все равно им на зимнее пастбище скоро перебираться. Ханда, думая выбрать посуше, стала выдергивать нижние поленца, однако и они отсырели. Поднялась, прижимая к груди охапку, и тут почувствовала, как озябла.

Дрова, конечно, долго не загорались, и она окончательно расстроилась – ну, будто все на свете против нее!

А тут еще Мэдэгма шевельнулась, и Ханде вдруг захотелось, как провинившемуся ребенку, убежать куда глаза глядят. Она, торопясь, сняла чугунный круг на плите, поставила на огонь полный чайник, переделась, умылась на ходу и выскочила за дверь.

Ливень отбушевал, но облака нависали низкие, свинцовые, каждую минуту готовые зарядить унылым осенним дождиком. Видать, не скоро пройдет ненастье. Вершины гор терялись в серой мгле, а вверх по Желтому распадку клубился водянисто-молочный туман. Оттуда доносился глухой равномерный гул – это гремел камнями и камешками набравший за ночь силу Харагун, даже из Унсэгтэ видны бурлящие излучины; болота у разлившегося устья превратились в озера, широко, по-весеннему неслись, шумели мутные воды. Ханда смотрела, пораженная: никогда не видела такого осенью.

На душе странная тревога, не дающая покоя, заставляющая двигаться, действовать. Обычно в такой день из постели вылезать неохота, глаза слипаются, а тут – хоть бы что! – словно и не было бессонной ночи.

Ханда глубоко вдохнула пронзительный холодок – густой воздух будто можно пить! – легко сбегала с крылечка и размашисто зашагала к избушке молокоприемника.

Никто еще не вставал. В соседнем длинном, с пристройкой летнике, где жили еще семь доярок, тишина, окошки занавешены, не струится дымок из печной трубы.

Коровы неторопливо жевали жвачку под навесом в загоне. Наступила осень, стадо уже не выгоняли пастись так рано, пастух под вечер уехал домой и, видно, еще не возвращался.

Самая молодая корова Ханды, впервые отелившаяся в прошлом году, бурая трехлетка со звездочкой на лбу, пощипывала редкую травку поодаль от всех. Увидев хозяйку, уставилась на нее, словно спросить хочет: «Чего это ты в такую рань?» Потом медленно пошла навстречу приласкаться. Такая уж уродилась: молока меньше всех дает, но все время подлизывается. Ханда принялась почесывать, поглаживать вытянутую мягкую коровью шею, тихонько приговаривая:

«Обе мы с тобой хороши, любим ласку да доброе слово, а сами... Ты в последних ходишь, и я в последних. Нет, я теперь предпоследняя, одну доярку

обогнала... бессовестные мы с тобой...»

Корова наклоняла голову и все больше вытягивала шею: ласкай, дескать, мне приятно...

«Приятно тебе! А как до дела... – Ханда слегка уцепилась за ухо. – Вон Пеструха за мной не бежит, как ты, под ногами не путается, зато молока дает, как лучшие коровы у Мэдэгмы...»

Как ни старалась она отвлечься, Мэдэгма не выходила из головы. Непонятная история. Если она уж так любит Дэбшэна («Первая любовь не забывается, сама призналась!»), зачем пошла за брата? А Дэбшэн? Его с Мэдэгмой связывает что-то? Или нет? Непонятно... А главное: как быть ей, Ханде? Устраниться, пока не поздно, или... Сердце забилося вдруг стремительно, она оттолкнула глупую коровью морду и побежала в избушку молокосдачи за ведрами: одно для молока, другое с водой. Потом отправилась в загон, нашла Пеструху и, ополоснув ей вымя, принялась доить.

Она всегда начинала с Пеструхи, обильной молоком, чтоб настроиться на энтузиазм, на всю дойку зарядиться настроением энергичным и бодрым. Обычно ей это удавалось. Тонкие и сильные пальцы ее, еще не огрубевшие в работе, одинаково ловко принаравливаются и к твердым соскам, и к мягким, молоко падает в ведро равномерными упругими струйками – этот заданный ритм никогда не нарушается. Любо-дорого поглядеть на ладные, точные, скорые движения проворных рук. «Огонь-девка», – говорят доярки про Ханду.

И это правда. Ей даже кажется иногда, будто она играючи сможет выдоить не только двадцать своих, закрепленных за ней коров, но и больше. И не устала бы – такую силу чувствует она в себе. И не понимает нытья и жалоб: когда ж и мы доживем до машинной дойки, вон в соседнем колхозе... С машинами так не поработаешь, чтоб все тело жаром гудело, только и останется, что наблюдать, как молоко по трубкам бежит...

В школе и институте она давала выход неумной своей энергии в спорте: бегала на короткие и средние дистанции. Тренер говорил, бывало: «Физические данные у тебя есть, несомненно, но не хватает спортивной злости и упрямства, чтоб настоящим мастером стать». А отец, наоборот, утверждает, будто упрямей дочери никого днем с огнем не сыскать.

Вообще-то доля правды в отцовском утверждении есть. Институт оставила (родители уж тем утешаются, что академический взяла, а не совсем бросила). В деревню вернулась (как будто они ее в городе не пристроили бы!). Самую тяжелую работу выбрала (отец до председателя добрался, скандалил – пообещали других дать, как только одна доярка старая до пенсии дотянет). Но Ханда, со свойственным ей упрямством, заявила, что и со своими коровами в передовые выйдет. Вот и вышла – в предпоследние!

Наконец на крыльце соседнего летника появилась первая доярка – жена механизатора Данзана Будаали, мать тринадцати детей. При ходьбе могучее тело ее колыхалось, шаг мощный и увесистый, кажется – все на своем пути сметет. А возле коровы садится, как огромная наседка, распластавшая крылья: никогда подол не подберет.

– Ты что, никак холодной водой вымя коровье моешь? – подходя, накинулась она на Ханду. – Леня было воды согреть?

Ханда, не поднимая головы, продолжала доить: с Будаали лучше не связываться. Баба она шумливая, языкастая, но сейчас права. Однако бессонная ночь совсем Ханду из колеи выбила.

Вскоре стали подходить и подсаживаться к коровам и другие доярки, как всегда с шуточками да с прибауточками.

– С чего это Ханда сон потеряла? – спросила, зевая, Эржэни, многодетная мать, как и Будаали, но моложе, привлекательнее и веселей. – Гляди-ка, уже десятую доит!

– Вот это да! – подхватила кругленькая, ладная, шустрая Дэжэд – жена

Таряаши. – То последней прибегают, а то...

– Дело темное, – проворчала Будаали. – Живут наши молодки отдельно, и какие такие сны им снятся – неизвестно.

Дэжэд рассмеялась:

– И правильно, что отдельно! Они – не мы, горемыки замужние.

– Уж ты-то горемыка! Давно ль Таряаша тут ошивался? – поинтересовалась Эржэни.

– В том-то и дело, что давно! Обещал вчера вечером заглянуть – а ни слуху ни духу!

– Да ну? Только четырех народили, а он уж и приустал? Нет, мой Гомбо пошустрее твоего будет. Мои дети...

– Ну, что раскудахтались над своими ненаглядными? Чисто курицы над яйцом! – подала голос Будаали. – Ты, Эржэни, шибко нос не задирай, недавно матерью-героиней стала. Погоди, еще тебя обгонят!

– Кто обгонит-то? Ты, что ли? Скоро тебя так разнесет, что мужику рядом места не хватит! Иль вторую медаль героини получить захотела?

– Это мое дело! – зычно отозвалась та с другого края загона. – У всякого свои возможности!

– Верно, – Эржэни вдруг вздохнула. – Разве шутка – десятерых родить и на ноги поднять? Я лично уставать начала, даже думала работу бросить. Да как бросишь? Привыкла тут с вами...

– Э, заныли! Уставать! Некогда нам уставать! – громогласно заявила Будаали.

– Некогда, правда, – согласилась Эржэни и, помолчав, спросила: – Ханда, а чего это Мэдэгмы нет? Может, заболела, а? Слышишь?

– Не знаю! – отрезала Ханда, проходя мимо с полным ведром; все подняли головы и удивленно поглядели ей вслед.

– Что это с ней? – обратилась Эржэни к Дэжэд. – Завфермой разве там? – она кивнула на летник.

– Завфермой! – Дэжэд опять рассмеялась, блестя глазами. – Мэдэгма не только Гомбожапа способна приворожить!

– Это да. Помнишь, одно время председатель к ней подкатывался? А теперь ему и дела до нас нет. В самом деле, всю зиму с силосом тянул, а? А о премиях уж и думать позабыли. Хоть бы кто голову ему вскружил!

– Нужен он больно, старая развалина, – вступила в разговор Гунсэма – молодая, незамужняя еще доярка, – процеживая через марлю молоко. – Хоть бы на молодого поскорее сменили!

– Что, молодого даргу мечтаешь на крючок подцепить? – поинтересовалась Дэжэд.

– А что? Затрепыхался бы, как карась!

– Э, девки, вам до Мэдэгмы еще далеко, – отмахнулась Эржэни. – Она мужичков как магнитом притягивает.

Доярки загалдели одобрительно.

– Мэдэгма в этих делах толк понимает!

– И сорока нету еще, в самом соку...

– Эх, где мои двадцать годков!

– Да, скостить бы годочки, никакой бы дарга не устоял...

Дэжэд разливалась веселым смехом, как вдруг корова ее ни с того ни с сего лягнула задней ногой и опрокинула ведро.

– Ты что ж это вытворяешь, дура проклятая? Взбесилась, никак? – закричала Дэжэд, бросившись за далеко откатившимся ведром, и тут увидела подходившую Мэдэгму.

Она показалась Дэжэд какой-то не такой, странной. Лицо бледное, под глазами круги, глядит сердито, даже вроде пренебрежительно, словно сказать хочет: «Вам бы

все хаханьки, а мне...»

Все доярки разом уставились на Мэдэгму; а она молча прошла мимо Дэжэд, высоко неся покрытую пестрой косынкой голову. Глядя на нее, Дэжэд поняла, что приготовленная ею заранее шуточка с намеком сейчас явно неуместна.

Дело в том, что вчера вечером Дэжэд отправилась было к «молодкам» – как в шутку величали доярки отделившихся напарниц – на огонек. Однако, подойдя к летнику, остановилась. Какой-то мужчина – не Гомбожап, а вроде незнакомый мужчина – сидел напротив окна на лавке. Вот поднял голову, Дэжэд, к немалому своему удивлению, узнала приезжего физика Дэбшэна и тотчас повернула к себе обратно.

«А напрасно я вчера не зашла, – размышляла она сейчас. – Дэбшэна, что ли, испугалась? Надо было б зайти, поговорить... а теперь вот ломай голову... Зачем ей Дэбшэн сдался? Закрутит голову, а Гомбожап... Этот тоже хорош! Скрылся куда-то, пьет небось! Эх, мужчины, толку от вас... Может, мне с Мэдэгмой насчет него поговорить, подтолкнуть? Как же, теперь ее подтолкнешь... видать, всю ночь не спала – ясно, о ком думала... Ладно, разберемся», – и Дэжэд решительно подступила к норовистой корове.

– Вот, бабы, разгалделись как на базаре, аж коров перепугали! – заговорила Будаали, поглаживая бок черно-белой коровы. – Не дает молока, чертовка.

– После этой бури ночью... – начала было Эржэни, но Гунсэма перебила ее решительно:

– Какое может быть молоко на пустых пастбищах!

– Точно! – заворчала Эржэни. – С каждым годом все хуже становится, честное слово! Хлеба не убираем вовремя. Пора уж председателю нашему на пенсию, раз здоровье подкачало...

– Вот помяните мое слово: в этом году по надою последнее место в аймаке займем! – крикнула Будаали; и доярки вновь загалдели.

Только Ханда с Мэдэгмой не принимали участия в этом «базаре». Ханду поразил вид своей подружки – неужто бывшей подружки? – всегда такой оживленной, моложавой и подтянутой. Она, Ханда, виновата... Она то укоряла себя, то принималась раздражаться на Мэдэгму...

А тут еще погода, и без того невеселая, вновь начала портиться. Облака, казалось, опускаются все ниже и ниже. Упали первые капли, и вскоре заморосил противный мелкий дождик.

Ханда закончила дойку, когда другие еще и половину своих коров не выдоили. Сдала молоко. Потом оседлала гнедого, пасущегося на бережку, и направилась рысью в Хасууриту.

Когда вошла Ханда, Шаралдай удивленно уставился на нее; глаза его широко раскрылись.

За четыре года учебы ей не раз приходилось иметь дело с больными; проходила она и практику в больнице – словом, хоть и без диплома, а не новичок. И все же, подходя к дому Шаралдая, она волновалась как никогда. Старик почувствовал ее состояние (не догадываясь, правда, о причинах) и сказал ласково:

– Не надо бояться.

– Мне вчера отец сказал... – начала она и запнулась.

– Напрасно только побеспокоил... но проходи, не бойся.

Ханда, пытаясь преодолеть робость, подошла к кровати и заговорила, так сказать, профессиональным тоном:

– Что случилось? Как вы заболели? – она хотела пощупать пульс, но больной, к ее удивлению, проворно спрятал руки под одеяло.



– Никакого покоя нет, честное слово, – заворчал он. – Ночью только задремал, машина пришла, чтоб меня, значит, в аймачную больницу забрать. Это все Дэбшэну неймется! Что выдумал? Наши дороги все внутренности у меня отобьют... и вообще, не очень-то я врачам верю, а ты ведь еще не настоящий врач, а?

Ханда вспыхнула. «Хорошо, хоть Дэбшэна нет!» – мелькнула мысль.

– Да, я институт не кончила (удивительное дело: перед отцом и матерью не было стыдно, что институт бросила, а перед этим стариком – стыдно). Но кое-что в болезнях понимаю... думаю, смогу помочь...

– Да я не хотел тебя обидеть, – Шаралдай улыбнулся растроганно и немного грустно: всегда мечтал иметь дочку, да не дал бог. – Эх, хоть бы один из этих дубин стоеросовых родился девочкой!

– Дубин? – переспросила Ханда недоуменно.

– Ну да, да... про сыночков говорю... про Бадмаху и Дэбшэна, про кого ж еще?

– Дэбшэн – дубина? – возмутилась Ханда.

– Дубина и есть... самая бестолковая, – невозмутимо подтвердил старик.

– Как вы можете?... – воскликнула Ханда, тут же осеклась и добавила осторожно: – По-моему, Дэбшэн Шаралдаевич не такой уж... плохой человек...

Дэбшэн взошел на крыльцо как раз вовремя, чтобы через приоткрытую дверь услышать мнение отца о себе и незнакомый девичий голосок, возражавший отцу горячо и робко.

Странно. Всю ночь провел он возле отца, и тот молчал упорно. А теперь вон как словоохотлив стал. С кем это он разговаривает? Лучше не мешать, но... Дэбшэн постоял в нерешимости... Победило любопытство: он сел на ступеньку, напряженно прислушиваясь.

– Неплохой, говоришь? – переспросил Шаралдай задумчиво. – Тогда ответь: какого человека ты назовешь хорошим, а какого плохим?

– Разве непонятно? Хороший человек, он... он и есть хороший, то есть я хочу сказать... – Ханда явно запуталась.

– погоди, погоди. Человека надо судить по его делам. Ты согласна со мной?

– Само собой разумеется, – Ханда улыбнулась чуть снисходительно: банальную истину старик преподносит как открытие. Однако Дэбшэну было не до улыбок: сейчас отец его припечатает!

– Так вот, – продолжал тот многозначительно. – Что такого сделал в своей жизни Дэбшэн, чтоб называться хорошим человеком?

И в ответ прозвенел милый взволнованный голосок:

– Очень много, я уверена!

– Да ну?

– Вы подумайте только, в какой области он работает! Мы, конечно, не можем судить, для этого знания нужны... и талант. Ваш сын талантлив! Он еще покажет...

– Покажет, покажет... – протянул Шаралдай разочарованно. – Сколько лет слышу! Когда же он на самом деле покажет-то?

«Никогда, – мысленно ответил Дэбшэн отцу. – Ты прав: никогда!»

А девичий голосок убеждал настойчиво и страстно:

– Научные открытия не делаются по заказу! Случалось, человек всю жизнь свою одной проблеме посвящал, а результата добивался через годы и годы.

– Так ведь добивался все ж таки, не отступал, – вставил Шаралдай и вздохнул. – А Дэбшэн твой хваленый?

– Послушайте! – Ханда просто поражалась этому упрямству, даже робость ее прошла. – Да вы что, не верите, что ваш сын настоящий ученый?

– А почему я должен в это верить?

– Ну хотя бы потому... потому хотя бы, что его держали в институте десять лет. Там обманщик не удержится.

– Так ведь раскусили в конце концов, – старик поманил пальцем Ханду

нагнуться к нему поближе и добавил тихо, но вполне внятно для Дэбшэна за дверью: – Раскусили и выгнали. Так-то вот.

Дэбшэн нервно дернулся, будто его кипятком из-за этой двери ошпарили. Проклиная свое любопытство, захотел встать и податься куда глаза глядят, да ноги не двигались. А чудный голос продолжал звучать торопливо, звонко, захлебываясь. Дэбшэн не вслушивался в слова – что могла сказать в его защиту незнакомая девушка! – он опустил голову, задумался. Что он мог бы возразить отцу: «что никто меня из института не выгонял? Что даже предложили новую тему, незначительную, но актуальную, для текущих нужд? Что я сам отказался и сам ушел?» – «А почему?» – поинтересуется отец. А я в ответ рассказал бы об адронах, о разработках Гелл-Манна, о «восьмеричном пути» и «очарованном» кварке... об этой проклятой идее «ядерной демократии», которая и привела меня в тупик?... Ну, рассказал бы, а что б он понял?..» Дэбшэн вспомнил, как он объяснял «восьмеричный путь» доктору Аюше, и усмехнулся. Речь шла о взаимодействующих частицах, тех самых адронах, которые объединяются в семейства посредством некоей внутренней симметрии, и названной «восьмеричным путем» – термином буддийской философии, намек на восемь добродетелей, обладая которыми человек избавляется от страданий. Доктор Аюша, услышав заветные слова «избавление от страданий», пришел в неожиданный восторг: «Какие-то невидимые частицы соединяются с помощью добродетелей – а люди! Я-то всегда говорил, что древние буддийские тексты полны глубокого смысла – и вот теперь большие ученые – как их там?. ну-ка повтори!.. Гелл- Мелл? Нобелевский лауреат? – так вот, сам нобелевский лауреат подтверждает это. Истинное учение принесет избавление от страданий. Мы-то, может, и не доживем, но ты должен поддерживать этих самых... Гелл-Манна и Цвайга!» Ну прямо повар из известной басни, разрешивший спор двух ученых мужей о системе Коперника: «должно быть, Земля вращается вокруг Солнца, ибо не огонь, на котором я жарю мясо, ходит вокруг меня, а я вокруг огня!»

Смешно, конечно, но смеяться ему следовало не над простодушным доктором Аюшей, а над собой. Пока он свято следовал «ядерной демократии», провозгласившей полное равноправие частиц, в научном мире была создана теория кварков (предположение Гелл-Манна, что эти самые «равноправные» адроны состоят из еще более мелких элементов), квантовая хромодинамика, описывающая взаимодействия кварков... и так далее. Наконец теории «равноправия» был нанесен решающий удар открытием новой необычной частицы. Таким вот образом сторонники «ядерной демократии», и Дэбшэн в их числе, оказались в тупике.

А девичий голос за дверью звучал все увереннее и настойчивее. Да кто же это?

– А может, он просто устал? Столько лет без отдыха... я даже не помню, когда он сюда в отпуск приезжал. Ведь не железный человек и не каменный! Отдохнет, поправится – и вернется к своим исследованиям. Вот увидите!..

– Говорит, навсегда бросил, – подал голос отец.

– Да мало ли что можно сказать от отчаяния, когда дело не идет! Я вот тоже... Нет, я не сравниваю, конечно, смешно и сравнивать, но... тоже вот решила: не мое дело, не справлюсь, надо бросать... А, да что обо мне говорить! У творческих людей бывают сомнения, ошибки, руки опускаются, а потом вдруг, в один день происходит открытие и всё, годами накопленное, сказывается в этом открытии, ничего не пропадает. Правда, правда, я читала, таких случаев в истории науки много... Нет, надо верить! Может, рядом с ним не было человека, который бы верил в него и поддержал в трудную минуту? А вы говорите...

Дэбшэн чувствовал себя подсудимым, жадно слушающим на процессе речь своего защитника. Вот и у него появился защитник! Странно.

Значит, по логике вещей, отца можно назвать прокурором, требующим для сына высшей меры... тоже странно. Никогда не подозревал Дэбшэн, что отец интересуется его работой, вообще его судьбой – и вдруг... «Да кто они такие – и

прокурор, и защитник? Кто дал им право лезть не в свое дело? Свобода и независимость – вот что главное, – пытался Дэбшэн вернуться на прежние свои позиции индивидуалиста, но не смог, вынужден был признать: – Да, одинок. Да, нуждаюсь в поддержке. Да, хочу узнать, кто мой защитник». А молоденький защитник продолжал свою речь:

– Вы подумайте, какой сложный факультет он закончил... и закончил блестяще. Какую карьеру мог бы сделать и кандидатскую защитить. Был бы сейчас с деньгами, всеми уважаемый. А он? Не свернул со своего пути, должно быть, очень трудного... Да вы своим сыном гордиться должны...

Дэбшэн улыбнулся. Вот неожиданность! Где защитника нашел? В глухой деревне, от которой давно оторвался, где, казалось, все чужие и никто не поймет. И ведь как защищает: наивно, но искренне, преданно. Да никогда в жизни... Заговорил отец, и Дэбшэн насторожился.

– Э, дочка, это все молодость в тебе говорит. «Устал», «переутомился», «вернется»... К чему вернется-то? К разбитому корыту? А что-то там полегче взять, помельче – гонор не позволит. Ему ведь как надо-то: или все – или ничего! Вот и вышло – ничего... А, да что зря языком молоть!.. А ты молодец, поди-ка сюда... – Шаралдай похлопал по краю кровати, и Ханда пересела с табуретки к нему.

– Хороший ты человечек, чистый, душевный. Ни о чем не горюй, все у тебя будет хорошо, – старик ласково погладил ее по руке. – Ишь, руки-то шершавые. Много молока надаиваешь?

– Не очень, – призналась Ханда.

– Ничего, все впереди у тебя. Только знай: дорогу свою лучше смолodu выбирать и не ошибиться... чтоб перед смертью, стало быть, не пожалеть: никчемную, дескать, жизнь прожил...

В калитку влетел Баяр с новеньким портфелем, пронесся по двору, по ступенькам взбежал, покосившись на Дэбшэна, и скрылся за дверью.

– О, вот и внучок пожаловал! – воскликнул Шаралдай. – Я уж соскучился.

Баяр подошел к изголовью кровати, схватился руками за спинку, подтянулся, как на турнике, и, склонившись над Шаралдаем, спросил таинственно.

– Деда, ты сегодня встанешь?

– «Встанешь»! – Шаралдай усмехнулся. – А ежели умрет дед, что будешь делать? Плакать будешь?

– А ты не умрешь, ты только притворяешься, – отозвался Баяр беспечно и, захватив мяч, выскочил во двор, где принялся гонять его как заправский футболист.

– Ты погляди-ка, каков! – Шаралдай покачал головой и пытливо посмотрел на Ханду. – Слава богу, дети не знают, что такое смерть, и не верят в нее...

– Я тоже не верю, что вы при смерти, – ответила Ханда убежденно. – Не верю – и все! Вот увидите, вам легче станет.

– Спасибо на добром слове. Может, так будет, может – этак, я уже ничего не боюсь. То есть смерти не боюсь, нет для меня ничего лучше, чем отправиться к богу, дочка... Да земные дела пока держат, не дают покоя... Да ты сиди, не бойся... Посиди еще со мной малость...

– А я и не тороплюсь никуда.

«Вот так-то! – подумал Дэбшэн. – Родной сын его раздражает, а посторонний человек... Как он сказал: «Много молока надаиваешь?» Значит, доярка! Кто ж такая...»

Во дворе, подоивши корову, появилась невестка с полным ведром молока и сразу накинута на Баяра:

– Не повезли их сегодня в школу – он сразу за мячик! А уроки?.. Батюшки! – Дулма поставила ведро на землю, чтоб иметь возможность всплеснуть руками. – Весь в грязи! Когда ж ты успел? Иди мойся – и за уроки! В этом доме, – она скользнула взглядом по деверю, продолжающему с задумчивым видом восседать на сырых

досках крыльца, – в этом доме одни упрямцы собрались, честное слово! Что стар, что млад...

Когда старший брат женился на Дулме, Дэбшэн – тогда десятиклассник – поначалу удивился. Бадмаха, натура широкая, гуляка и сердцеед, имел возможность выбрать девушку поинтереснее. А Дулма и в девушках была такой же, в сущности, как сейчас: низкорослой, полненькой, особо ничем не примечательной. Когда Бадмаха неожиданно привел ее в дом, отец ничего не сказал (он вообще никогда на сыновей не давил), должно быть, подумал, что лучше иметь какую-никакую, а сноху, чем жить в запущенном, безалаберном доме.

Однако очень скоро и отец, и младший брат сумели оценить выбор Бадмахи: жена его брала не внешностью, а неистощимой энергией и жизнерадостностью, которая прямо-таки заражала окружающих. С ней легко было жить, и старик стал меньше сокрушаться по умершей жене, и Дэбшэн ощутил полузабытый домашний уют и порядок.

Дулма сразу же, с первого дня, взялась за хозяйство уверенно и просто, будто испокон веков им занималась. Молча, незаметно, словно играючи, делала она все по дому и по двору. Никто не слышал от нее нытья и жалоб на усталость.

Но сейчас, вернувшись домой, Дэбшэн с грустью отметил, что неунывающая Дулма стала ворчливой и раздражительной. Впрочем, удивляться нечему: при живом муже, а будто вдова.

Дулма с ведром вошла в сарай, дощатый, низенький, в котором летом еду готовили, помешала дрова в печке, поставила молоко кипятить, все что-то бурча под нос.

– Дэбшэн! – позвала громко. – Поди-ка сюда!

Дэбшэн нехотя поднялся, пересек двор, по дороге поддав ногой мячик Баяра, который как ни в чем не бывало продолжал играть, и вошел в сарай. Дулма голым веничком из караганы терла чугунок, в нем она вчера варила мясной суп.

– Ну? Что с больным делать будем? – обратилась она к деверю. – Так и будем сложа руки сидеть?

– Я думаю... – вяло начал Дэбшэн (мысленно он как бы продолжал находиться на крыльце и подслушивать любопытный разговор). – Откровенно говоря, я не знаю, что думать, что делать... Не знаю!

– Вот и я не знаю, а люди скажут – будь уверен! – отец, мол, при смерти, а они и не шевельнутся...

– Да пусть болтают.

– Нет, не пусть! Чего это Ломбо всем семейством сюда зачастил? Сама старуха сплетни распускает, а эти... вынюхивают...

– Ну их всех! – отмахнулся Дэбшэн и добавил после молчания: – Бадмаху хочешь вызвать?

– Эх, я б его вызвала – век бы помнил! – круглые глаза Дулмы заблестели грозно. – Кабы знала, откуда его вызвать. Совсем бродягой пропащим стал!

– Разве не пишет? – спросил Дэбшэн тихо, словно виновато.

– Как же, дожدهшься от него! Свобода ему, вишь, нужна, независимость...

«Ведь и я такой же! – подумал Дэбшэн и испугался. – Неужто такой же?» А на что, спрашивается, свобода-то? – продолжала невестка. – На баб! Раньше, бывало, как по всему Северу мотался за рублем, хоть иногда писал. Дошли слухи, что домой возвращается, а по дороге спутался с кем-то... где теперь, не знаю. Раз ты брат родной, чего от тебя скрывать, правда?

Дэбшэн молча присел на корточки у открытой печной дверцы.

– Вчера в райцентре его дружка закадычного встретила. Поспрашивала его так,

сяк... отмалчивается, чтоб друга не выдать, а сам наверняка знает, где этот бродяга скрывается. Я уж говорю: передай, коли увидишь, дескать, отец плохой стал, да и Баяру присмотр нужен, как ты думаешь? И еще говорю, передай: надоело мне при живом-то муже вдовой жить. Права я или нет?

Дулма, покончив с посудой, вылила воду в помойное ведро, повернулась к смущенному Дэбшэну. Руки в бока уперла, голова гордо поднята, взгляд вызывающий. На миг показалось: прежняя Дулма, молодая, веселая, сейчас захочет или запоем беззаботно. И халат на ней, простенький, ситцевый, сидит ладно, по фигурке. И лицо, все в морщинках, преобразилось в милое, девичье. Дэбшэн, глядя на невестку снизу вверх, не мог не согласиться, что в женщине этой еще много огня и жизни...

– Ну что скажешь: совсем я конченная? И никакому мужику не смогу понравиться? – по лицу Дулмы пробежала дразнящая улыбочка, она повела круглыми плечами, вроде как сбрасывая груз прожитых лет. – Оденусь понаряднее, прическу сделаю – любому голову вскружу. Так я и просила муженьку моему непутевому передать. Вот помяни мое слово: придет! Сердцем чую.

– Да-а-а, – протянул Дэбшэн расстроено. – Так, значит, вы и живете.

– Так, значит, и живем! – повторила Дулма с вызовом. – И вот что я тебе скажу: и за такую жизнь вы меня благодарить должны! А что? Отец сыт, одет, ухожен... Кто ему белье стирает, обед готовит, чай по десять раз на дню кипятит? Тебе до нас дела не было, качался где-то между небом и землей, а теперь явился нам указывать? Не имеешь такого права!

Дэбшэн не отвечал – пусть успокоится – поднялся, шагнул к выходу, но на пороге его остановил окрик Дулмы:

– погоди! Как с отцом-то будет? Что за болезнь такая чудная – никто разобраться не может! Надо ж что-то делать... может, лекарство какое достать... Ну, чего молчишь? Ты человек умный, ученый...

– Я надеюсь найти нужное лекарство, – ответил Дэбшэн как-то многозначительно.

– Какое? – удивилась Дулма. – Где найдешь-то?

– Я же человек умный и ученый, – бросил Дэбшэн через плечо и вышел из сарая.

Скорым шагом он направился к дому – там ли еще его молоденький защитник? – но едва поднялся на первую ступеньку, как дверь распахнулась, на крыльцо выскочила девушка, начала спускаться, увидела его, вспыхнула, споткнулась – Дэбшэн машинально протянул руки, и девушка оказалась в его объятиях. Какое-то мгновение они близко глядели друг другу в глаза, растерянно и изумленно.

– Тили-тили-тесто – жених и невеста! – заорал на весь двор гонявший мяч Баяр, из летней кухни высунулась Дулма и замерла, пораженная... Ханда, пробормотав «Извините!», легче тени выскользнула из объятий, подбежала к Дулме и выпалила:

– Я... насчет брусники!

– Чего-чего? – переспросила та. «Ну и девка! Средь бела дня... Когда у них началось-то? Как же я не замечала?... Ну и дела!» – молнией пронеслось в голове, она переспросила сурово: – Какой-такой брусники?

– Брусничный настой больному очень полезен.

– Брусничный настой, говоришь?... Так, так, – протянула Дулма рассеянно, но в то же время усиленно соображая: «Неспроста, видать, Дэбшэн на новое лекарство намекал... не лекарство он в виду имел – что он в лекарствах понимает? – а эту вот...» – Брусничный настой – это хорошо! – заговорила Дулма, вмиг преобразившись в улыбающуюся, сердечную... можно сказать, родственницу: человек порыва, она в воображении частенько опережала события, а то и попросту истолковывала их в свою сторону. – Это ты хорошо придумала. Проходи! – обе вошли в летник. – Вон на полке банка с брусникой, вон наверху... Хватит столько? Хотела сегодня еще сходить за ягодой, да дождик, а тут еще у нас в доме что творится... Молодец, что пришла! Я

твержу: нельзя сидеть сложа руки, действовать надо, да разве ж они понимают... Поставь воду на плиту... Женщина только может понять. Скажу про себя. Я такая же, как и ты была. Не успела через мужнин порог шагнуть – за дело принялась, мыть, чистить, стирать... У мужиков тут все запущено было – ужас! И вот уж сколько лет одна кручусь... Теперь-то, может, полегче будет, а? – Дулма вдруг подмигнула «младшей невестке», как она про себя уже называла Ханду; та покраснела. – Известное дело, вдвоем куда веселее... Правда, тесно у нас тут... Подай, будь добра, вон то полено, дровишек подкину в печь... Тесно, конечно, но... как это говорится: «У снох-невесток жилье одно, у стоящих деревьев тень одна...»

Ханда деревянной ложкой давила ягоды в миске и с удивлением вслушивалась в этот без передышки льющийся словесный поток, в эти слишком прозрачные намеки; несколько раз порывалась вставить словечко, объяснить... Потом на лице ее появилось озорное выражение, она встряхнула головой и рассмеялась весело: зачем разубеждать? Пусть будет, что будет! И Дулма окончательно поверила в реальность «младшей невестки».

А Дэбшэн стоял возле крыльца, нетерпеливо поглядывая на дощатый домик, откуда на весь двор доносился оживленный говор, смех, бренчанье посуды... Он ждал появления девушки, чтобы проверить свое впечатление: будто бы он видел когда-то давно, как во сне, эти горячие карие глаза, крупный нежный рот в улыбке, высокий девичий голос... На это полузабытое воспоминание накладывалось близкое, давешнее: прелестная молоденькая женщина в его руках... задержалась на мгновение, заглянула в глаза, близко, доверчиво, легонько выскользнула, ушла, смеется в тесном сарайчике... И вот еще что удивительно: она хорошо знает его, Дэбшэна, раз так убедительно защищала его перед отцом! Кто ж она такая?.. Кажется, он вот-вот вспомнит... сейчас... еще небольшое усилие...

Она вышла из сарая с миской в руке, и он вспомнил.

Перед ним стояла тоненькая, довольно высокая девушка в черных резиновых сапожках, в выцветшем зеленом костюме, в которых ходят студенты стройотрядов. Рукава засучены по локоть, руки гладкие, загорелые. Длинные волосы – черные блестящие пряди – свободно распущены, открывают выпуклый лоб и маленькие уши. Алый румянец на щеках, а улыбка чуть смущенная, словно девушка хочет сказать: «Что ж поделаешь? Так уж все получилось. Я не виновата, могу и уйти...»

Она быстро, но осторожно прошла по узеньким доскам, проложенным от сарая к дому... сейчас поднимется на крыльцо и вновь исчезнет...

– Ханда! – позвал Дэбшэн.

Она остановилась, повернулась, словно исполняя фигуру в танце, стремительно и ловко, ни капли из полной миски не пролив, и выжидательно поглядела на него.

– Как там отец?

– По-моему, ничего страшного.

– Температура есть?

– Нормальная.

Они вполголоса переговаривались о здоровье Шаралдая, а думали при этом каждый о своем. Дэбшэн смутно вспоминал маленькую девочку с огромным красным бантом, какую-то ссору, кажется, даже драку малышей на улице... орущую на всю деревню Дулсаму: «С кем связалась! Я вот вас, чертей!» Малыши врассыпную бросились бежать, мать схватила дочку за руку, потащила домой, но та вырвалась вдруг и с громким смехом побежала догонять ребятешек, вспугнутых, как воробьиная стайка. «Ну, приди домой! – грозила Дулсама вслед. – И в кого ты только такая упрямая уродилась?» «Известно, в кого, – проворчал отец, наблюдая эту сценку (ну да, они с отцом дрова пилили во дворе), – в папашу своего, в Ломбо! Как это говорится: «Когда сеешь овес, пшеница не вырастет». Погоди, вырастет – она им покажет характер!»

Кажется, он помнит ее и школьницей... ну да, лекция по астрономии, звездное небо. «Но ведь она учится в медицинском? Или уже кончила? Что же она в деревне делает?..»

– А это что? – Дэбшэн кивнул на миску.

– Брусника.

Дулма вышла с ведром вылить помой и, пока пересекала двор, глаз не спускала с «этой парочки». Определенно, тут что-то есть! Разговаривают как давние знакомые... а может, и познакомились в городе? Ну да, Дэбшэн потому и в Хасууриту приехал, и в сенокосном шалаше поселился на Харагуне. Точно! Может, они уже в Унсэгтэ ночью провели...

Ханда объясняла целебные свойства брусничного настоя, Дэбшэн кивал.

– Ну да, да, тебе виднее, ты же врач...

– Я доярка, – перебила Халда с некоторым вызовом.

Ну конечно, доярка! Отец говорил про ее руки и... как же он забыл? Она ведь ехала тогда на телеге с Мэдэгмой...

– С Мэдэгмой вместе работаешь?

– Да. Мы в Унсэгтэ и живем вдвоем, в одном летнике.

Разговор принимал очень любопытный оборот. Она пристально наблюдала за Дэбшэном: он слегка прищурился, умолк на миг, рассеянно глядя куда-то поверх ее головы. И такой маленькой показалась она вдруг себе, словно прежние годы вернулись: она – школьница, он – ученый, которому дела до нее нет... Хотелось убежать, спрятаться, не видеть... Она поднялась на ступеньку, он заговорил:

– Ханда!

Повернула голову, глядя уже сверху вниз: он стоял перед ней с покорным, умоляющим видом.

– Если я тебя попрошу... Знаешь, мне показалось сегодня... я тут к двери подходил, но не хотел вам мешать. Мне показалось, отец как-то ожил с твоим приходом. Нет, правда! Мне самому даже легче стало... Не можешь ты выбрать ну хоть несколько минут в день, чтоб его навещать, а?

Ханда молча опустила голову. К кому она будет приходить – к отцу или к сыну? В деревне-то мигом все догадаются... «А, пусть думают, что хотят! – чуть вздрогнули густые черные ресницы, упрямая улыбка промелькнула на губах и тут же исчезла. – Что поделаешь? Хватило смелости на первый шаг – теперь не отступить же?..»

Он все так же просительно глядел на нее – и сладко ей было чувствовать этот взгляд, и боязно...

В начале правой улицы Хасууриты появился нечастый в здешних краях гость... Нет, пожалуй, гостем трудно назвать милиционера в полной форме: в фуражке с околышем, темно-синем плаще и хромовых сапогах, чуть не доверху облепленных осенней грязью. Он шел неторопливо посередине улицы, обходя лужи. Вот поравнялся с домом доктора Аюши, замедлил было шаг, окинул взглядом прищуренных глаз пустынный двор. Вдохнул отчего-то и направился по улице дальше.

За его передвижениями с любопытством наблюдали неразлучные друзья и соседи: Данзан, Арбаандайев сын, и Гомбо, сын Эрхэйя – мужья известных на весь район матерей-героинь, доярок Будаали и Эржэни. Гомбо каждое утро являлся к соседу, владельцу мотоцикла, на котором друзья отправлялись, по мере надобности, на центральную усадьбу или сразу на поле.

Однако сегодня – дождь то начинался, то вроде утихал, в воздухе неподвижно висела осенняя морось – сегодня на поле делать было нечего. Гомбо с Данзаном как раз ругали «проклятую погоду» и, конечно, не могли отказать себе в удовольствии

понаблюдать и обсудить появление человека в форме.

– Никак, Маглаа! – воскликнул Гомбо, подходя к изгороди н, словно гусак, вытягивая и без того длинную тонкую шею. – Точно, Маглаа! Небось боевого дружка приехал навестить... Нет, гляди!.. к доктору Аюше не зашел, дальше двинул...

– Да ну? – удивился Данзан и тоже подошел к изгороди, а чтоб лучше видеть, даже на цыпочках привстал, поскольку был гораздо ниже соседа.

– С чего бы он тут ходит? – продолжал Гомбо задумчиво, на что Данзан отозвался глубокомысленно:

– Должно быть, рейд совершает, для острастки, чтоб не воровали во время уборки.

– Кто это ворует? – вскипел Гомбо, вообще легко воспламеняющийся. – Может, ты машину зерна во дворе закопал, а?

– Знамо дело.

– Или, может, я свой трактор в соседний колхоз сплавил по дешевке?

– Тоже не исключено. Говорят, лиха беда начало... стоит, говорят, начать – потом не остановишься, как даровые денежки в руки поплывут...

– Э, Маглаа мы не интересуем, он в нашу сторону и носом своим мясистым не повел... Матерый волк!

За версту чует, где жареным пахнет. Слыхал, как он на Севере управлялся с теми, кто золотишком промышлял – до самого Алдана выслеживал. Ни одного, говорят, не упустил. Теперь, как на старости лет домой вернулся, дела, конечно, не те пошли, помельче...

– Да уж! В Хасуурите золотопромышленников этих самых на каждом углу навалом... У меня вон золота – тринадцать штук по лавкам сидят и все есть просят...

Друзья помолчали, повздыхали, не сговариваясь, поглядели с укоризной в низкое мутное небо.

– Какие такие дела в Хасууриту милицию привели? – вернулся к прежней теме Данзан. – Разве что какой-нибудь гуляка вроде Бадмахи жену проучит... Да о нем уж давно ни слуху ни духу...

– А, будет тебе майор семейными дразгами заниматься! Неспроста он появился, помяни мое слово!.. Мы с утра до вечера в поле, не знаем ничего... Надо Дулсаму разговорить, эта всегда в курсе...

Беседа продолжалась в том же духе, а следовательно Маглаа продолжал месить уличную грязь, покуда не подошел к калитке Шаралдая, otvorил, вступил во двор и огляделся, привычно отмечая и запоминая каждую мелочь.

Небогатое хозяйство, довольно запущенное. Изгородь шатается, изба старая, нижние бревна подгнили; покосившиеся окошки и крыльцо без навеса. Сарай, обшитый посеревшим от времени тесом, пристроенный к нему навес из горбыля. Невысокие штабеля смолистых поленьев. Темно-зеленая полоска неубранного еще картофеля, две копны сена. Обветшалый хлев, мох на крыше...

«Да, небогато живут, но... – широкие ноздри Маглаа раздулись и затрепетали. – Но мясо варится!.. М-да, не отсюда ли запах нехороший по деревне идет?..»

– А где мясо достали? – раздался вдруг из сарая молодой нежный голос.

Маглаа так и замер, боясь шелохнуться. С этим вопросом он и приехал в Хасууриту, а ответ, кажется, прямо в руки плывет. Ну-ка, ну-ка...

– А, у нас тут такие дела, долго рассказывать! – отозвался другой женский голос, хрипловатый. – Я без мяса, знаешь, просто заболеваю...

«Ага. Прямо по пословице: «У человека есть возможности, у желудка кармашки»! – Маглаа усмехнулся. – Ну, а дальше?»

– Как сварится, отцу дашь и сами с Дэбшэном ешьте, – продолжал второй голос. – Я, может, до вечера не вернусь. На разведку еду, опять к дружку волка моего серого... – тараторила женщина. – Ну да, муженька моего. Пострадать надо – совсем родной дом забыл. А тут и причина серьезная: отец не встает... Мне б только до



центральной усадьбы попутку поймать, а там уж я на автобусе в аймак махну... Ладно, пошла, управляйся тут без меня...

Из сарая вышла маленькая, кругленькая женщина в зеленом плаще, голубой косынке и новеньких блестящих ботах.

– Здравствуйте! – сказала она, с удивлением поглядев на милиционера, однако шаг не замедлила, ботики бойко застучали по доскам.

– Погодите! – крикнул Маглаа вслед. – Мне с вами поговорить надо!

– С Хандой поговорите, в летней кухне она! А я спешу, некогда мне! – прокричала женщина и тотчас скрылась за калиткой.

«Ладно, начнем с Ханды, – решил Маглаа, – раз уж тебя, голубушку, упустил. Не гнаться же по улице...»

Склонивши голову под притолокой, следователь вошел в сарай, представился, молоденькая девушка пробормотала в ответ:

– Ханда, – помолчала и поинтересовалась несколько обеспокоенно: – У вас к Дзэбшэну Шаралдаевичу дело какое?

«Похоже, сын старика – муж этой Ханды, – соображал Маглаа и, шурша заскорузлым плащом, уселся на скамейку возле стола. – Ишь, как уважительно мужа величает, по имени-отчеству, видать, совсем недавно поженились...»

– Я, собственно, к старику Шаралдаю, – ответил Маглаа как бы мимоходом, небрежно. – Да вот из сарая голоса услышал, подумал, может, он здесь... – и следователь вопросительно посмотрел на Ханду.

– Он дома лежит, заболел.

– Ну так я его попозже навещу, а пока, если не возражаете, у вас тут посижу немного, отдохну...

– Да пожалуйста!

– А что со стариком-то случилось?

– Он, видите ли, упал вдруг, плохо стало.

– Плохо, говорите? Ну да, старость не радость... А доктор Аюша его смотрел?

– Смотрел, но я доктора не видела, не знаю, какой диагноз он поставил. Я сама затрудняюсь...

– А вы медик?

– Не то чтобы... четыре курса медицинского кончила.

– Почти специалист! И ваше мнение?

– Да он не дал себя осмотреть.

– Ну да, да, некоторые старики лечиться не любят. Но раз доктор Аюша в курсе, можете быть за отца спокойны, иначе он бы его в больницу отправил. Там тебе анализы всякие, и рентген. А я лично доктору Аюше доверяю, он вашего отца...

– Мой отец – Ломбо, – вставила Ханда, наливая тарелку супа и ставя ее на стол перед гостем, как того требовал старинный обычай гостеприимства.

Странный гость (мягкий, вкрадчивый, но узкие глазки остренько поблескивают) от угощения не отказался, принялся хлебать с аппетитом, похваливая:

– Вот так суп, наваристый и душистый! Мясо свежее, должно быть, не старая корова была, трехлетка, не старше... Без жира, говорите? Тогда скорей телок, правда?.. Вот и я так думаю. Молодежь, в деревне выросшая, в этом толк понимает. Не то что мои дети – те и конину от говядины не отличат. Это я виноват – все по городам носило, служба такая. А ваш отец, значит, бывший здешний бригадир. Теперь на пенсии, да? Справное у него хозяйство, знаю. А вы, стало быть, студентка?.. Ах, доярка?.. В Унсэгтэ сейчас? Ну, и как там у вас, никаких происшествий? Я имею в виду, волки на колхозное стадо не нападают? Славно, славно, значит, пастухи отличные... А то вон у друга моего, у доктора Аюши, слышали, корова пропала?.. У вас тоже? Бык?.. Ай-яй-яй! Видать, хищник объявился, скотинку потягивает. Это дело надо бы пресечь... Кстати, а у Шаралдая скотина не пропадала?.. Не знаете?.. М-да, пойду-ка я его проведаю... Ни-ни-ни, больше ложки

проглотить не смогу! Хотелось бы поблагодарить – до того суп хорош, но, сами знаете, у бурят не принято. А почему, не задумывались? Потому что накормить человека считается само собой разумеющимся, в порядке вещей. Поэтому вместо «спасибо» скажем «наелся!» и встанем...

Маглаа ушел в дом, оставив Ханду в счастливом недоумении. С одной стороны, чудной какой-то разговор, непонятный. С другой... вот еще один человек, кажется, принял ее за жену Дэбшэна. «Чему радуешься? – укорила она себя. – Самозванка! Бежать надо отсюда, пока не поздно... Нет, поздно...»

Дэбшэн принес воды с колодца, спросил, взглядевшись в ее озабоченное лицо:

– Случилось что-нибудь?

– Не знаю даже... Милиционер какой-то приехал, следователь Маглаа, дядю Шаралдая навестить, а сам все про скотину пропавшую расспрашивал...

Про скотину? Ерунда какая-то! Отец сколько лет скотником проработал, но на его совести... «А тот давний пожар свинарников? – всплыла вдруг смутная, но тревожная мыслишка. – А при чем здесь отец? – возразил он сам себе. – Он же боролся с огнем, обгорел весь... Однако... с чего это Ломбо ночью прибежал? О чем старики рассуждали? Да ведь не о пожаре! Какой-то абстрактный разговор о добре и зле, но словно упрекали друг друга... И все равно! – Дэбшэн почувствовал, как в душе зашевелился гнев. – Зачем следователю ворошить все это старье? Что ему нужно от больного человека?..»

– Выгнать его немедленно! – прошептал он сквозь зубы и кинулся к двери. Но остановился, услышав отчаянный возглас: «Дэбшэн Шаралдаевич!»

Ханда с испугом глядела на него.

– Вы, кажется, о чем-то плохом подумали? Да он, наверное, просто навестить больного заехал, говорит, что знаком с ним... Такой мягкий обходительный человек, старый друг доктора Аюши... Неужели он что-то против вашего отца имеет?.. Не может быть!

Дэбшэн глядел в карие умоляющие глаза и постепенно остывал, словно клекотавший чайник, снятый с огня.

– Не может быть... – почти шепотом повторила Ханда, и на миг какая-то удивительная близость установилась между ними, словно много лет они знают друг друга и понимают с полуслова, с полувзгляда.

Дэбшэн тяжело опустился на скамейку, облокотился о стол, ощущая облегчение и благодарность к этой открытой для него женской доброте. «Вот, дожил, – он усмехнулся, – посторонний человек меня жалеет, а я уж и растаял, сижу тут смиренный, как пойманная укрюком трехлетка, остается только слезу пролить... И откуда она такая взялась?..» – и лицо его приняло выражение отчужденное, холодноватое.

Этот холодок коснулся и Ханды. «Нечего мне здесь делать!» – в который раз с грустью подумала она, но... и оставаться тяжело, и уйти невозможно. Как все спуталось-перепуталось!

– Будете суп есть? – спросила Ханда; он не отвечал, задумавшись; она достала тарелку из шкафчика, налила доверху, поставила перед Дэбшэном, пододвинула хлеб, ложку.

– Ты со мной... прямо как с ребенком нянчишься, – пробормотал он с некоторым раздражением. Хотя и понимал прекрасно, что на самого себя злится, но не мог сдержаться – нервы никуда!

– Что делать, если вы и в самом деле как ребенок, – заметила она растерянно. – Я-то думала, вы солидный, сдержанный...

– А еще что ты про меня думала?

– Да нет... – Ханда смутилась. – Я ничего плохого не хотела...

– Ну, ну, договаривай. Что б ты ни сказала – я о себе думаю еще хуже, – сказал он угрюмо.

– Зачем вы так?

– Затем, что это правда, – какая-то усталость навалилась на него, но он продолжал через силу, будто отчетом обязанный этой незнакомой, в сущности, девушке. – Знала б ты только, что я не воображал о себе! Особенно в твоём возрасте. Будущий титан науки, мыслитель, объяснивший – ни много, ни мало! – как причинную связь природных явлений. Вот на что замахнулся! Смешно?.. Чего ж ты не смеешься?.. Не титан перед тобой, а неудачник – надо же когда-нибудь честно сказать!.. – Дэбшэн замолчал пораженный: чего это он мечет бисер перед какой-то...

– Думаю, вы не правы, – сказала Ханда тихо; она с жадностью слушала. – Случается в жизни такая минутка, когда весь свет не мил и сам себе...

– Что? – Дэбшэн поднял голову. – Минутка? Если б минутка! – он усмехнулся. – Заметила, что я только о себе и говорю? Только и знаю, что в своей душонке копать, из каждой мухи слона раздувать... Нет, хватит! Надо жить, как все, вон как Гомбожап или Таряаша, тихо, незаметно, тянуть свою привычную лямку день за днем...

– Почему вы решили, что мы тут незаметно живем, лямку привычную тянем? – возмутилась Ханда; он с удивлением взглянул на нее. – Это со стороны, может, так кажется, а на самом деле у каждого человека что-то найдется такое...

– Ну, у тебя, например?

– А что? И у меня! Я тоже вот на распутье стою... Институт бросила, а теперь...

– Кстати, а почему ты институт бросила?

– Решила, что не стоит не своим делом заниматься.

– А коров доить – твоё дело?

– Ну и что в этом плохого-то? – воскликнула Ханда – теперь её уже можно было сравнить с обиженным ребенком; Дэбшэн улыбнулся. – Вот выбьюсь в передовые – всем вам покажу, на что способна!

– А ты доярка-то способная? – поддразнил Дэбшэн весело – не строгий судья перед ним, а совсем ещё девочка – и вроде полегчало на душе.

– Вы ещё не знаете, какая я доярка. Вот приехали б и посмотрели, – ответила она задорно и тотчас вздохнула. – Только коровы у меня неважные.

– Ладно, выйдешь ты в передовые. А дальше? На этом и успокоишься?

– Не знаю, – сказала Ханда задумчиво. – Может, на всю жизнь на ферме останусь, а может... – она улыбнулась лукаво и загадочно. – Я ведь тоже не хуже вас воображаю про свою жизнь всякое...

Они замолчали. И вновь давешняя мгновенная близость установилась меж ними. Звездное небо, на которое глядели они вдвоем, вдруг вспомнилось ей. Глупые детские мечты! Она присела на лавку рядом с потрескавшейся, обмазанной глиной печкой.

Ну, мы с тобой прямо... как это говорится: «сквозь тернии к звездам!» – произнес он с усмешкой.

К звездам? Ханда встрепелась. Он вспомнил?

– Вы вспомнили? – спросила она нетерпеливо, с надеждой вглядываясь в его лицо.

Дэбшэн даже растерялся. Что «вспомнил»? Что забыл? Что-то важное?.. Маленькую девочку с алым бантом...

По его виду заметно было, как мучительно он вспоминает, но... Ханда пришла ему на помощь.

– Когда я училась в десятом, вы у нас лекцию читали по астрономии, помните?.. Потом мы все на школьный двор вышли, а небо было такое огромное, звездное... И я ещё сказала: «Вон звезда упала!» А вы поправили: «Звезды не падают». Помните?

– Как будто... – ответил он медленно; действительно, что-то смутное брезжит в потемках, словно молодость вдруг нахлынула на него, горячая, удивительная. – Да, как будто был такой вечер, ты права. И небо... Неужели ты не забыла?.. Да, да, ведь

тебя девочка назвала Катюшей, так? – он вспомнил наконец и так обрадовался, что даже удивился. – А я сказал, что ты Ханда, так?

– Так, – Ханда улыбнулась счастливо. – Это отец меня Катюшей называет.

Они улыбались, глядя друг на друга, как заговорщики, словно у них обнаружилась общая тайна.

– А как интересно вы про космос рассказывали! Особенно про частицы из космоса. Я еще подумала, что вы астроном... или... как это называется, забыла...

– Астрофизик?.. Да нет, просто одни и те же исследования могут касаться внутриядерных процессов и космических. Боюсь, мало что вы поняли из моей лекции... Я тогда всем этим прямо горел... – Дэбшэн вдруг помрачнел и умолк.

– Мне кажется, – начала Ханда осторожно, – вы собой недовольны, потому что слишком большие требования к себе предъявляете.

– А, девочка, что ты в этом понимаешь...

– А вот и понимаю! – упрямо стояла она на своем. – И не верю, что вы насовсем свою физику забросили! Я думаю...

– Не надо об этом, – перебил Дэбшэн и добавил с горьковатой иронией: – Я выбираю лирику.

– В каком смысле? – удивилась Ханда.

– Шли когда-то бурные споры между лириками и физиками – что, мол, важнее?.. Так, молодые резвились, казалось, наука все может, безграничное счастье подарит человечеству... Теперь, когда тонны ядерной взрывчатки накопили, спохватились. Впрочем, речь не об этом, а о лирике. Так вот, вспомнил я стихотворение об одном восторженном неудачнике: больно ему хотелось взобраться на самую высочайшую вершину, а оттуда на землю посмотреть. Ну, полез. Без отдыха, день и ночь карабкался – нет, чтоб остановиться где-то на пути, отдышаться, оглядеться – нет, он ничего, кроме той вожденной вершины, не замечал. Дополз кое-как – и без сил рухнул. Ну что, нравится?

– Он так землю и не увидел со своей вершины?

– Нет, слабым оказался. Духу не хватило весь мир вместить в себе, головокружительной высоты испугался.

Нетрудно было догадаться, что говорит он о себе, «восторженном неудачнике». Ханда слушала и размышляла лихорадочно. Прав он или нет? Трезво взвесил свои силы и сошел с пути? Или смалодушничал, поддался панике при первой же неудаче? И главное: сможет ли она, Ханда, помочь ему обрести себя, обрести прежнюю уверенность и силу?

– Эх, суметь бы взобраться на самую высокую вершину, – пробормотала она. – А там и умереть не жалко, правда?

– Этим словом не надо бросаться, – отозвался он угрюмо. – Ты слишком молода, чтобы задумываться о смерти, близкие твои, к счастью, живы. А у меня мать умерла, когда я еще ребенком был. Никогда этого не забуду. Теперь вот отец... – он вдруг увидел в открытую дверь, как на крыльце показался майор милиции и стал неторопливо спускаться по ступенькам, Дэбшэн сорвался с места, подошел к майору и поинтересовался холодно:

– Извините, какое неотложное дело заставило вас беспокоить больного человека? Надеюсь, вам известно, что отец болен?

– Известно, известно... потому я и решил провести, о здоровье справиться. Следователь Маглаа. А вы, если не ошибаюсь, Дэбшэн Шаралдаевич? Наслышан о вас, как же...

– И вы из аймака сюда примчались, чтоб только больного навестить? – спросил Дэбшэн с иронией.

– Не только, конечно. Есть тут у меня и дела... по службе, так сказать. Когда молодой был, знаете, казалось: ничего важнее этих дел и на свете нет – борьба со злом! Так-то вот. Впрочем, я и теперь так считаю... Однако к старости мягчеешь,

чувствительнее становишься... вот я к отцу вашему и поспешил осведомиться о здоровье. До свидания!.. Ханда, до свидания!

И под их изумленными взглядами Маглаа легко и стремительно, несмотря на грузность, пересек двор и как-то неожиданно исчез.

Он шел по улице, глубоко задумавшись. Неожиданно перед ним распахнулась калитка в высоком заборе и возник Ломбо.

– Кого я вижу! – воскликнул Ломбо с наигранной радостью. – Старых друзей, должно быть, приехали навестить? Хорошее дело, хорошее дело! – повторял он, загораживая дорогу.

Маглаа смотрел на бывшего бригадира с любопытством: Ломбо он знал неплохо, как знал и всех коренных жителей района. Знал как человека крутого и гордого. И вдруг... чего это он так перед ним лебезит?

– Что ж мы стоим посреди улицы? – продолжал тем временем Ломбо. – Пойдемте! Ко мне, вот сюда... Будете самым дорогим гостем!.. Вот сюда, лужу обойдите...

– Мне некогда, – коротко сказал Маглаа и хотел двинуться дальше, но от Ломбо не так-то просто было отвязаться.

– И слышать не хочу! Что значит «некогда»? Нам вечно некогда – так и жизнь проходит. Пойдемте, пойдемте, а то я себе никогда не прощу, что такого человека упустил, чайком не напоил...

– Я при исполнении, – буркнул Маглаа. – Прежде дела надо делать, а потом уж сидеть, чаевничать.

Вообще-то он имел в виду обязательную встречу и разговор с Ломбо – как с истцом, возбудившим то самое «дело», по которому майор сюда и прибыл. Однако прежде хотелось составить объективную картину, а тут влез этот... Маглаа разозлился и попытался стронуться с места. Однако Ломбо стоял прочно, загородив тропинку меж канавой и забором. Поглядывая со стороны – смешно, конечно: два солидных мужика с упрямством, достойным лучшего применения, не могут на узкой дорожке разойтись.

– Мы вроде козла с бараном, столкнувшихся на висячем мостике, – Ломбо засмеялся с натугой. – Стареем, недолго уж осталось нам на этом свете... известно, что впереди ждет: вон Шаралдай свалился первым. А я хотел поговорить по душам...

– Поговорим в свое время! – строго перебил Маглаа. – А пока вы мешаете мне работать.

– Работа – не волк, в лес не убежит, – продолжал настаивать Ломбо, хотя умом и понимал, что делает глупость, зазря настраивая против себя следователя; да поделаться с собой ничего не мог – точнее, со своим упрямством. – Если не зайдете, на всю жизнь обидите...

Тут Маглаа, вконец разозлившись, пошел «на таран» – и Ломбо дрогнул, посторонился, прижавшись к забору. Пропустил майора вперед и двинулся следом, приговаривая, пытаясь перевести все в шутку:

– Эх вы меня... прижали. Есть еще порох в пороховницах, так, кажется, говорят. Недаром слух идет, что вы всех японских шпионов в Маньчжурии переловили! Правда? – Ломбо посмеялся, но в одиночку. – А я ведь что хотел? Вчера ночью сын ко мне приехал, с женой и детьми. Главным инженером в совхозе работает, не в нашем, правда, аймаке. Думал, к радости радость прибавите своим посещением.

Маглаа продолжал шагать молча. Ломбо глядел на его сгорбленную широкую спину и думал с тревогой: знать, этот следопыт пронюхал что-то, потому и не поддается на разговоры, прет напролом, словно медведь сквозь заросли ивняка. Он ведь вышел от Шаралдая?.. Небось старый дурак обо всем доложил, о пожаре том

злосчастном... Конечно, свидетелей нет и он, Ломбо будет все отрицать: никого не подговаривал, ничего не знаю... И бугай этот милицейский ничего не докажет, но... разговоров, сплетен, шума не оберешься – и это в то время, как сын погостить приехал! – «Нет, – Ломбо вздохнул, – не Шаралдай дурак, а я сам! Из-за какого-то быка паршивого с милицией связался, сам себе поджог устроил!»

– Если вы насчет того быка приехали, – заговорил Ломбо, не в силах больше сдерживаться. – Ну, моего быка, пропавшего, то, извините, я вас напрасно побеспокоил. Он, должно быть, в лесном болоте утонул, я только вчера вечером узнал...

– От кого? – поинтересовался Маглаа, круто обернувшись и уставясь в глаза Ломбо острым взглядом.

– От детишек... в лес ходили, вроде видели...

– Чьи детишки?

– Да наши, деревенские... – обронил Ломбо небрежно и тотчас перевел разговор в другую, так сказать, плоскость. – Видать, такой уж год выдался несчастливый, убыточный... Ладно, небось не обеднеем. Знаете, быка жалко стало – вот я и влез с этим заявлением. Поторопился, погорячился... Считайте, свою работу здесь вы уже закончили. И передайте, пожалуйста, от моего имени начальнику своему: мол, сожалею и извиняюсь, что побеспокоил. Так и передайте, а сейчас пойдемте ко мне, вас все ждут.

Но Маглаа какое-то время глядел на Ломбо с любопытством. Губами пожевал, будто что-то сказать хотел да раздумал. Потом снова круто повернулся, сделал несколько шагов и вошел в калитку доктора Аюши.

Ломбо проводил его взглядом неприязненным и растерянным одновременно. Сказать по правде, он испугался... незнамо чего. Склонил свою крупную голову набок, словно наставляя одно ухо к земле, другое к небу, задумался... Потом, точно парень молодой, перепрыгнул через канаву и решительно зашагал домой по самой середине улицы.

## 25

Войдя на кухню, Ломбо еще с порога заявил зычно и подчеркнуто бодро:

– Вот что я решил: устроим сегодня настоящий пир, все село соберем. Как-никак сын приехал с женой и детьми.

Ломбо держался властно и с достоинством, стараясь заглушить в памяти только испытанное унижение перед «каким-то там милицейским». Но и Дулсама была не робкого десятка. Услышав слово «пир», она аж в лице переменялась и, громко хлопнув дверцей посудного шкафчика, пошла в атаку:

– Ах, пир! Ах, все село! А чем же ты будешь все село угощать, а? Бык наш единственный как в пропасть сгинул! Небось в желудки тех воров попал, которых ты поить-кормить собираешься?

– Ну, ну, успокойся, я все продумал...

– Продумал он!

– Зарежем двух баранов, всего двух. Жалко, что ли? Иногда в жизни такая полоса наступает, что и всю скотину порешить не жалко. Домашнее добро – что роса утренняя: сейчас есть, чуть позже нет. Для человека не добро, а честь всего дороже! Вот о чем прежде всего надо думать: о чести, об имени, – разглагольствовал Ломбо, шагая взад-вперед по комнате. – Два ящика водки придется купить...

– Честь! – завопила Дулсама. – Да разве ее у нас убудет, если мы свое добро побережем, на пирах разбазаривать не станем? Двух баранов ни с того ни с сего коту под хвост...

– Весь ум у тебя в желудке, дура ты дура! – взревел Ломбо. – Лучше не лезь, куда не следует, не встревай на пути! Знала б ты, что такое честь! Да если хочешь

знать, чтоб у нас честь и доброе имя остались, слушай меня во всем и помалкивай! После полудня, часа в два, сядем за стол...

– Ох, голова раскалывается! – простила жена. – Давление, видать, подскочило...

– Без тебя управимся. Найду помощников потроха почистить и помыть, и мясо приготовить. Соня вряд ли сможет... Да коли б и смогла, гостей заставлять неудобно...

– Нет, ты скажи, какая муха тебя укусила? – проворчала Дулсама, любившая, чтоб последнее слово оставалось за ней. – Как из аймака вернулся – сам не свой. Но я с тобой с ума сходить не собираюсь, не дожدهшься... Я и так еле на ногах стою, а он пиры устраивать собирается! Пальцем не шевельну, не прикоснусь ни к чему... – и она, прижав руку к левому виску, опустила на скамейку возле печки.

Весь вид Ломбо – губы сжаты в ниточку, глаза искры мечут, огромные кулаки вперед выставлены – свидетельствовал, что вот-вот он взорвется и жене несдобровать. Однако самообладание он терял крайне редко и даже сейчас, в минуту гнева, успел заметить в распахнутой настежь двери, как знакомая фигурка промелькнула за забором. Ломбо выскочил во двор, подбежал к калитке, открыл.

По улице удалялась от него Дулма; нарядная, в голубом и зеленом, яркая – она особенно бросалась в глаза в этот серенький, тусклый, осенний денек.

– Дулма! – крикнул Ломбо вслед.

Она тотчас обернулась, подошла к нему и сказала приветливо:

– Да, Ломбо-ахай! – ей было известно, что старику это обращение – обращение к человеку относительно молодому – очень нравится, потому и назвала его не «дядей», а «братом».

Некоторое время он любовался Дулмой. «Ей ведь, однако, еще сорока нет. Эх, скинуть бы годков двадцать... ведь седьмой десяток когда еще разменял. Видать, суждено, с Дулсмой перебрехиваясь, век свой доживать...»

– Куда это ты собралась? Прямо как трясогузочка, хвостом виляешь!

– Хотела на центральную усадьбу махнуть, да попутки не нашлось. Гомбо просила, а ему лень зад свой приподнять. А за детьми в школу сегодня машина почему-то не пришла, дорогу, видать, развезло. Что делать...

– А чего ты на центральной усадьбе потеряла? Пойдем-ка лучше ко мне. Пойдем, пойдем, дело есть!

Дулма немало удивилась: всего-то за всю жизнь два-три раза у Ломбо и была, но быстренько сообразила: «Ага, знает, наверное, что сватами скоро станем!» В голове завертелись всякие соображения... вроде того: какую выгоду сулит им родство с бывшим бригадиром? Ну, деньжат иногда можно будет займы попросить... только вряд ли эта скряга Дулсама даст. Вот говорят, они машину покупают... хорошее дело, вдруг удастся когда попользоваться, а то вон сегодня разбежалась – да без толку! А она, со своей стороны, может Ломбо с заготовкой сена помочь или дров...

Эти хозяйственные соображения вертелись в голове, покуда она объясняла, переминаясь с ноги на ногу:

– Я б с удовольствием, честное слово! Но спешу очень... Отец у нас, вы же знаете...

– А Дэбшэн разве не дома? – строго спросил Ломбо, оскорбленный, что какая-то там Дулма смеет артачиться...

– Да, дома, – кивнула Дулма растерянно, – Дэбшэн с Хандой дома.

«Дэбшэн с Хандой! – Ломбо чуть не взвыл. – Дэбшэн с Хандой!.. Так и знал! С кем связалась? С пустозвоном образованным! А я-то хотел за ней в Унсэгтэ посылать, звать на праздник... Какой к черту праздник! Праздник! Обложили со всех сторон!..» – Ломбо круто повернулся, зашагал к дому и услышал за спиной ехидный голосок Дулмы:

– Куда ж вы? Кажись, только что в дом приглашали, да еще так любезно? Аль не понравилось, что я про Ханду с Дэбшэном сказала?

Словно кулаком ему в спину ткнули. Стыдно так перед женщиной нервы распускать. Ломбо обернулся и сказал с давешней приветливостью:

– А я разве не приглашаю? Заходи, пожалуйста! С чего ты взяла, что я против Дэбшэна что имею? Бог с ними, я в дела молодых не вмешиваюсь...

– Что ж вы через забор беседуете? – вдруг подал голос невесть откуда взявшийся Гомбо; обнял Дулму за плечи и ввел во двор. – Говорят же тебе: заходи!

– Отстань! – Дулма сбросила его руку с плеча. – Детей полон дом, а туда же... женщин обнимать...

– А чего это ты в отсутствие Бадмахи стала по дворам ходить, а? Нарядилась, расфуфырилась...

– Гомбо, давай сюда!.. – вмешался Ломбо, широким жестом приглашая соседа. – Хороший человек по желанию является, говорят. Заходи, заходи!

Ломбо ввел гостей в дом, усадил, чай подал и о приготовлении праздничного стола речь завел:

– Да я не сомневаюсь, что вы за один миг управитесь! – подзадоривал односельчан хозяин, привыкший все делать чужими руками. – Дулма – стряпуха известная, а уж без тебя, Гомбо, ни один праздник хлеборобов не обходится. Я прям удивляюсь... Только вроде коснешься бараньего живота ножом – а глядишь, уже мясо в котле варится.

– Это да! – Гомбо подмигнул, ухмыльнувшись. – Я только и помню всегда, как нож в руки взял, а уж потом... бывало, на другой день только и очухаешься.

– Нашел, чем хвастать! – проворчала Дулма. – Из-за водки вашей проклятой мы, женщины, и страдаем.

Однако хозяин не позволил ей сбить праздничный настрой.

– Ну, ну, Дулма, не ворчи. Тебе ль не знать, что сосед наш и в работе и за столом – везде первый. Да и ты молодец! На стол соберешь – вон как в прошлый день животновода, помнишь? – все на месте, все будто цветет, будто и огурцы, и помидоры, и ягоды не в огороде, а прямо на столе выросли! А с твоими блюдами из потрохов ничто не сравнится, тут за тобой никто в округе не угонится, это правда!

– Хватит над женщиной посмеиваться! – Дулма улыбалась кокетливо. – От таких слов сердце может из груди выскочить, голова закружится, ног под собой не чуешь...

– Неужто? – Ломбо игриво прищурился, но вовремя вспомнил про жену за печкой. – Дулсама, смотри-ка, кто к нам помочь пришел: Дулма и Гомбо... вот что значит в дружбе с людьми жить! А вам я скажу, что доброе имя мужчины целиком от жены зависит. Разве я достиг бы того, что достиг, без своей Дулсамы? Нет, конечно! Ну-ка, жена, принеси мне открытки, что Ханда привезла! Еще две авторучки захвати и мои очки.

– Ишь, разошелся, удержу нет, – проворчала Дулсама тихонько под нос, но тут же встала, выплыла из-за печки и все принесла, что муж просил. – Чегой-то ты писать собрался? Или совсем в детство ударился?

Однако Ломбо, не обращая внимания на ворчание жены, продолжал давать распоряжения:

– Раздели-ка открытки поровну между Гомбо и Дулмой!.. Так... Берите по ручке и пишите... Дорогой друг... Написали? Хорошо. Теперь ты, Гомбо, поставь имя своего самого близкого друга...

– Жены, что ли? – уточнил Гомбо.

– Да нет! Жена, само собой... жена есть жена... Друга, говорю!

– Жена – это пожизненный друг, не отвертись, – вставил Гомбо.

– Не отвертись, верно. Но у настоящего мужчины должен быть друг. На которого он всегда может положиться, – пояснил Ломбо солидно.

– Раз так, пропишем Данзана, Арбаандайева сына.

– Правильно. Пропиши, чтоб с семьей был. А ты, Дулма, пиши: «Майор



Маглаа!» Только покрасивше пиши, поаккуратнее...

– И Маглаа звать хотите? – заинтересовался Гомбо.

– И майора позовем, а как же? Он у нас в деревне гость... Написали?. Так, диктую дальше: от чистого сердца приглашаем вас отпраздновать в нашем доме... написали?.. приезд сына, невестки и внуков... готово?.. С новой строки... Праздновать начнем в два часа дня...

– Эх, разгуляемся! – вырвалось у Гомбо. – До самого утра! А то некоторые взяли моду: вечером начинают, а в полночь уже расходятся.

– Ишь, разгулялся! – буркнула Дулма.

– Хватит болтать, а то ошибок понаделаете. Так, написали?.. Опять с новой строки – подпись: Семья Ломбо. Так вот, точно такое же приглашение надо всем хасууритинцам послать.

– Э! – воскликнула Дулма, повертев открытку. – Открытка-то Дню Советской Армии посвящается!

– Ничего, сойдет. Для Маглаа даже кстати – майор. Пишите, пишите!.. А ты, Дулсама, дай-ка из шкафчика счета и бумагу с карандашом.

– Уф-ф, рука устала с непривычки! – Гомбо выразительно посмотрел на хозяина. – Авторучку два раза в месяц употребляю, когда за получку и аванс расписываюсь. Может, я за барана примусь?

– Примешься, примешься. Пиши пока.

Дулсама в сердцах грохнула счета о стол.

– Потихе! Детей разбудишь! – зашипел на нее муж. – Итак, два ящика водки по двадцать бутылок в каждом...

– И одним ящиком обошлись бы, – вставила Дулсама, пригорюнившись: такие расходы:

– Не будем мелочиться! – отмахнулся Ломбо самодовольно: и бойко защелкал костяшками, шевеля губами; лишь изредка до присутствующих доносился шепоток: – ...и десять селедок... хлеба пятнадцать буханок включаем... и подарки для гостей... округлим... Итак, триста девяносто пять рублей сорок семь копеек, – громогласно подвел он итог всех расходов.

Дулсама вздохнула тяжело, а Гомбо с Дулмой пораженные, аж рты разинули: ну никак не верилось, что Ломбо такой щедрый пир закатит.

– Ну, как, черти, закончили? – обратился он к ним весело. – Молодцы! Быстрее меня управились... Ну-с, приступим к делу? – он уперся руками с короткими пальцами о стол, собираясь вроде встать. – Ах да! Сейчас я вам планчик составлю, что и как делать, – Ломбо принялся писать, воображая, предвкушая богатый, достойный его, Ломбо, пир...

Вот он сидит во главе длинного стола, гордо поглядывая на довольных гостей. Рядом тамада, вдохновляющий застолье... Кстати, кого назначить тамадой?.. Гомбо... нет, Гомбо и впрямь может под стол свалиться... Данзан? Да, он говорлив, держится, солидно, но робок... слишком робок... Таряша неплох, как работник на весь район гремит, но молод для такой почетной роли... да и Аюшу нечего поважать, разойдется старик, шуточки да прибауточки – и все в его, Ломбо, адрес... Вообще б его не звать после вчерашнего, но неудобно... Нет, именно после вчерашнего и стоит звать: ничего, дескать, особенного не случилось... А вот уж с кого действительно душу воротит – это с Дэбшэна, но... придется потерпеть, может, он и не придет еще... Вот кто действительно в самый раз на праздник пришелся бы, так это Бадмаха. Незаменимый тамада (если, гм, не переберет): ловок, проворен, язык подвешен, как бритва, острый... Здоровяк, могуч – хоть на трон его сажай, не осрамится... Ну да это все пустяки! А вот придет ли Маглаа – вот в чем вопрос. Ладно, будем надеяться... Может, кого с центральной усадьбы позвать? Начальство все-таки. Нет, Цезарь будет недоволен... как он вообще-то к пиру этому отнесется?.. Гомбожап подошел бы для руководства застольем – речь у него складная, ядовитая, заковыристая. Правда,

Гомбожап в последнее время что-то часто прикладываться стал, опьянеет раньше времени, забуровит, но... все-таки он начальство у нас тут в Хасуурите, какое-никакое, к тому же народ смешить мастер, а раз пир – значит, смех и веселье. Как говорится: пусть восьмилетний ребенок наестся, пусть восьмидесятилетний старец помолодеет, глупый и мудрый наговорятся, красивый и некрасивый обнимутся. Такой пир закачу, какого в Хасуурите еще не бывало, долго помнить будут, кто таков Ломбо! И Маглаа пусть призадумается, как начнут хозяина хвалить да нахваливать. Хозяина и Цезаря с женой. Всем напомнить надо – а майору в особенности! – что сват у Ломбо как-никак заместитель министра... И пойдет веселье как по маслу. Старики застольные песни запоют, молодежь свои затянет, ехор плясать примутся... Эх, разойдутся! Такого, скажут, праздника и в сагалган еще не бывало...

– Ну, приступим! – сказал Ломбо и встал. – Вот вам план-задание, по нему и действуйте, – он вручил помощникам листок бумаги с длинным и довольно безграмотным перечнем взятых ими на сегодня обязательств.

А Ломбо вышел на улицу, подозвал ребятишек, пускавших в канаве белые кораблики, и вручил открытки, наказав доставить их по назначению. Гордые поручением, ребятишки весело разлетелись по деревне, как воробы.

Гомбо вывел во двор жирного валуха, повалил на спину и только хотел полоснуть по животу, как из дому вышел Цезарь и воскликнул:

– Что ты делаешь?

– Барана режу, – ответил Гомбо спокойно и умело сделал надрез на бараньем животе.

– Зачем? Не надо! – со странным раздражением крикнул Цезарь и безнадежно махнул рукой, так что Гомбо, придавивши левой ногой горло барана, удивленно воззрился на хозяйского сына.

А Цезарь и сам не смог бы объяснить причину своего раздражения (эка невидаль: барана режут – привычная картинка для деревенских), тем не менее, приближаясь к Гомбо, невольно принял угрожающий вид: рукава засучены, обнажены мускулистые руки со сжатыми кулаками, зеленая рубашка в клетку, не застегнутая доверху, не скрывает могучую грудную клетку, а облегающие джинсы только подчеркивают бугры мышц.

Гомбо, и сам мужик крепкий, даже струхнул немного, следя за приближающимся Цезарем, померещилось вдруг: как мячик, отлетит он от одного удара «этого сумасшедшего».

А баран с дырой на животе (как раз такой, чтоб туда вошла рука человека), отчаянно сучил тонкими ногами, не в силах освободиться от мертвой хватки Гомбо, надрывно дышал, выпучив сизые глаза, урча продырявленной утробой. Казалось, это самое безобидное и безответное животное на свете тщетно взывает к человеческому милосердию.

– Пир хотим в честь приезда устроить, – пробормотал Гомбо с некоторым страхом.

– Догадываюсь, – процедил Цезарь угрюмо.

– А в чем дело-то? – спросил Гомбо, в растерянности поглядывая то на Цезаря, то на бараний живот. – Обрати ведь не зашьешь...

– Да перерви аорту! Скорей! Чего напрасно мучаешь? – закричал Цезарь.

Гомбо проворно сунул руку в дыру, оборвал аорту; тело барана быстро-быстро задергалось, последний вздох с шумом вырвался изо рта и ноздрей – и он затих.

Пятилетний сын Цезаря, видевший все это с крыльца, громко заплакал.

Цезарь резко обернулся, недовольный тем, что по недосмотру ребенок присутствовал при таком жестоком зрелище; и Гомбо испытывал какую-то виноватую неловкость, словно застигнутый врасплох за черным делом; и на лице подошедшего Ломбо мелькнуло тревожное выражение. Казалось бы, привычное дело, необходимое даже – а всем было как-то не по себе.

Из дому выскочила Соня, подхватила на руки плачущего сына и метнулась в дом, громко захлопнув дверь, – мать, пытающаяся оградить своих детей от этого страшного беспощадного мира.

– Ничего! – сказал Ломбо сурово, но как бы и оправдываясь. – Мужчина с малолетства должен привыкать ко всему. Ничего! – повторил он. – Такова жизнь.

– Отец! Зачем ты все это затеял? – Цезарь исподлобья глядел на него. – Вроде особых причин веселиться пока нет.

– Дети рождаются и вырастают, чтоб радовать нас, родителей, – ответил Ломбо назидательно. – И ты мою радость не омрачай... Или я права не имею на маленькое застолье с друзьями и соседями в честь приезда сына, невестки и внуков? Не так уж часто они приезжают!

– Но сейчас же самый разгар уборки, – мрачно возразил Цезарь. – Каждый час дорог!

– Погода еще не скоро установится, во всяком случае, не сегодня... Вон спроси у Гомбо, почему он без дела ходит.

Цезарь брезгливо посмотрел, как Гомбо сдирает, поддевая снизу кулачищем, шкуру с барана, и, зная, что отца не переспоришь, все-таки решился на последнюю попытку:

– Может, просто в семье отметим? Не будоража всю деревню, а?

– Какой же это будет праздник? – Ломбо усмехнулся. – Гулять так гулять – нет так нет! Если уж солить – соли не жалеть, покрепче!

– Правду говорят, что глупость необузданна! – не смог удержаться Цезарь от резкости и, круто повернувшись, ушел в дом.

Опешив от неслыханной дерзости, Ломбо было рванулся за сыном, но сумел себя сдержать. «Спокойно! Не отвечай глупостью на глупость. Откуда ему знать, что я задумал?... И все будет, как я задумал...»

Соня, кормившая детей, встретила мужа встревоженным взглядом. Эта непонятная тревога вошла в их дом, как только стало известно, что Цезарь должен ехать в родной колхоз. Неужели он боится, что земляки на общем собрании не проголосуют за него? Да, говорят, хозяйство запущенное, и, конечно, для него спокойнее было бы остаться главным инженером в богатом передовом совхозе. И для нее спокойнее!..

А ведь затеял все ее отец – не могла не признать Соня, – он затеял, а директор горячо поддержал, хотя и говорил, что ему жаль расставаться с толковым и дельным инженером.

Разговор происходил весной. Отец приехал в мае, и они вчетвером отмечали праздник. Соня помнит, как муж отказывался, упрямо твердя, что не готов к самостоятельной руководящей работе, что в Хасуурите его помнят мальчишкой и не примут всерьез, что... «Ну, не хочу – и все!» – «Да ведь это твоя родина! – сказал директор. – Неужели душа не болит? Вот я, человек, можно сказать, со стороны – и то забыть не могу. Такое впечатление, будто я разобрал для ремонта сложную дорогостоящую машину, а собрать, отремонтировать не успел. Надеюсь, ты соберешь и выведешь ее на дорогу! Ну, так как?» Цезарь молчал; вот тогда-то она и почувствовала его тревогу, которая незаметно передалась и ей. «Ну, так как? – повторил директор. – Соглашайся, я предложу в обкоме твою кандидатуру». – «Это правильно, – поддержал отец. – Мне неудобно, подумают, зятя проталкиваю, – отец усмехнулся. – Не проталкиваю, а выталкиваю на тяжелый участок, запущенный. Но тем больше чести «отремонтировать» его. Согласен?» И Цезарь ответил нехотя: «Попробую...»

«Нелегкая будет эта проба, – думала сейчас Соня, наблюдая за мужем: как он вошел, опустился на стул, о стол облокотился и задумался. – Характер у него тяжеловатый, а при каждом препятствии еще угрюмей и молчаливее делается. Вот, глядит волком – и не подступись, будто разругались в пух и прах... Сумеет ли

сработаться с людьми? Но ведь в совхозе срабатывался, легко, просто... Ничего, может, все еще хорошо будет...»

Цезарь молча выпил чашку чая, развязал рюкзак, брошенный ночью возле двери, сапоги достал. «Самая необходимая вещь в деревне, – говорил он, собираясь в дорогу. – Как приеду, надену – вмиг председателем себя почувствую».

И сейчас он натянул сапоги, плащ прихватил и вышел, так и не сказав ей ни слова.

26

– Я тебя в окно увидел, – сказал доктор Аюша, наливая чашку душистого крепкого чаю и ставя ее на стол перед Маглаа. – Смотрю, мимо проходишь – и как-то мне не по себе стало, правда. Но...

– Но на крыльцо не вышел, однако, не позвал... – подхватил Маглаа, посмеиваясь.

– Ну да, – в тон ему отвечал доктор, лукаво поблескивая стеклышками круглых очков. – Испугался, что, как в прежние времена, щенок ко мне привяжется и не отвяжется. Пей чай!

– Это да! Щенок ваш и на старости бегаёт за кем нужно и за кем не нужно.

– А уж подумал было: нацепил на погоны две больших звезды, загордился, про старшего сержанта Аюшу совсем позабыл!

– Э, мне и со звездами до того старшего сержанта не дорасти! Выметут меня скоро, как сор из избы... На пенсию, скажут, старик, давно пора.

– Значит, такой же будешь, как я.

– Ну, не сравнивайте! Вы до самой смерти нужны будете людям, а я...

– Ладно, не прибедняйся! – доктор Аюша налил себе чаю и как-то грустно сказал: – А ведь совсем недавно, кажись, восемнадцатилетним сосунком за мной бегал.

– Ага, совсем недавно! Вот прострелили б мне тогда голову – помните? – одни косточки в земле уже остались бы.

– Значит, не суждено тебе было умереть от немецкой пули, – заметил доктор Аюша глубокомысленно. – Годы человеческие сосчитаны. Сколько лет проживешь – от судьбы зависит...

...Маглаа попал на фронт к концу войны и был определен в госпиталь санитаром. Это его никак не устраивало. «Женская работа! – ворчал он, благо никто из окружающих его понять не мог. – Вместо того, чтоб фашистов бить, горшки за ранеными выносить придется!» Сгоряча рапорт подал, чтоб, значит, в пехоту его направили, а тут такая круговерть пошла: работы невпроворот. Однако он успел заметить среди медперсонала немолодого уже, щуплого на вид бурята, а в минуту передышки разговориться с ним. Военфельдшер (этот самый Аюша, что сидит сейчас перед майором), довольный, что можно поговорить по-бурятски, вправил ему мозги. «Женская работа! – возмутился Аюша. – А знаешь ли ты, что для бойца, упавшего на поле боя, санитар – это бог? Наша работа на войне – самая благородная, может быть, самая нужная!» – «Не санитары небось сражения выигрывают», – пытался защищаться Маглаа. «Это как сказать! Сколько раненых они с поля боя выносят и возвращают в строй? Да без нас земля бы уже обезлюдела. Кто б сражения выигрывал? – горячился Аюша. – Тебе военных подвигов хочется, а ты подумай, что значит человека к жизни вернуть. Ты не только великую помощь оказываешь в борьбе с фашистом проклятым, в тебе эта закваска – спасти, защитить, сохранить человека – на всю жизнь останется. Ежели ты, конечно, сам человек стоящий... Словом, я с начальством поговорю, чтоб в помощники тебя взять. Смерть как хочется по-бурятски поговорить, прямо как голодный хожу...» Тут передышка кончилась, новых раненых привезли, и началась запарка... Однако обещание свое военфельдшер

выполнил: вскоре Маглаа и в самом деле попал в его распоряжение. За то, что юноша неотступно за своим земляком следует, его «щенком» прозвали. Вроде обидно... но он не обижался, настолько доктору своему (он и тогда Аюшу доктором называл) предан был.

Зимой сорок пятого они в траншее одного связиста раненого обнаружили: снайпер немецкий напротив через поле орудовал. Покуда Аюша связисту повязку накладывал, Маглаа из траншеи высунулся, разглядывая «мертвую зону» – безмолвное сейчас снежное пространство. Как вдруг Аюша всем телом навалился на него, они вдвоем на дно траншеи скатились, а сверху – страшный, тонкий, ни с чем не сравнимый свист пули. «Разинул рот, – просипел Аюша в самое ухо ему. – Еще чуть-чуть – и прострелил бы твою глупую башку гад немецкий...»

– Может, от судьбы наши годочки зависят, – сказал майор, потягивая чай, – а только мою жизнь вы спасли.

– Стало быть, суждено было нам вот так сидеть сегодня и пить чай, – доктор Аюша верил, что все на свете предопределено заранее. – А вчера мне суждено было утку с десяти шагов упустить. Вообще-то стрелок я был всегда никудышный, а то сегодня угощал бы тебя супом из дичи. Хочется мяса, давно я уже...

– Как? – притворно удивился Маглаа. – Разве Шаралдай не уступил вам мяса, когда скотину заколол? Хорошее мясо, нежирное.

– Когда это он скотину заколол? – удивился, в свою очередь, доктор Аюша.

– На днях, очевидно. Позавчера шофер председателя вашего сноху шаралдаевскую – Дулма, так? – на базар в райцентр подвозил, вроде бы она там мясом торговала.

– Что-то не пойму я тебя, – пробормотал доктор Аюша тревожно.

– Доктор не понимает? – голос майора звучал насмешливо. – У доктора трехлетка к теленку с пастбища который день не возвращается, а он сидит без мяса, чай пьет и ничегошеньки не понимает. А между тем у друга вашего я сегодня досыта мясным супом наелся.

– Не знаю. У нас в Хасуурите принято, если скотину заколол, соседей пригласить, хоть куском кровяной колбасы угостить...

– Иногда обстоятельства складываются так, что приходится нарушать обычаи, – заметил Маглаа многозначительно и допил чашку. – Когда же это Шаралдай и Ломбо сватами стали?

– Сватами, говоришь? – еще больше удивился доктор Аюша. Ну хитер майор! Не успел в деревню приехать – всю подноготную выпытал, о чем доктор и не подозревал вовсе.

– Говорят, когда за чтение божеских книг садятся, то десять дней из дому не выходят, одним пустым чаем живы. Вы, должно быть, эти дни в другом измерении жили, а то не удивлялись бы так на слова приезжего.

– Видать, и вправду ты хорошим следователем стал, – от чистого сердца сказал доктор Аюша. – Недаром такая слава про тебя идет.

– Э, славу эту я сам распускаю, – Маглаа засмеялся, так что узенькие глазки его совсем в щелочки превратились. – Правда, правда! Чтoб преступник заранее передо мной дрожал, как муха в паутине.

– Да ты, никак, с пауком себя сравниваешь? Ну-ну... Кого ж ты на этот раз приехал в паутину ловить?

– Подумайте, догадайтесь.

Но подумать доктор Аюша не успел: вдруг открылась дверь, и два замызганных пацаненка возникли па пороге.

– Он? – спросил один из них, глядя на Маглаа.

– Он! – закричал второй, подскочил к столу, бросил две открытки – и ребят как ветром сдуло.

– Внуки? – поинтересовался Маглаа.

– Тот, что повыше. А другой... вроде Данзана сын... или Гомбо? Откровенно говоря, я их всех путаю... Про таких услышишь, что родился, а глядишь, уже бегают... В Хасуурите детишек, что воробьев, с утра до ночи по улицам гоняют.

– По улицам – это не дело. Ясли вам нужны и детсад. Говорят: дети, мол, как цветы растут... Однако могут такие сорняки вырасти!.. Воспитывать с рождения надо. Вот я, пока за бандитами гонялся, своих детей, можно сказать, упустил. Нет, они не сорняки, но... комнатные, скорее, растения, изнеженные., тоже плохо.

– Да, да, детсад нам необходим, – согласился доктор Аюша рассеянно, помолчал и тихо спросил: – А ты с Шаралдаем говорил?

– Говорил... – отозвался Маглаа как-то неопределенно.

– Ну.. и что? – доктор Аюша вперед подался.

– Такие вещи говорит, что стоит задуматься, – Маглаа взял кусок хлеба со стола и принялся жевать, словно давая понять, что больше ничего на эту тему не скажет.

– Тогда вот что я тебе скажу, – заговорил доктор Аюша веско и значительно. – Я хоть и не следователь, но законы как-никак знаю. Значит, так... трехлетку мою, может, и украли. Не спорю. Но заявляю официально: жалобу тебе, как представителю власти, о краже подавать не собираюсь. И о трехлетке не жалею. И не потому, что страсть к накопительству, к имуществу своему есть один из десяти смертных грехов. А потому, что корова моя, если и украдена (во что я не верю – подчеркиваю!), даже если и украдена, то с добрыми намерениями.

– Чего-чего? – Маглаа даже жевать перестал. – С какими-такими добрыми намерениями красть можно?

– А вот можно, если для общего блага... Вот ты говоришь: детей воспитывать надо. Надо! Вот этому делу и поможет... моя трехлетка. Будем ясли-сад строить.

– Ага, кража поможет! На таких примерах вы детей воспитывать собираетесь? – Маглаа усмехнулся. – Всей деревней воровство собираетесь покрывать? Вот и Ломбо мне что-то такое бормотал: мол, украли быка – и в то же время вроде и не украли... М-да, не зря, видать, я к своему старшему боевому товарищу, который для меня с юности образцом был, – не зря сегодня зашел. Глядишь, на след целой шайки воровской нападу.

– А, тебе бы все шутить! А я вот серьезно спрашиваю: если и я, и Ломбо себя пострадавшими не считаем, что тебе расследовать? Что?.. Нет, ты подумай, ты ж знаешь, я слов на ветер не бросаю.

Доктор Аюша поднялся, подошел к настенному посудному шкафчику и достал початую бутылку водки, заткнутую бумажной затычкой.

– Смотри-ка, совсем забыл!.. Это мы третьего дня с Шаралдаем угостились немножко... вот осталось, – доктор Аюша взял с верхней полки две деревянных чашки и поставил на стол. – Давай за встречу, а?

– Ни-ни, я при исполнении...

– Совсем не будешь? – доктор Аюша огорчился было, но тут же махнул рукой.

– Ну и я тогда обойдусь, тем более что и закусить-то нечем, разве что сливками... самая асконная бурятская пища...

Маглаа взял деревянную чашку, повертел в руках.

– Тоже наша бурятская посуда, нигде такую не встречал. А на фронте – помните? – говаривали: в алюминиевых кружках вроде и водка слаще.

– Помню, конечно... солдатская помятая кружка... Эх, как тогда о будущем мечталось! Думал: какую жизнь красивую построят люди, через такое пекло прошедшие... – доктор Аюша сел опять на свое место и обратил, наконец, внимание на принесенные ребяташками открытки, прочитал одну, удивился: – Гляди-ка! Ломбо меня на пир приглашает, в два часа. Пир! Неужто капиталы свои слегка растрясти решил? Интересно!.. А здесь... – он взглянул в открытку. – Тебе, кажется! Ну да...

Маглаа взял у него открытку, прочитал:

– «Дорогой товарищ Маглаа!»

– Во-во! – доктор усмехнулся. – Имячко твое значит: человек с огромным носом? Я бы добавил: и с хитрым носом...

– Да уж как угодно: можете пауком меня назвать, можете – ищейкой, – отшутился Маглаа рассеянно, помолчал, потом заговорил как бы размышляя вслух: – Вспомнилась мне сегодня одна старая история... Как у вас тут свинарники сгорели, а?

– Еще б тебе не помнить: ты ж ведь тот пожар расследовал?

– Не только расследовал. Я, можно сказать, и сам на том пожаре погорел. Официальное заключение было: неисправность печей, но... у меня сложилось особое мнение, с которым начальник мой – теперь уж покойный – согласиться не мог. Ему лишь бы дело закрыть, больно покой любил – вот и навсегда успокоился. Нет, кроме шуток, я ведь из-за него тогда на Север перевелся. Так вот, часть свиней спасли, часть сгорела. Я сам лично пересчитывал их, пересчитывал и живых, и обгоревших – концы с концами так и не сошлись. Пожар воровство покрыл? Так вроде получается? Так, я был уверен. А виновник? Не нашелся, потому начальство мое все на печи списало. И что мы видим теперь? А то, что Шаралдай вроде бы с тех свиней не разбогател: запущенное у него хозяйство, по нынешнему времени просто бедноватое, а?

– Ты – следовательно, тебе виднее, – ответил доктор Аюша дипломатично. – Ежели хочешь это дело раскопать, придется тебе на праздник к Ломбо пойти, хоть ты и «при исполнении».

– Да-а, придется, – согласился Маглаа задумчиво. – У Шаралдая беда, у Ломбо праздник... Какая болезнь у Шаралдая?

– Старость, что ты хочешь, старость. У стариков все болит. А конкретно затрудняюсь ответить, потому как я всего лишь фельдшер со старорежимным образованием.

«Ишь ты! – удивился Маглаа. – Раньше от меня ничего не скрывал... Шаралдай, Аюша, Ломбо... что-то между стариками произошло, и веревочка издалека вьется. Дергаю за кончик, а выдернуть не могу, только новые и новые узелки затягиваются!»

– Я думал, ты врачом станешь, – нарушил доктор Аюша напряженное молчание. – Хирургом, с дипломом. Руки у тебя редкостные были, пальцы гибкие, ловкие. Думал, большим врачом станешь, известным... Ну, каждому свое. Никогда не пожалел?

– Да нет, – Маглаа вздохнул. – И раньше не жалел, а теперь уж... что говорить-то, на покой пора.

– С любимой работой расставаться – все равно что с жизнью.

– Это верно, – кивнул Маглаа. Грустно так голову опустил, принялся рассматривать хлебные крошки на столе, лужицу пролитого чая, ложки, чашки... Был он похож сейчас на старого нахохлившегося ворона: массивный нос – прямо клюв, глаза полуприкрыты, словно пленкой белесой подернуты, давно не стриженные волосы взлохматились на затылке, как перья... Однако казалось: в один момент, почуяв, добычу, ворон этот встрепенется, расправит крылья и больно клюнет, метко.

– Стало быть, жизнью своей ты полностью удовлетворен? – строго спросил доктор Аюша.

– Нет, конечно, – Маглаа поднял голову, лицо его потемнело. – Хоть того же прежнего моего начальника взять: сколько лет я ему уступал, терпел, покуда не сорвался. А он тут остался судьбы людские вершить... Где уж тут «удовлетворен»! Нет и нет. Так-то день за днем крутишься-вертишься, текучка заедает, одно дело закончишь – другое на носу... А однажды задумаешься над прожитым – нет, не все я сделал, что смог бы сделать, не все.

– Да, да, я это чувство понимаю! – воскликнул доктор Аюша взволнованно. – Главное: себя не растерять, чтоб, значит, текучка эта самая до конца не заела. Чтоб можно было остановиться и подумать... В молодости, конечно, некогда, спешишь, бурлишь, энергия распирает, всюду хочется поспеть. А в старости раздумья берут: был ли какой смысл в этой гонке, спешке, горячке? Знаешь, жизнь человеческую

можно сравнить со строительством дома: стены срублены, надо их покрыть крышей, завершить постройку. Или взять, к примеру, субурган. Возводишь прочные каменные своды, а наверху обязательно надо поставить высокий золотой шпиль. Субурган еще издали будет сиять, напоминать людям, для чего он сооружен!.. В этом смысле мы все строители, каждый строит жизнь свою как может, а в конце... – доктор Аюша помолчал, потом сказал тихо: – Вот представь: в конце вдруг осознает человек, что постройка не окончена, крыша не возведена толком, не увенчана сияющим шпилем. И тогда... – голос его зазвучал еще глуше. – Тогда от отчаяния человек способен выкинуть такую штуку, что только диву даешься...

– Какую ж такую штуку Шаралдай выкинул? – поинтересовался Маглаа напрямик, напряженно вглядываясь в лицо старшего своего боевого друга, которому жизнью обязан. Тот отмахнулся с усмешкой.

– А, каждый на старости лет по-своему с ума сходит... Я – так, Ломбо – эдак, а Шаралдай – и того пуще...

«Да, интересный узелок завязался! – подумал Маглаа, вдруг поднялся машинально и зашагал взад-вперед по комнате, как обычно в минуту напряженных раздумий. – Шаралдай намекал на какие-то грехи... очищение совести... Уж не тот ли давний пожар имеется в виду?.. Так... Теперь крыша, золотой шпиль субургана – завершение жизни. Ясли-сад и – кража!.. Скотина пропала у Ломбо и у доктора, а сноха Шаралдая ездила мясо продавать. М-да, эта тройка стариковская, похоже, намертво связана... И вот что интересно: и Ломбо, и Аюша просят кражу не расследовать. Аюша, понятно, из дружбы. А Ломбо? Оттого, что дочь за Дэбшэна выдает? Тогда зачем заявление о пропаже быка подавал? Странно, странно... А ведь скотина пропала у обоих – это факт...»

Последние слова «скотина пропала у обоих – это факт» – Маглаа невольно пробормотал вслух, и доктор Аюша тотчас откликнулся:

– Что ты привязался к этой скотине? Пропала – и бог с ней. Человек – вот главное.

– Все главное, в нашем деле мелочей нет! – перебил Маглаа резко. – Человек, говорите? А если человек этот решил хасууритинских ребятишек облагодетельствовать с помощью кражи у друзей своих? Это каким же шпилем он субурган свой увенчает – золотым? Так, по-вашему?

– Ох, Маглаа, не торопись с выводами. Коли уж взялся наш узел распутывать, то имей терпение, не руби сплеча, – доктор Аюша тоже встал, начал со стола убирать, объедки в миску сложил, молочка подлил и понес во двор Булгаше своему верному, но на пороге обернулся и добавил: – А я тебе повторю: в любом деле человек – главное. И к каждому свой подход требуется... впрочем, верю, ты все это и без меня знаешь. Действуй! И достойно здание твое завершится... Подожди, я мигом, только собаку накормлю.

«Меня к человеколюбию призывает, – Маглаа остановился у окна, – а сам темнит, недоговаривает что-то... Странная история. С одной стороны, я лицо должностное и обязан пропажу скота расследовать. С другой... не стану ли я для всего района посмешищем, копаясь в каких-то там стариковских чудачествах?.. Нет, нет, кража и поджог – отнюдь не безобидные чудачества! Если, конечно, кража и поджог действительно имели место... Что ж, именно в этом мне и предстоит разобраться. Значит, что? Значит, придется, хочешь – не хочешь, идти к Ломбо на пир, – он подошел к столу, взял открытку с приглашением, прочитал внимательно. – Да, именно так и сказано: «пир». Придется идти – и непременно с доктором, как бы он ни артачился...» – Маглаа чувствовал, как в нем просыпается азарт сыщика, идущего по следу, и даже причмокнул толстыми губами от удовольствия.



Не желая принимать участие в подготовке этого «нелепого», как он выразился про себя, пира, Цезарь вышел за калитку и бесцельно побрел вдоль посеревших, разбухших от дождя заборов и изгородей.

Подходя к дому доктора Аюши, он увидел Таряшу, втаскивающего заляпанный грязью мотоцикл во двор, и подошел к нему.

– Вот видишь, еле завелся, – заговорил Таряша с досадой. – Вожусь с ним, вожусь...

– Ночь-то где провел? В вагончике?

– Разве ж это ночь? Голова гудит... Ладно, сегодня на поле делать нечего, передохну.

Оба одновременно подняли головы, посмотрели в низкое, клубящееся дымными клочьями небо. Потом Таряша вновь склонился над мотоциклом, нажимая на стартер; тот чиркнул вхолостую. Цезарь сказал, берясь за заднее сиденье;

– Давай подтолкну.

Они завели мотоцикл в гараж.

– Почему новый не купишь? – спросил Цезарь, похлопав небрежно по сиденью. – Или зарабатываешь в колхозе мало?

– Кто это тут колхозными заработками интересуется, а? – вскричал внезапно появившийся в распахнутом дверном проеме Гомбожап. – Ага, вот кто к нам неожиданно-негаданно пожаловал! Ну, здравствуй.

Цезарь шагнул к нему с протянутой для рукопожатия рукой, слегка поморщился, уловив явственный похмельный душок.

– Однако! – пробормотал он с легкой насмешкой. – По какому это поводу от тебя водочкой...

– Он теперь и безо всякого повода выпить не прочь, – вставил Таряша.

Старые друзья гуськом выбрались из тесного гаража на свет белый (точнее – серый, осенний).

– Ладно, ладно, – защищался Гомбожап лениво. – Прямо с ходу завелись воспитывать... Лучшие парни Хасууриты собрались – и поговорить не о чем?.. Как дела, Цезарь? Идет работа?

– Идет помаленьку, – отозвался Цезарь нехотя.

– Слышал, у вас на фермах полная механизация. При тебе внедрили?

– В общем, да. Когда я приехал, только начали.

– Быстро вы управились... Нет, правда, молодцы! Впрочем, с вашими возможностями и доходами... Мы только сиднем сидим, будто куры с подрезанными крыльями.

– Как у вас с поливкой? – поинтересовался, в свою очередь, Таряша. – Писали в газетах, засуха в южных аймаках долго стояла.

– Больше внимания надо снегозадержанию уделять, зимой об урожае думать. Конечно, не все у нас тут пока гладко... – начал Цезарь и запнулся: «у нас»? Вернее сказать уже у «них»...

– А вспашка? – продолжал допытываться Таряша. – На какую глубину пашете?

– На некоторых землях – не на всех пока – пробуем безотвальный плуг, плоскорезы.

– Ну и как?

– Повысилась урожайность – это правда. Для наших почв – сам небось знаешь – это спасение. Когда я только приехал в совхоз, из-за нехватки кормов еще случался падеж скота, а сейчас это редкость и потерь приплода почти не бывает, надои будь здоров!

– Вот видишь, – обратился Таряша к Гомбожапу. – Смогли же безотвальный плуг ввести, а мы землю уродуем!

– У нас тоже не все сразу делалось. Мы ведь и на Алтае побывали, и в Казахстане, насмотрелись. Вот где хозяйства! Есть чему поучиться...

Цезарь отвечал вначале нехотя, суховато, думая о своем. Но постепенно увлекся, голос зазвучал уверенно, хмурое лицо оживилось, и взгляд утратил жесткость.

А Таряша и гордился старым другом (в каком большом деле участвует! всего сумел добиться! и ведь не заносится, не тычет им пальцем в нос, мол, работать толком не умеете!), и завидовал: живут же люди, делают то, что считают нужным, никаких окриков сверху не боятся. Если б хоть чем-нибудь можно было похвастаться в ответ!

– Безотвальный плуг и для наших мест годится, – Таряша многозначительно взглянул на завфермой: о чем, дескать, той ночью тебе говорил, помнишь? – Надо пахать, не разрушая плодородного слоя, правда Цезарь? Он же тонкий. Вообще с законами природы мы мало считаемся – вот и выходит боком. А что? Испокон веков земля не вспахивалась и силы не теряла: трава выше пояса поднималась. А теперь? Землю переверорошили, и плодородный этот слой прямо ветром сдувается! – говорил Таряша запальчиво и нетерпеливо. – Нету сил на все на это глядеть! Как будто неизвестно никому, что для образования гумуса на один сантиметр сто лет нужно...

– Э, не пори горячку, – перебил Гомбожап. – На наш век хватит...

– Во-во, только о себе! А что с землей делается...

– Ну, заладил! Отвальный плуг тоже не какие-нибудь дураки для разрушения почвы выдумали...

– Не дураки, – вмешался Цезарь. – Но использовать любое изобретение надо с умом, применяясь к данным условиям. Если законы природы нарушать постоянно, можно ее и вовсе погубить. Известны случаи, когда цветущие сады пустыней становились. Таряша прав, надо о земле думать.

– Да я слышал: при неглубокой вспашке по пятьдесят – шестьдесят центнеров ржи получают! – обычно сдержанный, стеснительный Таряша уже почти кричал.

– Эк тебя разбирает! – удивился Гомбожап. – Надо в правлении вопрос поставить о присвоении медали неутомимому борцу и последователю ученого Мальцева... Впрочем, медаль у тебя есть... значит, орден...

– Не смешно! – оборвал его Таряша.

– Ты знаешь, – обратился Гомбожап к Цезарю, – наш механизатор всю агротехнику проштудировал, начиная аж с Вильямса, опыты мечтает проводить, а председатель с агрономом его поддерживать не хотят. Видать, не суждено нашей Хасуурите своего Мальцева иметь.

– Можно опыты проводить, – задумчиво сказал Цезарь. – Даже нужно.

– А, мы только болтать умеем, – отмахнулся Таряша, – а как до дела – сразу в кусты.

– А партийная организация ваша куда смотрит?

Таряша не успел ответить на вопрос, как из дому выскочили его ребятишки – сын с дочкой – подбежали с веселым смехом, но, заметив незнакомого Цезаря, притихли сразу, прижались к отцу.

– Вот видите: дядя Цезарь к нам в Хасууриту приехал, – Таряша ласково взъерошил волосы своего младшего, любимца, так и застывшего, обнявши отца за ногу.

– А дети у него есть? – застенчиво спросила девочка. – Мы будем вместе играть...

– Есть, есть, а как же! – Цезарь заулыбался, глядя на детей.

– А где они? – заинтересовался и мальчик.

– У дяди Ломбо, – ответил отец. – Ишь ты, все сразу узнать хотят!

– В дедушку своего пошли, знамо дело, – Гомбожап тоже попытался улыбнуться, но только страдальчески сморщился. – Не в тебя, ты дичком рос, только с тракторами разговаривать не стеснялся.

– А у дедушки командир сидит! – сообщила девочка. – На погонах звездочка такая большая!

– Он же майор! – закричал мальчишка. – Не знаешь! Эх ты, майора не знаешь! В армию не возьмут...

– Ну, ну, нехорошо сестру дразнить, – вмешался отец.

– Ничего я не дразню, она сама первая... А майор приехал шпиона ловить.

– Да ну? Шпиона, говоришь? – Гомбожап захохотал. – Где ж он тут у нас в деревне прячется?

– Он нашу корову украл... и быка у дяди Ломбо.

– Ты смотри-ка! – восхитился Гомбожап. – По части осведомленности этот малыш нас всех за пояс заткнет!

Взрослые посмеялись, мальчик оглядел их с удивлением – в деревне шпион орудует, что в этом смешного? – потом тоже расплылся в доверчивой улыбке.

– Пойдемте в дом, – пригласил Таряша приятелей.

– Да я как раз собирался, – Гомбожап несколько смущенно хмыкнул. – Может, думаю, у доктора найдется что-нибудь... для поправки. Голова трещит со вчерашнего.

– Да, тебе не помешало бы... поправиться. Раз и навсегда, – проворчал Таряша.

– Не учи ученого. Вчера на радостях принял: со старым дружкой встретиться довелось, с Дэбшэном. Сегодня вон Цезарь пожаловал. И это дело надо отметить. А как же? Мне для друзей ничего не жалко и себя не жалко...

– Ладно, пошли, – Таряша двинул к дому, Гомбожап за ним, но Цезарь остался на месте. – А ты чего? – обратился к нему Таряша, обернувшись.

– Потом как-нибудь... Я, собственно, поговорить с тобой хотел, да успеется...

– Вот и поговорим! – подхватил Гомбожап нетерпеливо. – А то еще когда случай приведет... Ты вообще-то к нам надолго?

– Да как сказать...

– А то б оставался насовсем, а? Выберем тебя председателем... А что? Кому-то надо родной колхоз поднимать – вот мы и взялись бы! Подумай, подумай над этим, серьезно подумай. Все ребята дельные на сторону уходят, честное слово!.. Значит, ты подумай, а я пошел на поправку, – и Гомбожап исчез за дверью.

– Правду говорит, – сказал Таряша задумчиво. – Надоело в хвосте плестись, вон и у Гомбожапа руки опустились. Неужели мы хуже других? За механизаторов могу сказать: вкалываем будь здоров. А вот чего-то не везет и не везет. Посевная, скажем, неплохо прошла – обязательно с уборкой до снега протянем. То техника хромает, простой за простоем, то с удобрениями какая-нибудь бестолковщина... Откровенно говоря, нет у нас хозяина настоящего. Знаешь, на скачках наездник неопытный догадаться не может, когда надо придержать повод, когда расслабить... ну, не в состоянии с конем справиться, тот и несется сам по себе, неуправляемый. Вот и мы так же... – Таряша внезапно умолк, сам на себя дивясь: чего это он, из которого обычно слова лишнего клещами не вытянешь, как жена жалуется, целую речь перед приезжим закатил? Но уж больно заинтересованно слушал его Цезарь, лицо сосредоточенное, ну прямо каждое слово ловит. Странно!

«Неужели слух уже прошел, что я к ним председателем рекомендован? – размышлял в свою очередь Цезарь. – Должно быть, так – иначе зачем мне все это говорить, нынешнее руководство хаять? – Цезарь взглянул в открытое простодушное лицо старого друга. – Нет, Таряша подхалимничать перед будущим начальством не станет, не такой человек... Просто наболело на душе – вот и... Действительно, развал у них тут...»

– А что, правду говорят, будто Дэбшэн свою физику бросил? – спросил он вдруг.

– Да, я от Гомбожапа слышал, но... не верится чего-то.

– Может, зайдем к нему?

– Зайти-то можно... – ответил Таряша нерешительно. – Только Дэбшэну я не указчик. Да и тебя он вряд ли послушает. Ты ж его знаешь!

– Знаю, знаю...

Он вспоминал ночную встречу и строго судил себя за какое-то дурацкое высокомерие. Тоже мне, начальник нашелся! Не поговорил по-человечески, не расспросил толком, что такое с его отцом случилось... Неужели давняя ревность вдруг наружу выплыла? Да ну, что было, то было и быльем поросло! Теперь ему с земляками работать, с людьми, которых он с детства знает – и про хорошее знает и про плохое – так что злопамятству воли давать нельзя. Широко надо жить, щедро, без оглядки, а не копаться в старых мелочах.

– Ну что, пошли? – прервал он затянувшееся молчание, которым, судя по всему, молчаливый Таряша не тяготился. – Все-таки друзья, может, помочь чем...

– Он давно от нас оторвался, – пробормотал Таряша и все-таки двинулся к калитке.

Уже подходя к дому Шаралдая, Цезарь спросил как-то вскользь:

– У вас корова, говорят, пропала?

– Пропала.

– Искали?

– Да я на поле с утра до ночи, а отец, видать, ждет, когда она сама вернется.

– А мои быка потеряли.

– Что за напасть? – удивился Таряша, уже поднимаясь на крыльцо, и добавил быстрым шепотом. – Смотри не вздумай наставления ему читать!

Цезарь в ответ только пожал плечами – «Что я, дурак, что ли?» – и рывком распахнул дверь. Все его сомнения и колебания исчезли; когда он брался за какое-то дело, то шел до конца, напролом. В самом решительном настроении он переступил порог и резко остановился, словно натолкнувшись на неожиданное препятствие.

Больной лежал на кровати, а с краю, как близкий человек, примостилась его сестрица. Именно так: Ханда, пребывавшая, по домашним сведениям, в Унсэгтэ со своими коровами, находилась почему-то здесь, в доме совершенно посторонних ей людей. А напротив на лавке, свесив руки между коленями сидел Дэбшэн. Что за чертовщина!

Брат и сестра встретились взглядами.

Он молча приказывал объяснить, что тут происходит, она упрямо наклонила голову, как бы требуя не вмешиваться в ее дела.

При виде брата Ханда в первую секунду обрадовалась, но тут же сердце замерло, точно у жаворонка, тень коршуна завидевшего. В полутемной комнате Цезарь, окаменевший у порога, очень походил на отца (он в самом деле вылитый Ломбо в молодости, по крайней мере внешне). Вот сейчас – в панике подумала Ханда – брат схватит ее за руку и потащит на улицу.

Однако Цезарь, вообще-то склонный к подобным порывам, давно приучил себя не распускаться, действовать хладнокровно и обдуманно, исходя из ситуации.

– Здравствуйте! – громко обратился он к присутствующим и приблизился к больному. – Как дела, дядя Шаралдай?

Цезарь давно не видел старика и сейчас был поражен: лицо изможденное, высохшее, маленькие сверкающие глазки беспокойно бегают, слегка подрагивает рыжая борода... Совсем сдал старик!

– Как дела! – проворчал Шаралдай. – А то сам не видишь...

– Почему же вы ночью в больницу не поехали? Я ведь машину прислал! – перебил Цезарь взволнованно, поддавшись жалости. – Может, сюда врача привезти? Только скажите, я сейчас же...

– Да знаю, знаю! – оборвал его вдруг Шаралдай. – Ты человек сильный, привыкший распоряжаться, ты все можешь, не чета моим сыночкам! Только мертвого воскресить и старого омолодить даже начальники не способны. В общем, не надо мне никакой помощи!

Цезарь, не ожидавший такого сурового приема – ведь от души помочь хотел! – даже растерялся. А Таряша за его спиной глаза вытаращил; чудит старик!

– Что ж, извините, – сказал Цезарь холодно и повернулся было к двери, но Шаралдай продолжал уже помягче:

– Не помогут мне никакие доктора, можешь ты понять? Мне сейчас никто не нужен... вот разве что она, – он взглянул на Ханду, – не побрезговала стариком. А доктор... не надо докторов, ничего не надо. Ступай себе с богом!

Чувствуя досаду брата, его обиду и растерянность, Ханда поднялась, подошла легко и быстро, прошептала:

– Не обижайся на старого человека. Лучше, правда, уходи!

– Пошли, пошли, – засуетился и Таряаша, подхватил приятеля под руку, и Цезарь, окинув сестру взглядом молниеносным и многозначительным – «Однако ответ ты передо мной будешь держать, никуда не денешься!» – вышел на крыльцо.

Какое-то время они постояли, помолчали, приходя в себя. Дверь скрипнула, появился Дэбшэн, сказал смущенно:

– Не обижайтесь, ребята. Он и со мной так... Старость, нервы...

– Да все понятно! – воскликнул Таряаша. – Чего ты перед нами-то извиняешься? Свои люди...

Дэбшэн не уходил, стоял рядом, словно ждал чего-то.

– Пойдем пройдемся? – перебил Цезарь, глядя куда-то вдаль, на ельник за околицей, и стараясь поскорее стряхнуть с себя тягостное ощущение: впервые в жизни его, можно сказать, почти выгнали из дому. – Ну, идем?

Дэбшэн не мог сейчас отказать ему и двинулся следом, удивляясь: зачем он вдруг Цезарю понадобился? Давным-давно годы и жизнь разделили их, кажется, напрочь. А вот отцы их, несомненно, чем-то связаны крепко. Не об этом ли Цезарь хочет поговорить, может, и приехал он неспроста? Неудобно все-таки: он сам ночью распустился, разорался, теперь вон отец... А человек, должно быть, действительно помочь хочет!

Таряаша, ничего не понимающий, но не любящий совать нос в чужие дела, хотел отстать незаметно, да Цезарь обернулся, взглянул требовательно – и недоумевающий Таряаша поплелся за приятелями.

Знакомый с детства ельник встретил их острой, пряной свежестью. Молоденькие елочки толпились на опушке, старые ели стояли угрюмой вечнозеленой стеной, а то разбегались, образуя просветы, прогалы, полянки, соединенные узкими тропками. По этим тропкам бегали они ребятишками, прятались в чащобе, играли в «войну»; на этих полянах – маленьких, величиной с основание юрты, или обширных, как деревенский двор, – строили крепости из камней; или с веселыми криками мчались окунуться в Харагуне.

Харагун – черная вода. Действительно, вода в речке прозрачно-черная, может быть, от теней деревьев, тесно растущих по берегам и склоняющих густые ветви над журчащим потоком; а может, оттого, что речное дно выложено темной блестящей галькой. Харагун берет начало из безымянного распадка в горах и устремляется прямо на восток, как бы намереваясь соединиться с Шарасуном (желтая вода – из Желтого распадка) возле самой Хасууриты, но вдруг круто поворачивает на юг, и там, далеко внизу, «черные» и «желтые» воды наконец сливаются.

Трое мужчин углубились в лес своего детства. Дэбшэн, задумавшись, только поеживался от сырости: дождевые брызги с еловых лап, задеваемых на ходу, падали на лицо, на рубашку.

Цезарь полной грудью вдыхал густой смолистый аромат, в памяти всплывали эпизоды лихих сражений с деревянными мечами, в которых он бывал неизменным главнокомандующим. М-да... в каких сражениях теперь ему придется участвовать? Руководить своими же односельчанами – это тебе не деревянной игрушкой в пылу и азарте размахивать... и мысли его потекли по привычному руслу.

А для Таряаши смолистый ельник был не просто лесом детства, он прожил здесь всю жизнь, и по извилистым тропинкам и светлым полянкам бегали в самозабвенной игре уже его дети. Таряаша отыскал глазами груды камней в сочной, еще не тронутой осенней ржавчиной траве: полуразрушенная крепость. Значит, ребята опять играли в «войну». Все

повторяется, повторяется их детство.

Сейчас, после дождя, в сумеречном ельнике с редкими просветами было пустынно и тихо. Они вышли на берег Харагуна и остановились. На прибрежном лужку – остатки костра: здесь вечерами собирается молодежь, и звонкие голоса разносят песню над черными водами. Все повторяется, повторяется их юность.

Однако высокий элегический настрой, навеянный воспоминаниями, был вскоре нарушен Таряшей.

– Говоришь им, говоришь – без толку, – проворчал он, пнув ногой консервную банку в траве возле костра; она с жалобным стоном ударилась о пустую бутылку. – Видали? Поганый мусор после гулянки остался...

– Да, это серьезно, – согласился Цезарь, разглядывая пепелище. – С подобными гулянками надо бороться беспощадно. На общем собрании поставить вопрос, чтоб весь колхоз знал своих «героев»!

– Да я сколько раз председателю говорил...

– Тут не говорить надо, а действовать....

Дэбшэн отключился, отошел от увлеченных разговором спутников, встал на самом краю каменистого речного обрыва, прислушался к гулкому журчанию пенящегося после дождя Харагуна. Долгими тревожными вечерами, бессонными ночами вспоминались эти места, и порой казалось: стоит приехать, поселиться где-нибудь в заброшенном шалаше на берегу, вздохнуть смолистый воздух, отмыться в черных прозрачных водах – и душа успокоится, и жизнь получит смысл.

Но спокойствия нет и на родных берегах. «Счастливики, – думал Дэбшэн, слыша, но не вслушиваясь в возбужденные голоса, – четко знают, чего хотят, и умеют своего добиваться...»

Откуда-то, из каких-то темных закоулков души, поднималось, росло чувство непонятной обиды – на кого? на что? – как тогда ночью в машине, когда он сорвался, накричал на незнакомого человека... Нет, так нельзя! Умом Дэбшэн понимал: если каждый примется давать волю дурному своему нраву (а в человеке и дурное и хорошее так сплетено и перемешано!), что будет с миром? В человеке должен быть внутренний стержень, не дающий распасться личности. А есть ли такой стержень в нем, в Дэбшэне? Вот сейчас, например, надо бы порадоваться за старых друзей, отдать должное их успехам и надеждам, а он злобствует и завидует... «Да что же это такое? – чуть не закричал он вслух. – Временами я сам себе противен!...»

Дэбшэн оглянулся на приятелей: оживленные лица, уверенные громкие голоса – хозяева земли. Что ж, это справедливо: они действительно неразрывно связаны с этой землей, а он... вечно сомневающийся, нерешительный и слабый, как былинка жалкая на ветру. Так на него, вероятно, смотрит Цезарь. В машине едва соизволил его узнать, в перебранке с шофером не поддержал, устранился. Зато потом проявил великодушие: машину прислал, зашел навестить больного... Вот кто настоящий хозяин жизни, а он, Дэбшэн, раздражаясь и завидуя, тем не менее послушно тащится за ним: в лес – так в лес, на речку – так на речку...

Цезарь вдруг быстро и ловко перешел на другой берег по перекинутым толстым гладким жердям.

«Не позвал, не оглянулся, – думал Дэбшэн, наблюдая за ним, – настолько уверен, что мы следом поспешим. И ведь поспешим! Сильный характер подчиняет себе невольно...»

Как бы в подтверждение его мыслей вслед за Цезарем легко перебежал по мосткам Таряша, легко и целеустремленно, словно по важному делу спешил, на какое-то срочное задание. И Дэбшэн не устоял, потащился на тот берег, скользя по мокрым жердям, раскачиваясь и размахивая руками. «Это тебе не по городским тротуарам расхаживать! Привыкай и терпи, – думал он с усмешкой, поднимаясь по скользкой тропинке, выходящей к бескрайнему пшеничному полю. – Два колхозных деятеля собрались на посевы поглядеть – и ты туда же! И зачем меня Цезарь с собой позвал? Для удовлетворения самолюбия своего? Ведь ясно, что никакого дела у него ко мне нет, он и внимания-то на меня не обращает...»

Пшеница, высокая, чуть не по грудь, клонилась под золотой тяжестью колосьев. Видать, она давно созрела и уже устала ждать человека. Под ослабевшим осенним солнцем, под низким небом хлестал несобранное добро студёный дождик, качал налитые колосья стылый ветер.

– Вот это да! – воскликнул Цезарь, окинув волнующееся под ветром пространство. – Небось всходы были хорошие, дружные.

Таряша глядел озабоченно, словно оглушенный вместе со своим полем, прибитый могучим ливнем, но уже поднимающийся постепенно, ждущий ласкающего слух, шуршащего шелеста сухих под солнцем колосьев, мерного гуденья идущих один за другим комбайнов, когда день от зари до зари заполнен благодатным трудом, а тело, послушное, гибкое, наливается великой силой.

– Центнеров по тридцать выйдет, однако, – сказал Цезарь, сорвал колосок, растер меж пальцами, сдул мякину и сосчитал зерна. – Двадцать семь – двадцать восемь, на худой конец... Такой бы урожай на всех землях получить!

Дэбшэн и сам на миг ощутил восторг перед этим золотым простором и жизнью, но в голосе Цезаря ему слышалась какая-то своя заинтересованность, та самая заинтересованность, что чувствовалась в споре Гомбожапа с Таряшей в вагончике. Восторг восторгом – а деловой подход, конкретная оценка отличают хозяина прежде всего. Казалось, Цезарь сейчас начнет прикидывать, сколько и каких удобрений надо внести, чтобы получить столько-то центнеров с гектара.

А Цезарь и впрямь подумал об удобрениях, ему-то известно, что в местном хозяйстве как раз с удобрениями дело обстоит неблагополучно. Всегда их не хватает, вывозят поздно, распределяют неравномерно. Вообще по многим показателям отсталый колхоз. Сколько дел его ждет впереди – и таких дел, которых одним махом не поправишь. Хорошо, если в течение года удастся организацию труда наладить и дисциплину подтянуть. И в первую очередь создать ядро, костяк из таких ребят, как Таряша, настоящих работников, заинтересованных в результатах своей работы. Да, пора приниматься за дело – и чем скорее, тем лучше!

Глядя на это поникшее под недавним дождем поле, Цезарь чувствовал, как он стосковался за последние дни по работе... Оказавшись не у дел, он обычно не знал, куда девать себя, становился занудливым и придирчивым, зато в работе времени не замечал, суток ему было мало...

– Сорняк проклятый всю душу вымотал, – пожаловался Таряша. – Здесь-то ничего, терпимо, а на других полях что творится! Заполучили мы два года назад одну новинку – вместо культиватора, корни у пырея подрезали, а он, поганец, еще больше разросся. Два года не пололи – теперь десяток лет будем мучиться.

– Странно, – задумчиво сказал Дэбшэн. – Тончайшие приборы изобретены, в космос люди вышли, а ведь не можем найти способ повышения урожайности в несколько раз. Должно быть, не один институт над этим работает, а толку?

– За столом что угодно можно придумать, а вот природа не терпит насильственного вмешательства, – отозвался Цезарь. – Наш директор встречался с одним селекционером – тот создал сорт озимой пшеницы, дающий около семидесяти центнеров с гектара. Здорово? Здорово, ничего не скажешь! А вот яровой сорт вывести никак не может, двадцать лет бьется...

Цезарь говорил назидательно, как с нерадивым учеником. А может быть, так казалось Дэбшэну, который его слова принимал на свой счет: ты, мол, норовишь, все по-крупному, с ходу, с маху переворот совершить, не выйдет, брат, не так-то легко приходят настоящие открытия.

– У селекционера этого оригинальные идеи. Он считает, например, что минеральные удобрения в конце концов истощают почву. Нельзя, говорит, таким способом принуждать землю родить, природа, дескать, сама обновляется и набирает необходимые ей силы.

– А что? Может, он прав, – загорелся Таряша. – Одна морока с этими удобрениями. Сколько денег тратится, я уж не говорю о времени. И как-то так у нас в колхозе получается, что никак вовремя не успеваем внести. Вот уж действительно, если можно было б без них

обходиться!

– У него не так уж много сторонников, можно сказать, даже мало – сами небось знаете, сколько внимания минеральной подкормке уделяется. Но он не отступает, на своем стоит. Крепкий мужик!

– Эх, сколько б возможностей открылось, кабы мужик этот свои яровой сорт вывел... Семьдесят центнеров – и в удобрениях не нуждается!.. Двадцать лет, говоришь, бьется?

– Не меньше.

«Двадцать лет!» – повторил мысленно Дэбшэн. Крепкий мужик. Да уж, немалую крепость и стойкость надо иметь, чтоб в течение двадцати лет каждую весну с надеждой сеять на опытном участке хлеб и видеть, как он, не успев созреть, замерзает осенью. Зерна, должно быть, крупные, колосья высокие – а с климатом не поспоришь, короткое у нас лето. Наверное, есть способы ускорить созревание, наверное, селекционер тот все перепробовал, но... будет ли качественным хлеб, выращенный в искусственные сроки с искусственной подкормкой? Вмешиваясь в ход природы, никогда не угадаешь, чем обернется это вмешательство... Тысячи вопросов, ловушек, путей – а верный результат один-единственный. Вот и он, Дэбшэн, так же начинал. Легко ли было? Сама теория об элементарных частицах еще в своих границах не определилась. Конечно, результаты многолетних опытов целого поколения ученых были налицо, важнейшие результаты. Как он верил, что на их основе можно заложить новую теорию «Великого объединения»! Можно, можно, но сам он шел ошибочным путем...

А, да что теперь вспоминать об этом, с прошлым покопчено. Он у себя на родине, рядом старые приятели – у них свои проблемы, прямо перед ним расстилается пшеничное поле, совершенно реальное (не какие-то там невидимые глазом частицы!), прибитое недавним ливнем... Вдруг закружилась голова, поле качнулось перед глазами, линия горизонта из горизонтальной чуть не стала вертикальной. Дэбшэн широко расставил ноги, стараясь удержаться на земле, – конечно, сутки ничего не ел! – слегка склонился, уставив взор на один покачивающийся перед лицом колосок, – так утопающий хватается за соломинку – и постепенно природное равновесие восстановилось, все вокруг обрело свою целостность и реальность: золотые колосья, мутные небеса, пасмурный ельник, птичий щебет, уверенный голос Цезаря.

– Из нашего совхоза можно лучшие сорта пшеницы привезти... и горох... Вообще надо заменять семена. Несколько специалистов и передовиков вроде тебя смогут приехать, поглядеть, как там у нас что... Мы тоже за опытом ездили.

– Сейчас уборка, не до опыта...

– Уборка, верно. А только хлеба ваши полягут окончательно, особенно вон за тем бугром, видишь?

– Да, еще один дождь – и не поднимутся. Намучаемся тогда.

– Так надо к комбайнам специальные приспособления сделать – для полеглих хлебов. Да теперь что рассуждать, раньше надо было думать. Прогнозы неутешительные: снег, говорят, в этом году рано выпадет. Успеете это поле убрать?

– Сейчас мы на восточном поле. Да погода – будь она неладна – подводит!

– С природой, конечно, не поспоришь. Но не в одной погоде дело! Организация труда в вашем колхозе – вот что подводит. Некоторым комбайнерам вашим свежей баранины отведать не терпится.

– Ты о чем?

– Да отец мой праздник сегодня затеял.

– Ну, сегодня какая ж работа...

– А я повторяю: и полеглие хлеба можно убирать, если с умом взяться за дело, – заключил Цезарь и пошел по тропинке вниз к Харагуну.

Дэбшэн шагал последним, чуть отстав от приятелей. Черные воды, ненадежная переправа, прибрежный лужок, зола, остатки обугленных поленьев... Костры его юности... «Красненький паренек вышел искать коня и не вернулся» – это загадка про вылетающую из огня, из пламени и дыма, искорку, сверкнувшую на мгновение и растаявшую в темном небе.



Казалось, он сливается с высокими мерцающими холодными звездами — так, будто красненький паренек попал на далекую звезду и остался там, замороженный ее нездешним сияньем. Да только ненужным он там оказался — вот и сказочке конец. А искра, что ж... искра, вспыхнув на миг жгучим огоньком, претерпевает, согласно закону сохранения веществ, ряд превращений, становится воздухом, крошечной, почти невидимой горстью пепла, землей, что родит хлеб...

— Вот я слушаю тебя, — донесся до него несколько смущенный голос Таряаши, — и мне кажется... ну, может быть, я ошибаюсь, но все-таки... Наш председатель давно на покой просится, да и пора. А тебя вон из совхоза в самый разгар уборки домой отпустили. Вот ты скажи: уж не рекомендован ли ты к нам председателем, а? Сдается мне, что так.

## 28

В Унсэгтэ, во втором большом летнике, стоял шум и разговоры.

— «..от чистого сердца приглашаем вас на пир...» — с выражением читала жена Гомбо Эржэни, держа в руке открытку. — Гляди-ка, от чистого сердца... Чтой-то не верится, чтоб Ломбо с Дулсамой... в страшном сне они нас у себя в доме видали.

— А что парнишка сказал, ну, который открытку привез? — поинтересовалась Гунсэма, подметавшая пол. — Ты с ним разговаривала, Дэжэд?

— Чего он знает! Вручил открытку, вас всех ждут, говорит, и мужья, мол, в курсе. Значит, мой Таряаша в курсе.

— Раз ваши мужья в курсе, вы втроем с Эржэни и Будаали и поезжайте, а мы тут...

— «Поезжайте!» А вечернюю дойку кто за нас проведет? Там в два только начнут... — Дэжэд говорила, а в руках проворно мелькали спицы: будут ребятишкам варежки к зиме.

— Справимся без вас. Поезжайте, раз зовут, повеселитесь.

— Да не верю я! — отрезала Будаали, восседавшая на кровати величаво и мощно, казалось, доски под ее тяжестью прогибаются. — В честь чего этот пир, а?

— Да не написано... сказано: «от чистого сердца приглашаем вас на пир...»

— Да когда это хасууритинцы у Ломбо угощались? — гудела Будаали. — Он только приезжих кормит-поит, дамы и господа у него бывают — не нам чета.

— Может, кто над нами шутку сыграть хочет? — подхватила Эржэни. — Не шибко грамотный человек открытку-то писал... тут зачеркнуто, вон сверху подписано, буквы корявые, разбегаются, будто пьяные!.. Слушайте, уж не Гомбожап наш дурака валяет? Он в последнее время...

— Не возводи напраслину! — перебила Будаали. — Завфермой наш — мужик неплохой, а что зашибать стал, так жену потерять — легко ли? Ничего, женится — бросит, не пьяница же он, в самом деле, — она выразительно поглядела на Мэдэгму и спросила. — А тебе Ханда ничего не говорила насчет праздника-то этого?

— А почему она должна мне говорить? Меня никто не приглашал.

Доярки поглядели на Мэдэгму, переглянулись между собой, Дэжэд спросила осторожно:

— Что-то как будто черная кошка меж вами пробежала, а? Вроде женихов вам не делить, у одной от молодых нет отбоя, у другой — от старых...

— Может, и есть что делить! — оборвала ее Мэдэгма резко. — Только не твое это дело.

— Да я пошутила, — начала Дэжэд примирительно, но Эржэни не дала ей договорить:

— Вы заметили, что Ханда это время сама не своя? Только на дойку и является, а так все в деревне пропадает! Уж не собралась ли замуж? Может, Ломбо как раз сватов принимает?

— Очень даже может быть! — поддержала ее Гунсэма, кончившая мести комнату. — Она девка бойкая, не засидится, не то что мы с Мэдэгмой...

— Все мы дуры, как до мужиков дело доходит! — махнула рукой Будаали.— Выскакиваем замуж сгоряча, по молодости, а потом горюй, не горюй...

— О чем это ты, подруженька, горюешь? — вкрадчиво обратилась Эржэни к Будаали. — Давай меняться: отдаю Гомбо своего за Данзана, а? Соглашайся скорей, а то передумаю...

— Э, менять шило на мыло!

— Не скажи! Гомбо мой по сравнению с твоим — мужик видный. Что Данзан? Росточком не вышел.

— Уж какой есть! — отрезала Будаали.— Зато меня ни на кого не променяет.

— Это точно! Посмел бы он — ты б ему показала, где раки зимуют!

Женщины засмеялись.

— Маленькие — они самые шустрые!

— Гомбо твой хоть и высокий, зато Данзан работник стоящий!

— Оба они работники! Вон детей наработали...

— Нечего ржать, на себя лучше оглянитесь! — сердито крикнула Будаали. — Одно слово — бабё! Все на свете прохочете. Надо вон на зимник ехать да коровники чистить, зима на носу, а Гомбожапа где-то черти носят!

— До зимы можно умереть успеть и снова воскреснуть!— воскликнула Дэжэд и спрятала вязанье в шкатулку. — Ну, что? — она перевела взгляд с Эржэни на Будаали. — Повеселимся сегодня? Гунсэма, вы точно тут без нас управитесь?

— Управимся, управимся, не впервой. Ты тоже не однажды за меня доила. Поезжайте!

— Ну, бабоньки! — Дэжэд вскочила проворно и прошлась, пританцовывая, по комнате. — Зимник мы мигом подготовим, дай только взяться! И побелим и вычистим... А сегодня... ох!., плясать охота! Я уж и не помню, когда плясала. Праздник доярок в этом году не справляли? Не справляли!

— Не справляли! — подтвердила Эржэни и, подбоченясь, бойко двинулась навстречу Дэжэд, будто собралась пуститься в пляс. — Споем, станцуем так, чтоб все суставчики заиграли, чтоб хрипота в горле послышалась. Дождались случая — так и поспразднуем!

— Где наша не пропадала! — подхватила Дэжэд.— Если Ломбо настоящего пира не устроит — сами праздник организуем.

— А я никак не верю,— продолжала сомневаться Будаали. — Чтоб Ломбо добровольно с копеечкой расстался...

— Чего в жизни не случается! — Дэжэд так круто развернулась, воображая себя в хороводе, что подол платья задрался.— Может, ради дочки? Не каждый день дочь замуж выдают! А может, ему надоело деньги копить, хочет с народом породниться? А что? Мы тут будем сиднем сидеть, а мужья наши веселиться? Не бывать этому!

— Не бывать! Что мы, хуже их, что ли? Угостимся на славу,— Эржэни широко раскинула руки и слегка бедрами покачивала, будто от одних слов уже захмелела.— Знай наших! Пусть Ломбо ахнет от удивления и свою молодость вспомнит, сам спляшет...

— Да ты и мертвого в пляс поднимешь,— проворчала Будаали.— Десяток родила, а все туда же...

— Кто? Я? А ты меня в молодости не помнишь? Эх, бывало, на ёхоре от парней отбою не было, а я все на своего Гомбо не нагляжусь... вот теперь век и гляжу на ненаглядного...

Смех и шуточки не умолкали. Все развеселились — и кто на пир к Ломбо собирался, и кто оставался на вечернюю дойку... Одна Мэдэгма не участвовала в общем веселье, грустная сидела в сторонке; словно давно надоевший скучный спектакль перед нею разыгрывался. Чему радуются? На какой-то дурацкий праздник бежать готовы... Она, конечно, понимала,

что несправедлива к своим подружкам — тяжелый труд, хозяйство, семья, дети — редкий случай выпадал им повеселиться. И вдруг — приезд Цезаря (да, да, парнишка, привезший эту дурацкую открытку, так и сказал: «К дяде Ломбо сын приехал»). Может, в честь приезда сына и праздник устраивается?... А, да ей-то какое до всего до этого дело! Как приехал — так и уедет. Вот и ей уехать бы отсюда, чтоб никого не видеть... ни бывшего мужа, ни бывшего возлюбленного, ни Гомбожапа... как там Будаали намекала насчет завфермой и многозначительно на нее поглядывала.... Но особенно задели ее слова Дэжэд, что женихов им с Хандой делить нечего... Ох, бабьи языки!..

— Ой, не успела я платье из панбархата сшить, — тараторила Дэжэд, — материал лежит купленный — теперь на Мэдэгму надежда. Сошьешь?

— Сошью.

Доярки подхватили вразнобой.

— Да, если б не Мэдэгма...

— Она всегда выручит...

— Дай ей бог здоровья...

— Ладно, так и быть, надену блузку розовую из крепдешина и черную юбку, — продолжала Дэжэд делиться планами. — У нас с Будаали выбор небогат, обе толстые... Вот если б я была стройненькая, как Мэдэгма, я б себе платье в сборку сшила бы, пышное...

— Ты и так хоть куда, не прибедняйся...

— Мы все еще хоть куда...

— Пускай сегодня мужики наши на празднике поглядят...

— Да не верю я ни в какой праздник, — густой, почти мужской голос Будаали затушил женский щебет. — От Ломбо ждать...

— Давай поспорим! — Дэжэд подскочила к кровати, на которой продолжала восседать Будаали. — Будет праздник! Ну, спорим? Если проиграешь, завтра с утра моих коров подоишь, а я дома с Таряшей останусь хоть на одну ночьку...

— У тебя одно на уме! Отстань! — запротестовала Будаали, размахивая руками; улучив момент, Дэжэд схватила ее за руку, а подскочившая к ним Эржэни, хлопнув ребром ладони, развела их рукопожатье и закричала:

— Всё! Спор! Все свидетели! Эх, как отведаем шампанского...

— Будет тебе Ломбо на шампанское разоряться, — проворчала Будаали.

— А я говорю — шампанское! Послушаем речи тамады — интересно, кого Ломбо выберет? — песни архидашинов подхватим, а потом в круг молодежи пустимся плясать и тункинский, и аларский, и старинный и современный ёхор, и осоухай, и айдусай...

— Ишь, размечталась! — перебила ее Будаали. — Ладно, коли ехать — так ехать. Собираться пора.

— Значит, едешь?

— Разве от вас отвяжешься? Поеду, погляжу, чего от Ломбо ожидать можно.

Тотчас на плиту был поставлен утюг, огромный, старинный — в Унсэгтэ электричества не было, — на стол постелено байковое одеяло. Конечно, можно переодеться дома, в деревне, но у каждой женщины нашлись в чемодане прихваченные так, на всякий

случай, нарядные вещи: и платья, и кофточки, и туфли, и чулки прозрачные. Одним словом, в Хасууриту решили явиться во всей красе — и через час всех троих было не узнать. Запрягли лошадку, свежего сенца положили в телегу — чтоб, не дай бог, не испачкаться, не измять заветные наряды — сели, перебрасываясь шуточками с остающимися доярками, столпившимися на крыльце... Дэжэд вдруг увидела Мэдэгму, подходившую к своему

маленькому летнику, — поникшую, усталую, с лицом таким несчастным, что мгновенная жалость подступила к сердцу.

— Эй, погодите минутку! — крикнула Дэжэд и спрыгнула с телеги. — Я сейчас.

Она подбежала к Мэдэгме и остановилась, не зная, что сказать, как утешить, но смутно чувствуя, что подруга нуждается в утешении.

— Слушай! Поезжай вместо меня, а? Я твоих коров подою, а ты погуляешь.

— Ты что, с ума сошла?

— А что? Там вся деревня будет. С Цезарем что было, то сплыло... уж и не вспомнит никто...

— Нечего мне там делать.

— Ну и здесь киснуть тоже не дело!

— Ладно, беги, тебя ждут.

— Я вернусь скоро, все новости привезу. Про Дэбшэна...

— Про кого?

— Ведь он вечером к тебе приходил, а? Чего уж тут скрывать...

— Приходил, но... это уже не имеет значения.

— Эх, я б на твоём месте всем бы им показала. Дуры мы дуры, правду Будаали говорит, все жалеём их да страдаём, а они...

— Ну, беги, беги... повеселись до утра...

— Ладно, голубушка моя, не расстраивайся, — Дэжэд крепко обняла подругу, прижалась щекой к щеке. — Ты и сейчас в деревне краше всех, так и знай. Вон Гомбожап как по тебе сохнет, я ж вижу!

Дэжэд звонко чмокнула подругу в щеку и побежала к телеге, откуда ее нетерпеливо звали. Жалко, конечно, Мэдэгму — да разве в таких делах сможешь? В конце концов, от нее самой зависит с одиночеством своим покончить, вниманием не обижена, грех жаловаться...

Возбужденные гости укатили на праздник, в Ун-сэгтэ наступила тишина. Мэдэгма помыла полы в своем домике, пыль протерла, прибралась, надеясь в хозяйственных хлопотах как-то забыться, утешить тоску... Тоска не проходила. Она вышла на крыльцо, постояла, не зная, куда деть себя.

Серенький хмурый денек соответствовал настроению, стало еще тяжелее, еще бесприютнее. С шумом налетели вороны и сороки, покружили над летниками, рассыпались, вновь собрались в гомонящую стайку. Безостановочное воронье карканье и сорочье стрекотанье напомнили недавние шумные сборы женщин — суету и шуточные перебранки — на неожиданный-негаданный пир. Наконец воронье отделилось и неторопливо, не переставая каркать, унеслось по направлению к березовой роще. Остались три сороки, они опустились на жерди загона и принялись неистово стрекотать, перебивая друг друга и встряхивая длинными хвостами. Мэдэгме вспомнились слова матери, что сороки-белобоки, дескать, гомонят неспроста, обязательно жди какой-нибудь нечаянной вести. Сколько «нечаянных вестей» услышала она за эти дни, неужто еще что-то ждет ее?

Вдруг одна птица взметнулась ввысь, покружила над избушкой, где молоко принимают, уселась на трубу, сзывая остальных. Те присоединились, посоветовались о чем-то втроем и, издав последний дружный крик — словно бы последнее предупреждение следящей за ними Мэдэгме, — сорвались с места и вскоре скрылись в березняке.

Мэдэгма проводила птиц взглядом, усмехнулась суеверным своим предчувствиям, однако тревога не проходила, напротив, она как будто усилилась.

Из соседнего летника вышла Гунсэма с ведром, остановилась, заметив Мэдэгму на

крыльце. — Чего грустишь в одиночестве? Пойдем к нам! — Да нет, я... да я не грущу, а так... настроение какое-то... — пробормотала Мэдэгма. — Какие-то вы с Хандой чудные стали, — Гунсэма подошла поближе — Что случилось-то? — Ничего... правда, ничего, — Мэдэгма помолчала и вдруг неожиданно для самой себя попросила: — Слушай, Гунсэма, ты не подоишь вечером моих коров, а? — На пир к Ломбо собралась? — Нет, — она и сама не знала, зачем пойдет в деревню; словно посторонняя какая-то сила гнала ее. — Нет, не на праздник, просто мне в Хасууриту нужно. — Подою, конечно, — ответила Гунсэма, вглядываясь в отсутствующее лицо Мэдэгмы. — Не беспокойся. Только на чем поедешь? Лошадь...

— Пешком доберусь.

И уже через несколько минут она торопливо шагала по обочине дороги, ведущей в Хасууриту. Смешанный лес с обеих сторон подступал к проселку: в мрачноватой массе елей и еще по-летнему зеленеющих лиственниц — нежное кружево берез, кое-где местами начинающих желтеть. Должно быть, сказывается ночная прохлада, спускающаяся с северных гольцов. Пестрые подпалины, яркие пятна в монолитной тяжелой зелени — как намеки, предчувствие золотого увядания. Скоро, скоро подуют упорные осенние ветры, срывая с ветвей невесомую дрожащую листву.

Покружившись в стылом воздухе, листья упадут в пожухлую траву, сплошным ковром покроют ее, чтобы в конце концов сгнить, смешаться с землей, стать землей, на которую придет новая весна. Вот и сейчас трава пестрит первыми, в недавний ливень опавшими листьями. Изредка сорвется один и падает медленно, бесшумно. Грустно.

Мэдэгма шла под березами, замедлив шаг, вдыхая пронзительную горьковатую свежесть. На середине пути и вовсе остановилась. Зачем она идет в деревню? Что ждет ее там? Может быть, пока не поздно, повернуть назад?

Грустная, тихая, вошла она в Хасууригу.

Дом у Мэдэгмы маленький, неказистый, подслеповатый, словно задремавшая древняя старушка.

Уезжая на летник, она забивает ставни досками. Сегодня надо открыть окна, проветрить дом, печь протопить, чтоб избавиться от нежилой знобкой сырости.

Когда мать была жива, каким уютным казался домик, каким приветливым... Вот она, жизнь одинокой женщины! Мэдэгма вздохнула, подходя к калитке, окинула взглядом широкие светлые окна соседских домов, высокие шиферные крыши. Вон у Ломбо карнизы, выкрашенные в голубой цвет, ослепительно белые наличники, сквозь чистые блестящие стекла зеленеют, краснеют, розовеют комнатные цветы.

А вон там, подальше, запущенный домик, совсем как у нее, тоскливо смотрит на мир черными стеклянными провалами окон. Там живет семья Гомбожапа. Кажется, недавно белоснежные занавески виднелись в окошках и цветы, побелены были ставни и карнизы. А теперь... После смерти жены все пришло в запустенье — и сам Гомбожап, и его хозяйство...

Мэдэгма стояла возле изгороди и как будто заново видела родную улицу — отчужденно, со стороны. Новый взгляд всегда появляется после разлуки, но отчуждение тотчас проходит в хлопотах, в повседневном быте, однако сегодня она явно чувствовала себя не в своей колее.

Неожиданно послышался шум и в конце улицы появился незнакомый мальчуган лет четырех-пяти.

Он бежал вроде прямо к ней, плача и спотыкаясь. За ним скачками неся ее Чингис с пучком крапивы в руке, догнал, словно ястреб, настигающий воробышка, и повалил на землю в грязь возле канавы. Не успела оцепеневшая Мэдэгма подать голос, шевельнуться, как ее сынок спустил с мальчугана штаны и принялся стегать по голой беззащитной попке.

Мальчуган извивался и заходился в плаче.

Мэдэгма наконец опомнилась, повесила сумку на кол изгороди, бросилась к детям и, рванув сына за шиворот, оттащила в сторонку. Внезапно возле них появилась высокая тонкая женщина и подхватила на руки катавшегося по земле мальчугана.

Мэдэгма, возмущенная до глубины души, размахнулась, чтобы отвесить Чингису хороший шлепок — и вдруг замерла под взглядом побледневшей от гнева незнакомки.

— Отвратительный мальчишка! — крикнула та вздрагивающим голосом почему-то по-русски.

И тотчас их окружили: с гиканьем и улюлюканьем налетела ребячья толпа. Очевидно, ребята гнались за опередившим их Чингисом с его жертвой! — и теперь с откровенным нетерпеливым любопытством, разинув рты, выпучив глаза, вытянув шеи — ожидали развязки. Были тут представлены разные возрасты: от малыша с соской-пустышкой, позже всех приковылявшего к месту происшествия, до ребят постарше Чингиса.

Те, что пошустрее, взгромоздились на изгородь — среди них и внук Шаралдая Баяр, находившийся в самом развеселом настроении. Еще бы! Чингиска всегда дразнится и задирается, и вот сегодня он, Баяр, наконец здорово отомстил. И мамыши как раз вовремя встряли, чтоб Чингиске всыпать как следует. Он сколько раз хвастался, будто никогда не заплачет, — поглядим, поглядим... А может, мамыши между собой сцепятся? Тоже интересно.

— Ты зачем дерешься? — глухо спросила Мэдэгма, отпустив сына, которого держала за ворот рубашки. — Скажи, зачем?

Мэдэгме было стыдно перед незнакомой женщиной, перед которой они с сыном так опозорились. Она избегала ее взгляда и в то же время глаз отвести не могла от незнакомки. Откуда она взялась? Неужели?.. Городская женщина, не ей чета, в длинном шелковом халате, белые нежные пальцы, маникюр, волосы уложены волнами, лицо подкрашено, и не коровьим навозом от нее пахнет, а дорогими духами. Она держала на руках мальчика, слегка изогнувшись от тяжести, поглаживая по голове, и не сводила гневных глаз с Мэдэгмы. Та повторила беспомощно:

— Что тебе сделал этот мальчик? Он же младше тебя! Ну скажи!

А Чингис озирался исподлобья, будто хорек, попавший в капкан, и упорно, стиснув зубы, молчал.

— Они из-за Баяра! Это он Чингиса дразнил! — дочка Таряши вышла вперед, указывая пальцем на Баяра. — Он говорил, что отец Чингиса бросил и другого сыночка себе завел, получше... вот этого вот!..

Женщины вспыхнули разом, обменявшись мгновенными, как молния, взглядами. Обе знали в глубине души, что придется им столкнуться когда-нибудь... но ведь не так же, не в такой же обстановке...

«Что ж, помоложе нашел, получше меня», — подумала Мэдэгма, меж тем как Соня будто испугалась чего-то. Вот она какая — первая жена Цезаря! Соне давно хотелось посмотреть на нее, да приезжали они в Хасууриту всегда ненадолго и летом, когда доярки на летних пастбищах находятся. Ничего не скажешь, красивая! Ей, Соне, с этой женщиной не сравниться, хоть в лепешку расшибись... И сынок — вылитый Цезарь, особенно сейчас... сердито сопит, глядит исподлобья, руки в кулачки сжаты.

Соня изо всех сил прижала к себе Игора, тот поглядел на мать с удивлением и вдруг затих, перестал плакать, будто почуял ее невыразимую тревогу. Она повернулась круто и с сыном на руках медленно пошла к дому. В голове вихрем проносились мысли и ощущения,

укладываясь в стройную, как ей казалось, правдоподобную картину. Опасная женщина! Очень опасная. С каким вызовом взглянула она на нее и сверкнули черные бездонные глаза.. Теперь понятно, почему Цезарь, как только развелся с ней, сразу уехал из Хасууриты: надеялся забыть, разлюбить. Видно, не смог. Иначе, почему он так отчаянно отказывался вернуться на родину, а с тех пор, как согласился, просто места себе не находит? Теперь все понятно. Он боится. Этой женщины, встречи с ней, боится, что не выдержит, вновь поддастся старому чувству.

А ведь ясно, что теперь они, волей-неволей, будут часто встречаться, никуда от этого в деревне не денешься... на всякие совещания вместе ездить... она, конечно, тут в передовиках идет, сразу видно...

— Я ему тоже выдам... вот только вырасту, правда, мама? — прямо ей в ухо прошептал Игорь еще вздрагивающим от недавних слез голосом.

— Да, да, сынок... вот вырастешь, ты у меня храбрый... — пробормотала она и подошла к калитке, возле которой стояли свекор с Гомбо.

Они с самого начала, услышав шум на улице, заинтересованно следили за происходящим. Ломбо не мог не высказаться:

— Прямо настоящий Чингис! Это ведь я ему имя дал, — говорил он, то ли с восхищением, то ли с угрозой глядя на старшего внука. — Настоящий разбойник, честное слово! Ты посмотри, глазенки сверкают...

— Ничего страшного, если старший братишка младшего поучит, — засмеялся Гомбо. — Крепче будет. Вырастет — тоже никому спуска не даст!

— Красивых женщин Цезарь берет, — подала голос Дулма, вытягивая шею, чтоб лучше видеть. — Красивых баб он обнимает, ничего не скажешь.

— Это да, — одобрительно согласился Гомбо.

— Ишь, как друг на друга вытаращились! Трудно сказать, какая краше...

## 29

На правой половине дома Ломбо уже поставлены были в два длинных ряда столы. Их накрыли скатертями с изображением цветов и фруктов — скатертями, специально хранящимися для особо торжественных случаев (хозяин посчитал, что как раз такой случай подошел). На столах блистает, переливается хрусталь, фарфор, стекло — рюмки и тарелки, блюдечки, блюда самых различных форм, с разной снедью: жареной и копченой, соленой и вяленой, магазинной и местной речной рыбой, холодным, тонко нарезанным мясом, корейкой, салом, редкой в Хасуурите колбасой. В маленьких блюдечках отсвечивает оранжевым бисером кетовая икра. Жарко горят, источая сок, спелые помидоры, нежной зеленью радуют глаз огурцы и мелко рубленая свежая капуста. В глубоких мисках — салат из картошки, яиц и гороха, заправленный сливками. Множество молочных продуктов, начиная с сушеных пенек, кончая мягкой, со слезой брынзой. Компоты из всевозможных фруктов разлиты по глиняным кувшинам и прозрачным графинчикам. Среди пышного земнородного изобилия там и сям возвышаются бутылки с белым и красным вином и водкой. Ближе к тому концу стола, где хозяин собирается посадить самых почетных гостей, стоят коньяк и шампанское.

Однако не только самые почетные, но и просто гости не спешат. В чем дело? Ломбо поглядывает на часы, снует по комнатам, мешая накрывать на стол, выходит из дому,

оглядывает торопливым взглядом двор, мысленно подсчитывает пришедших — одни покуряют, собравшись в кучку, другие сидят на ступеньках крыльца, на поленице дров у сарая... Плохо, плохо собирается народ, а главное — нет тех, ради которых и затеялся весь сыр-бор. И Цезарь как сквозь землю провалился!

Под навесом суетятся соседские женщины с Дулмой во главе. Сама хозяйка, Дулсама, как главнокомандующий, осуществляет общую стратегию: принимает готовые блюда и накрывает стол. Уже сварена в семимерных котлах баранина, готов бурятский чай с молоком. Соседки снимают пробу, гремят посудой, нетерпеливо посматривают в сторону дома, ждут, словно занявшие боевые позиции войско, команды «Вперед!».

Но Ломбо, выйдя на крыльцо, помалкивает.

«В чем же дело? Приглашения разосланы, нарочно не идут, что ли? — лихорадочно размышляет он. — Ладно, майор под вопросом, тут дело тонкое, деликатное... Но ведь и свои, деревенские, не все собрались. Например, Данзан, Арбаандайев сын, сегодня дома — это точно. И Будаали его из Унсэгтэ приехала, сам видел, как с телеги слезала. Ну и чего они тянут? Пренебрегают моим застольем! Вроде не ссорились никогда... Или сам Арбаандай зло на меня держал и сыну завещал? Вообще-то непохоже на него, но...»

И вот Ломбо, нервно снующий взад-вперед, принялся давно прошедшее ворошить, будто других дел сегодня нету... А ведь была у него склока с Арбаандаем, была, как раз в ту осень Арбаандай на сеялке работал.

Ломбо суетился среди помощников и приглашенных, а в голове все вертелись далекие, пятидесятые. Он тогда полеводческую бригаду возглавлял и передовика одного, на всю республику известного, на соревнование вызвал. Ну, конечно, Ломбо вовсю старался. Еще бы! Такого знатного хлебороба переплюнуть: тут тебе и почет и слава... Навоз загодя начал вывозить в поля — и в зимнюю стужу и по весне, когда снег растаял. Сани да телега: тракторов и машин тогда мало было. Для большей уверенности Ломбо предложил не сто килограммов семян на гектар высевать, как по норме следовало, а двести семьдесят. Но тогдашний председатель боялся, как бы всходы сами себя не заглушили. Дело до райкома дошло, и решили его в пользу Ломбо. Однако председатель, как впоследствии выяснилось, с Арбаандаем сговорился и дал приказ переключить сеялки — на малую норму посева. Соответственно и урожай был получен хоть и неплохой, но обычный. Не удалось Ломбо никого переплюнуть, а с Арбаандаем он вдрызг разругался, на всю жизнь...

Даже сейчас, при одном воспоминании, как его тогда провели, Ломбо взволновался, но почти тотчас же опомнился, удивился даже. «Это ж надо, какая чепуха лезет в голову! На покойника озлился, который давным-давно уж прах и тлен. Интересно, я один такой злопамятный? — он обвел растерянным взглядом двор, где в затянувшемся ожидании прохлаждались гости. — Или... или каждый тут и про меня всякую мелочь помнит: кого я когда обидел, обманул?... — ему стало не по себе. — Неужто помнят? А почему бы нет? Я-то помню... — Ломбо спустился с крыльца, подошел к одной группе односельчан, к другой, вглядываясь в лица, пораженный неожиданной мыслью. — Это что ж получается? Вот здесь, в родной моей деревне, в моем доме собрались... мои враги?... Не выдумывай!» — резко оборвал он себя, пусто и холодно стало на душе, серенький денек, казалось, совсем померк.

Вот уж не вовремя вспомнился Арбаандай злосчастный! Не в нем же дело, не в его сыне — не хочет: обойдемся! — а вот почему доктор Аюша с майором не идут — вот в чем вопрос. И Гомбожапа нет, и Цезарь где-то ходит-бродит!

Скрипнула калитка, Ломбо обернулся, напрягся, но во двор вошла всего лишь доярка Дэжэд. Одна, без Таряши.



— Здравствуйте, дядя Ломбо! — крикнула она, подходя. — Говорят, Цезарь приехал? Где ж он? (именно этот вопрос, ответить на который Ломбо затруднялся, и задавал ему каждый пришедший). — Тыщу лет не видела!

— Сейчас подойдет...

— А внуки где?

— В доме.

Дэжэд «наконец отвязалась» (как выразился хозяин про себя) и прошла в дом, где, соблюдая обычай, поручкалась с Соней и вручила ребятишкам конфеты и пряники.

— Надолго к нам? — завела Дэжэд любезный разговор, дивясь мысленно на неприступный, холодный вид Ломбовой невестки («Ишь, городская, строит из себя!»).

— Не знаю... — ответила Соня рассеянно, но тут же поправилась, встряхнулась, заулыбалась. — Может, и насовсем. Все от Цезаря зависит.

— Насовсем? — протянула Дэжэд. — Вот как?.. Боюсь, как бы в Хасуурите нашей вы не соскучились.

— Ну что вы... здесь так хорошо, — возразила Соня неискренне.

— И вправду! — Дэжэд рассмеялась бойко. — Раз с такого праздника жизнь у нас начинается, значит, и дальше дело весело пойдет!

Соню в Хасуурите знали мало, можно сказать, совсем не знали, и по деревенской неискоренимой привычке доярка, ведя разговор, разглядывала ее откровенно и пристально. Соня, улыбаясь и поддакивая, ощущала на себе этот изучающий взгляд почти болезненно: ей, еще не отошедшей от давешней сцены, казалось, будто гостя сравнивает ее с Мэдэгмой. «И сравнение, должно быть, не в мою пользу, — решила она с грустью. — Наверняка белоручкой городской меня считает. А ведь Дэжэд эту я помню, встречала раза два в позапрошлом... нет, три года назад. И какой славной она мне тогда показалась, доброй, а теперь вот...»

Между тем Гомбо — главный помощник, замотавшийся у котлов, истомленный ожиданием, не выдержал и подошел к хозяину.

— Все готово, — солидно сообщил он. — Можно за стол садиться, а то мы так до темноты до самой проваландаемся.

— Да, да, сейчас... — пробормотал Ломбо и пошел к калитке: в последний раз взглянуть, не идут ли самые почетные гости. И главное — Цезарь. Ну как приезд сына без сына праздновать? С другой стороны, у приглашенных терпение может лопнуть...

Подошел к калитке — и замер. Прямо посередине улицы направлялась сюда долгожданная тройка: майор, доктор Аюша и Гомбожап. Ломбо уже хотел калитку, перед гостями настужь распахнуть да замешкался: не слишком ли много чести будет? Вовремя замешкался: все трое в полном молчании и даже как-то торжественно прошествовали по улице дальше, миновали калитку, забор... Куда ж их черт несет?.. Ломбо аж затрясло от гнева и сознания полной своей беспомощности. Ах, так, значит! Пренебрегают? К Шаралдаю демонстративно поперлись? И доченька, кобылка упрямая, там сидит... Все против него! Ладно, ладно, пожалеют еще...

Ломбо быстрым шагом пересек двор, на крыльцо взошел и радушно обратился к присутствующим:

— Дорогие гости! Соседи и родичи! Пожалуйста к скромному моему столу!

Все зашевелились, задвигались, однако сегодняшний день для хозяина был явно злополучным. На крыльцо выскочила Дулсама и брякнула громогласно:

— Погоди, сына-то нет!

— Кто должен прийти, тот придет! — отрезал Ломбо, метнув на жену убийственный взгляд... — Милости прошу, друзья дорогие, отведайте моего скромного угощения. Проходите, проходите!

Но Дулсаму не так-то легко было унять.

— Да как же без сына начинать-то? — упрямо гнула она свою линию.

Народ мешкал, глядя то на хозяина, то на хозяйку. Что-то такое носилось в воздухе, неопределенное, но тревожное, неблагоприятное... Странный пир! Того и жди, все переругаются. Гости переглядывались нерешительно.

— Ну! Чего встали? Хозяин приглашает! — подал голос на правах главного помощника Гомбо.— Нечего кобениться, коли зовут. Угощение царское, я ручаюсь!

— Может, дождаться Цезаря-то? — спросил кто-то в сомнении.

Толпа загудела одобрительно. Никто на крыльцо подниматься первым не хотел, на все село ославят: как же, разбежались на царское угощение.

— Подождем!

— Успеется еще!

— Пусть сын придет!

Ломбо, чтобы полностью овладеть собой, закурил, поглядывая на односельчан с привычной снисходительностью. Он и сам был не прочь подождать. Кого? Гостей более достойных, стоящих?.. Вот этих трех, что его приглашением пренебрегли только что?.. Ну нет, пора начинать. Но... но шампанское да коньяк стоит приберечь, на всякий случай.

— Может, правда, Цезаряждемся? — спросил

Гомбо с угасающим энтузиазмом, искренне не понимая, чего хозяин тянет.

— Говорю же: проходите! — отозвался Ломбо вроде бы с неудовольствием: сколько, дескать, можно повторять? — повернулся и шагнул через порог.

И все разом, стараясь преодолеть эту странную заминку, потянулись за ним, нарочито громко заговорили, засмеялись. И приблизившись к праздничному столу, принялись торговаться да перешептываться. То и дело слышалось: «Вон туда иди!» — «Не, я здесь, с краюшку». — «Я здесь, возле двери...» — «Ну, старикам поближе к хозяину!» — «Ни-ни, а вылезать потом как? У меня ноги больные», — «Ну так вы хоть на почетный край проследуйте...» — «Упаси бог! То для начальства, а я человек маленький, сроду во главе стола не сиживал». — «Да какое ж тут сегодня начальство?» — «То нам неведомо, может, кто заявится...»

Наконец все расселись, даже в этой неразберихе соблюдая кое-какой порядок: стариков и старух таки уломали продвинуться поближе к почетным местам, молодые ближе к двери расселись. Тут же все умолкли в созерцании вин и закусок, переглянулись одобрительно — не подкачал Ломбо, — стали степенно ложки и вилки разбирать... с шуточками да прибауточками, пока еще, в начале застолья, произносимыми вполголоса: «Раз на стол поставлено — будет уничтожено!» — «Эх, каков огурчик: прямо на меня смотрит!» — «А с меня икра глаз не спускает». — «Э, губа у тебя не дура!» — «А я привык с горячего начинать...» — «Устарел ваш обычай, теперь только закуски вперед». — «Особо не налегайте, оставьте местечко в желудке: в котлах жирная баранина томится...»

Ломбо, оставшись в одиночестве (в недолгом одиночестве, он надеялся) во главе стола объявил громко:

— Дорогие гости! Поднимите рюмки!

Мужчины, дождавшись сигнала, наполнили крошечные хрустальные рюмочки — и женщин не забыли, — а Гомбо, после трудов праведных, позволил себе на полный фужер

разориться.

— Погляди-ка на муженька, Эржэни! — Дулма подтолкнула локтем Дэжэд,

Гомбо, покосившись на них, пробормотал тихо, но внятно:

— Наперстки какие-то понаставили. А ты за своим мужиком следи!

— За вами уследишь, как же!

— Так и не встревай...

— Ох-хо-хо... — вздохнула мать Гомбо, старуха Ешин, маленькая, сухонькая. — Ох, Бадмаха твой, Дулма, непутевый... чистое наказание. Где он сейчас-то?

— Далеко.

— Ты ему пропиши, что отец, мол...

— Написала, написала, — Дулма уж и сама не рада была, что «встряла»: общий разговор, не направляемый твердой рукой тамады, завертелся вокруг ее муженька непутевого.

— Бадмаха ищет, где лучше...

— Денежки шальные он ищет.

— А бравый был парень, заводной... Одно слово — душа компании.

— Да почему шальные? Сейчас везде можно заработать неплохо.

— Только не в нашем колхозе. У нас особо не размахнешься...

— Новое начальство нам нужно.

— Нужно, нужно... Где ж его взять-то?

— Друзья! — мощный голос Ломбо перекрыл беспорядочный шум. — Все вы знаете, зачем мы собрались сегодня за праздничным столом. И я хочу, чтоб вы разделили мою радость: приезд сына с невесткой и внуками...

Ломбо говорил важно, с достоинством, и все тотчас же, забыв про Бадмаху, усталились на Соню, сидящую рядом с Дэжэд. И опять Соне показалось, будто ее сравнивают с первой женой Цезаря; она вспыхнула под этими назойливыми взглядами, а двухгодовалая девочка у нее на коленях, видимо, почувствовав материнское волнение, вдруг испугалась и заплакала.

Ломбо с укоризной — ведь так плавно и достойно текла его речь! — взглянул на невестку, на миг запнулся, но тут же продолжал как ни в чем не бывало:

— Я счастлив, дорогие друзья, в этот знаменательный день в моем доме видеть вас всех...

В этот момент старуха Ешин со звоном уронила вилку и нырнула под стол — хозяин стерпел, только лицо его слегка омрачилось. Стерпел он и небольшую суматоху по поводу злосчастной вилки, которую принялись искать ближайшие соседи старухи.

— И мы, как дружная большая семья, соединились сегодня за этим скромным столом, чтобы...

— Нашла! — радостно объявила старушка, возникая на своем месте с вилкой в руке. — Простите люди добрые!

— Мать, не возникай, когда человек речь держит, — буркнул Гомбо.

— Чем же я есть буду? Гляди, угощения сколько... — возразила она, возбуждая новую волну приглушенного смеха, и, сложив ладони, совершила молитвенное знамение.

«Вот народ! — Ломбо вздохнул, еле сдерживая раздражение, плотно сжал губы, дожидаясь, пока уляжется неуместный взрыв веселья. — Что поделаешь с таким народом?» Он кашлянул и заговорил хрипло, с натугой:

— Праздник наш только начинается. Надеюсь, он будет светлым и радостным, ведь сюда пришли мои друзья. Я же, со своей стороны, никогда никому зла не желал и не делал...

— Правильно! — с воодушевлением поддакнул старик Туваан, весьма тугой на ухо. — Простим друг другу все зло, и которое желали, и которое делали...

— Он говорит, что не делал зла! — прокричал ему на ухо сосед — тот, что жаловался на больные ноги.

— Кто не делал?

— Ломбо!

— А я разве спорю? Я только хотел...

Выведенный из терпения хозяин резко постучал вилкой о тарелку — так председатель в президиуме призывает собрание к порядку. Вообще вступление слишком затянулось — вон Гомбо извертелся весь со своим фужером — надо закругляться, а не выставять себя на посмеище. Но только хозяин открыл рот, как по ступенькам затопали шаги. Да что ж это такое? Кого там несет нелегкая? Что за злополучный день...

На пороге появился Гомбожап в распахнутом сером плаще, за ним вошли майор и доктор Аюша. Вот она, долгожданная троица — пожаловала-таки!

Ломбо вскочил со стула и поспешил с протянутой рукой навстречу вновь прибывшим.

— Пожалуйте, дорогие гости! Ждали вас, ждали — не дождались... Раздевайтесь... вот сюда повесить можно... ага, на вешалку... Проходите! Вон туда, к тому концу проходите!

Гомбожап молча сбросил плащ и прошагал в комнату. Хозяин был занят Маглаа: бережно, взяв под локоть, подвел он его к самому почетному месту во главе стола и увидел, что там уже восседает завфермой. Ломбо прямо-таки остоленел, однако сообразительные односельчане, шушукаясь, перемигиваясь, тотчас же загремела стульями и передвинулись на одно место, вовлекая в свое движение и Гомбожапа.

— Садитесь, пожалуйста! — Ломбо указал майору на освободившееся почетное место.

— Не беспокойтесь, — возразил тот. — Это место как раз для доктора Аюши.

— Но вы человек приезжий, обычай в наших краях такой: приезжему — почет и уважение...

— Доктор старше меня, — было видно, что майора не переупрямишь.

Незаметно, бесшумно, словно из воздуха, возник доктор Аюша и занял это заветное место. Рядом с ним уселся и майор.

Народ, с любопытством следивший за этими переговорами, высоко оценил скромность «приезжего начальства», о чем поведала старуха Ешин своей соседке громким шепотом:

— Вишь, начальник важный, со звездой, — шептала она с умилением, глотая сливки (вообще гости освоились, не дождавшись праздничных тостов). — Видишь звезду-то?.. А обычаи старинные блюдет, старших уважает. Прямо любо-дорого поглядеть!

Гости улыбались понимающе в адрес бедного Ломбо, хозяева внутренне кипели. Дулсама с самого начала застолья сидела надутая, Ломбо чертыхался про себя на всю эту нескладуху. Ему ничего не оставалось, как разлучиться с майором. Весь план к черту летел! А что делать? Местечко нашлось где-то в середине стола, наискосок от почетного конца. Оставалось утешаться созерцанием доктора Аюши и соседством угрюмого Гомбожапа.

— Гомбожап, хоть ты и опоздал, — начал хозяин, приглядываясь к соседу: вроде не пьян, — а придется тебе руководить застольем. Человек ты заводной, говорун, к тому же в Хасуурите самое большое начальство.

— Обойдутся сегодня без начальства, — процедил Гомбожап, и хозяин понял, что лучше с ним не связываться; нет, завфермой не был пьян, но находился в состоянии раздражения, хорошо знакомом хасууритинцам: когда он стремился «обличать», «резать правду-матку» и так далее.

Ломбо поспешно отвернулся, озираясь затравленно. И без того тошно, а тут еще правдолюбец этот доморощенный под боком! Эх, плюнуть бы на все и уйти! А нельзя, даже

пересестя нельзя, неудобно.

Гости же и впрямь ни в каком начальстве не нуждались: ели, пили, переговаривались... Однако все «друзья дорогие» наострили уши, как Гомбожап принялся «обличать».

— Насколько я понял,— заговорил он тягучим, нудным голосом, — мы празднуем приезд Цезаря. А его что-то не видать, а? Странно.

— Скоро будет, отлучился, — буркнул Ломбо.

— И вообще, — продолжал Гомбожап гнуть свою линию, — многих достойных лиц я здесь не вижу. Почему? Когда в Хасуурите праздник, все собираются — от мала до велика. Где, например, Таряаша? Данзан? Дэбшэн?..

— У него вроде отец заболел, — подал кто-то голос в напряженной тишине.

— Вот-вот, к тому я и веду! Мы только что оттуда, — Гомбожап неопределенно махнул рукой. — Там, может, человек умирает, а мы тут пируем. Это как понимать?

— Вот и сидел бы с умирающим, а не портил бы людям праздник, — огрызнулся выведенный из терпения Ломбо.

— Ага, меня, значит, выгоняют? Я правильно понял?

— Никто тебя не выгоняет,— ответил Ломбо поспешно — «Скандала мне еще не хватало!» — и принялся наполнять тарелку гостя. — Давай закуси, расслабься...

— Ну нет, ты мне своим угощением рот не заткнешь!

Ломбо огляделся безнадежно. Никто не ответит «обличителю», никто не придет на помощь. «А ведь нет у меня настоящих друзей!» — мелькнула мысль.

И тут он услышал спокойный голос доктора Аюши:

— Уймись, Гомбожап. Раз уж ты сюда пожаловал, не распускайся.

И тот вдруг замолчал, повесил голову. Маглаа чистил рыбу, но был весь внимание, Ломбо чувствовал. Он повернул голову и встретил взгляд доктора Аюши, серьезный и сосредоточенный. Ожидает небось благодарности за свое благородство: как же, заступился за обиженного хозяина, скандал предотвратил... не дождется! Внезапно показалось, что все неприятности, унижения сегодняшние, вообще все его невзгоды связаны с этим... старым врагом. Да, врагом! Годы и годы прошли, десятилетия — но Аюша, несомненно, продолжает ненавидеть его за тот арест. Ну и черт с ним! Жаль только, что вернулся и всю жизнь мозолит глаза, напоминая о том, о чем хотелось бы забыть.

А доктор Аюша смотрел задумчиво, безо всякой злобы, догадываясь по напряженному взгляду старинного соперника, что того точит. «Ошибаешься,— думал доктор,— давным-давно не держу я на тебя обиды... И там люди жили. Конечно, добровольно я бы туда не отправился, но... кабы не лагерь, разве я понял бы по-настоящему, что такое страдание и стойкость? Нет, не испытаеть — не поймешь до конца. Не понаслышке, а белой костью, красной кровью почувствовать надо истинную цену человека...»

Ломбо резко отвернулся, не выдержав этого спокойного взгляда. Может, он, Ломбо, все понапридумал, чтоб на ком-то неудачи свои сорвать? Может, тот уж давно про все позабыл?.. «Аюша! — вдруг захотелось прямо, честно сказать, оправдаться. — Я не так виноват, как тебе кажется. Ни комсомольцем, ни коммунистом не был, а... дураком молодым я был — вот кем! За передовыми ребятами бегал, по деревне носился, пустую кобуру от нагана нацепив — аж вспомнить стыдно! А все из-за Дулсамы... вон сидит надутая, не подступись, а ведь когда-то я из-за нее такой грех на душу взял. Из-за нее, так и знай! Какое сокровище не поделили!.. — Ломбо мельком глянул на доктора Аюшу: тот не сводил с него взгляда... требовательного как будто, сурового. — Нет, не забыл. Ничего не забыл! До самой смерти помнить будет...»

«Делить нам нечего, — думал доктор Аюша, продолжая разглядывать Ломбо в белоснежной рубашке с засученными рукавами — точно молоденький. — Что было, то прошло, молодость не вернешь... Нечего делить, а не могу относиться к тебе по-дружески. Как ни заставляй себя, не получится. Стоит между нами что-то такое... не Дулсама, нет! То с молодостью ушло... что-то такое, что требует выяснения...»

Вот так молча «беседовали» старики среди набравшего силу застолья.

Гомбожап, не успевший облегчить душу «обличением» Ломбо, сидел, нахохлившись. Он отдавал себе отчет, что стал тяжеловат, порою невыносим для окружающих именно после смерти жены. И не то что смерть ее была неожиданной — она болела несколько лет, и к каким врачам только они с ней не ездили, даже к ламе и шаману обращались, — но он как-то вдруг сломался, опору потерял. «Слабак, слабак!» — корил он себя нередко, а поделать ничего с собой не мог. Как после похорон вернулись в дом, он и не помнил, совсем оглушен был, все глядел и вроде понять не мог: вот только что она в этой комнате лежала — и нет ее! Как же так?.. Какие-то люди подходили, говорили всякие слова, утешали, потом все ушли, ребяташки заснули, он один остался, сидел до рассвета за столом, мрачно пил и не пьянел... И пошло-поехало! Три года как во сне промелькнули — и будто бы наметился просвет, но... Вспомнилось лицо Мэдэгмы, ее слова: «Я тоже, может, устала да измучилась. Мне, может, самой опора нужна. Можешь ты мне это дать, а?.. То-то же!»

Э, лучше не вспоминать! Гомбожап встряхнулся и закричал, заглушая застольный шум:

— Так тамада я или не тамада в конце-то концов? На поминках мы сидим или на пиру гуляем, а? Внимание, требуется тост!

— Тост! Тост! — подхватили голоса.

— Дядя Ломбо прямо перед вашим приходом речь начал, — бойко заговорила Дэжэд. — Может, он ее и продолжит?

— Речь! Речь! Хозяин! Что хозяин помалкивает?! — отозвался хор гостей.

Гомбожап встретился взглядом с Дэжэд, показалось, будто она ему подмигнула. «Что? Что-нибудь о Мэдэгме...» — Дэжэд засмеялась, закивала дружелюбно — и стало легче на душе, вроде какая-то тяжесть отступила — и он улыбнулся в ответ.

— Ну что ж, товарищи! — Ломбо поднялся с места, не дожидаясь, пока Гомбожап очухается и предоставит ему слово.

Наступила относительная тишина, в которой раздался явственный старушечий шепот:

— Гляди-ка, хозяин встал, уважение нам оказывает...

— Да не нам, это перед важными гостями так положено...

Старухи в словах выразили то, что у всех было на уме: неспроста первый раз в жизни Ломбо пир на всю деревню закатил, ох, неспроста... Уж больно перед начальством милицейским лебезит. К чему бы это? «Дорогие друзья» гадали, наблюдали, слушали Ломбо, а тот соловьем разливался:

— Как у нас в народе говорят: «Хороший человек желание угадывает». Вновь прибывшие товарищи наше желание угадали, к нашему веселью еще веселья прибавилось, к радости — еще большая радость. Итак, поприветствуем дорогого гостя, из аймачного центра к нам пожаловавшего, — всем нам хорошо известного товарища Маглаа...

— А прозвище-то в самую точку! — воскликнул кто-то из молодых женщин лукаво: Маглаа засмеялся заразительно, в ответ раздался смех, Ломбо нахмурился.

— Товарищ майор оказал нам честь, — продолжал он строго («Нашли же над чем смеяться! И майор тоже... играет в демократию...»). — Мы счастливы, что Бата... — Ломбо запнулся... забыл отчество... или не знал никогда?.. — Бата... наш друг Бата... — «О, черт! Неужели никто не придет на помощь?»

На помощь хозяину пришел сам майор, отозвавшись беззаботно:

— Э, не затрудняйтесь! Я уж и сам имя-отчество свое позабыл, Маглаа — действительно в самую точку.

— Одним словом, — поспешно подхватил Ломбо в надежде загладить свой промах, — разрешите поприветствовать и пожелать здоровья!

Присутствующие загалдели одобрительно, Ломбо сел наконец, добавив:

— Мы тут все свои, а вы у нас редкий гость.

— Это да! — Маглаа глядел внимательно. — С того самого поджога свинарника — помните? — в Хасуурите не бывал.

Поджог! Все мгновенно насторожились. Слышно было, как злая осенняя муха пролетела над столом с сердитым жужжаньем. Не пожар, а поджог — вот что милиционер сказал! Давняя история, а до сих пор ходит-бродит подпольный слухок по деревне... Неужели из-за той истории майор прибыл? Да не может быть! Столько лет прошло... Гости со жгучим любопытством глазели то на Маглаа, то на хозяина. Тот не выдержал, опять вскочил («Шаралдай все успел ему выложить! — пронеслось в голове. — Все, проклятый!») и заговорил поспешно:

— Кто старое помянет, тому глаз вон — так русские говорят. Бывали в Хасуурите всякие... гм... происшествия, но в далеком, далеком прошлом. А сейчас у нас... вот поглядите, товарищ майор, на нас на всех за этим праздничным столом — и вы поймете, что мы живем дружно. Одни помыслы у нас, одни стремления, радости и горести всем

миром делим. Никаких секретов у нас друг от друга нет, каждый соседа знает как облупленного. Одна дружная семья перед вами...

— Дружная, говорите? Это хорошо,— заметил Маглаа как-то многозначительно, а Дулсама, слишком долго молчавшая, проворчала:

— Дружная-то дружная, а скотину кто-то со двора увел.

— Да пустяки! — перебил Ломбо, аж перекосившись от гнева («Дура баба! На глазах мужа топит»).

— Какие ж пустяки? — встрял дед Туваан («Ведь глух, как пень, а что надо ему, всегда услышит!»). — У меня вон тоже бычок пропал? Пропал. Товарищ начальник, как вы думаете...

— Товарищи, товарищи! — возопил Ломбо. — Вы ж не в милиции, а на празднике. Что ж вы нашему гостю покоя не даете?

— Верно говорит, — неожиданно поддержал Ломбо доктор Аюша. — Не такие речи за праздничным столом ведут. Пусть хозяин договорит наконец.

Поднявшийся было беспорядочный шум тотчас смолк: доктора в деревне и стар и млад ценили.

Ломбо продолжал вяло, с трудом подыскивая слова. Неуютно чувствовал он себя под взглядами односельчан, словно стоял перед ними голый. И главное — все напрасно, все зря! Напрасно он затеял этот дурацкий пир, напрасно перед майором «выступает» — все ему выболтал старый дружок! Теперь уж не поправишь, поздно. Не добрая слава и уважение ждут и его, и детей, и внуков в деревне, а позор — и скоро, очень скоро: худая весть быстрее молнии летит.

— Не хочу надоедать вам долгими речами,— говорил он между тем. — Все вы меня знаете... я хочу сказать: без утайки жил, с людьми жил... Еще как колхоз организовали — с того дня тружусь, рук не покладая... — «Чего это я разошелся? Закругляться пора», — думал он лихорадочно, а с губ словно помимо воли слетали словечки, гладкие, обкатанные и хвастливые. — Да, трудился — с гордостью могу сказать... Военное лихолетье на своей шкуре испытал. На западном фронте не довелось участвовать, а самураев японских бил... вместе с нашей армией...

«Да, везучий ты человек, ничего не скажешь,— размышлял доктор Аюша под поток хвастливых славословий. — У русских такая поговорка есть: «В рубашке родился». Это про тебя. Не испытал ты в сорок первом ужаса отступлений бесконечных, не попадал в «котел» под Харьковом и в подмосковное пекло, когда, казалось, все кончено... Нет, ты весьма вовремя позвоночник вроде бы повредил, бревно тяжелое поднял. Не знаю, я тебя не осматривал, но думаю, ты всех нас переживешь. Разве тебя с Шаралдаем сравнить? — вдруг вспомнилась багровая кожа в грубых рубцах — раны телесные, раны душевные... — А ты всю войну в интендантах отсиделся, настоящего голода и холода не знал, не ведал...»

— Прошли годы суровых испытаний, — голос Ломбо постепенно крепчал, будто на собрании бывший бригадир речь держит. — После войны принялись мы за подъем народного хозяйства. Заросшие пыреем, запущенные в годину испытаний земли какого ухода требовали! Ветераны здесь, за праздничным столом, отлично помнят, сколько сил и энергии тратили мы в колхозе. Сейчас я к вам обращаюсь, молодежь! Вы должны знать, что старшее поколение себя не щадило...



Ломбо, поднаторевший в президиумах, так вошел в раж, что не сразу заметил, как гости начали вертеться, перемигиваться, в окно поглядывать... Наконец и он повернул голову и умолк на полуслове: что такое? Посреди двора, смешно растопырив короткие толстые руки, на цыпочках кралась доярка Будаали. И не к крыльцу она подкрадывалась, нет, а куда-то в угол, где возвышались ровные ряды поленьев. Голова пестрым платком повязана, старый ватник на плечах — словно выслеживает кого-то!

Нелепая, но целеустремленная слежка напоминала детскую игру в жмурки. Одному завяжут глаза, а остальные по двору рассыпаются — вот и лови! А смеху, а веселья... И сейчас сидящим за столом будто детство вспомнилось, милое, беззаботное. Все засмеялись дружно, гадая наперебой, за кем же это Будаали следит?

— Когой-то она поймать хочет?

— Может, живой подарок несла и из рук упустила?

— Курицу несла!

— Или петушка!

— Зайчика!

— Мужа выслеживает! Никуда голубчику не скрыться!

— У нее закон насчет выпивки строгий!

— Это да, Будаали его запросто одолеет!

— Данзану перед женой не устоять!

— А где Данзан-то?

— Во дворе от супруги прячется!

— Где? Где?

— Да вон! За дровами...

Гости повскакали со своих мест, однако не механизатора увидели они возле поленьев, а маленького пестрого теленка. Зажатый в угол, он окончательно растерялся и мелко дрожал на тонких ногах.

Ломбо, возмущившийся вначале — рта хозяину не дают раскрыть! На самом интересном месте прервали! — также потянулся к окну, даже мыслишка мелькнула: «А может, все к лучшему? Отвлечется народ, про поджоги да про ворованную скотину забудет?»

И действительно, все были охвачены азартом: сумеет ли неуклюжая Будаали с теленком справиться, или тот ускользнет в последний момент?.. Кажется, ускользнет... Доярка топталась на месте, а теленок уже под руку ей нырнул да как прыгнет. Миг — и он уже посреди двора, на свободе! Вот к калитке понесся, а Будаали пока развернется... Вдруг с улицы стремительно налетели ребяташки с многоголосым криком: «Иибий<sup>1</sup>, мы поймаем!» («Неужели все дети Будаали?» — «Да нет, больно их много!»). Окружили бедного теленочка, чуть не хоровод вокруг него затеяли. Однако тот в опасном положении не растерялся: прорвался сквозь окружение и зайцем затравленным принялся по двору скакать. Ребяташки во главе с самой Будаали — следом! Теленок метнулся в калитку, хозяйка за ним, но покуда добежала, тот исчез, а в калитке вдруг возникла Эржэни, о чем-то заговорила со смехом, преграждая путь на улицу. Тут к ним присоединилась выскочившая из дому Дэжэд. Они обе подхватили упирающуюся

---

<sup>1</sup> Иибий — мама.

Будаали и, преодолевая сопротивление, поволокли ее к крыльцу. Впрочем, сопротивление, видать, было несерьезное: могучей доярке достаточно руками пошевелить, чтоб освободиться. И все же под уговоры подруг она пошла на праздник. Да, на праздник! «Эти скупердяи», как она выразилась про Дулсаму и Ломбо, действительно «разорились на пир» — выходит, пари Эржэни она проиграла.

### 30

Когда шум и смех, вызванные приходом Будаали, несколько поутихли, Ломбо опять поднялся с упрямым желанием закончить речь. Говорят, молчание — золото, но... он уже не мог остановиться. Прежде всего в нем говорило оскорбленное чувство хозяина, которому гости не дают высказаться. И еще: неутомимый оратор на всевозможных собраниях, митингах и застольях колхозного — а случалось, и районного — масштаба, он знал, как важен на любом мероприятии зачин. Главное, правильно начать, а там уж выступающие подхватят и на разные лады повторят твою же речь. Не то чтоб в тех же словах повторят, нет, но в том же духе. Раз хозяин хочет, чтобы о нем, о его семье, о его доме сказали доброе словечко — надо это словечко прежде всего самому вслух произнести! Сам себя не похвалишь — никто тебя не похвалит!

— Друзья, соседи, дорогие гости! Наши знаменитые матери-героини, Эржэни и Будаали, переступили порог моего дома с жизнерадостным смехом. Это счастливая примета и знак доброго расположения. Как вам всем известно, этот праздник, согретый, если можно так выразиться, теплом ваших, то есть наших сердец... так вот, этот праздник посвящен одному событию, о котором я и хочу сказать несколько слов... Да ты садись, Эржэни, чего стоять? — перебил сам себя Ломбо с некоторым раздражением.

— Да я только хотела... извините, я опоздала... — Эржэни взгромодила на предназначенный ей стул объемистую сумку и принялась копаться в ней.

Гости с любопытством следили, хотя, с другой стороны, хотелось и хозяина наконец дослушать: зачем сидим? по какому такому случаю праздник? может, раскроет тайну? Дело не в сыне — догадывались самые проницательные — сроду в честь его приезда праздников не устраивалось — да и где этот сын? Нет, тут что-то другое, что-то...

Будь на месте Эржэни кто-нибудь другой, Ломбо потерял бы терпение, но неудобно: сам же только что торжественно поприветствовал, к тому же муженек ее всю душу в этот пир вложил. Да и сама она — хороша штучка... как улыбнется... м-да... «Десятерых родила — удивлялся Ломбо, — а все при ней. Не расползлась, не распустилась... Повезло Гомбо, ничего не скажешь!..»

Эржэни достала из сумки бумажный сверток, выпрямилась, улыбнулась заворачивающей своей улыбкой.

— Еще раз извиняюсь за опоздание...

— Ты б еще к ночи собралась! — крикнула Дэжэд. — Мы ж договаривались...

— Тебе б мои заботы! Как в дом войдешь, хоть не выходи... вот ты еще с пяток родишь — тогда узнаешь!.. — в этот момент в дверях появилась Дулсама, ходившая на кухню за хлебом, и с любопытством уставилась на сверток Эржэни. — Дорогие родители Ханды! — сказала та с чувством. — Вам выпало счастье пятьдесят лет прожить вместе. И дом у вас полная чаша, и сын любящий, и дочка каких поискать, и внуков вы

дождались...

Пятьдесят лет! Муж с женой растерянно посмотрели друг на друга, торопливо в уме подсчитывая... Неужто пятьдесят? «Неужто пятьдесят лет прошло? — подумал и доктор Аюша с грустью. — Это что ж, они меня на золотую свадьбу пригласили? Меня?.. Ну и ну! Все забыли, коротка у людей память...»

Пятьдесят лет! Вот оно что, вот отчего пир горой. Народ заволновался, а старуха Ешин поздравила себя с тем, что не вылезла вперед со своим подарком. Да, да, у нее в кармане коричневого бурятского халата тоже имелся подарок: перед уходом из дому она завернула в платок несколько сосок, купленных при рождении младшего внука. А что? С ее пенсией особо не размахнешься. Ведь празднуется приезд Цезаря? Старуха собиралась вручить эти самые соски сыну и снохе Ломбо с намеком: еще внуков, дескать, вам нарожают...

— И в день вашей золотой свадьбы примите мой скромный подарок. Чтоб, значит, и впредь у вас гости не переводились, и стол ломился бы от угощений, как сегодня... Разрешите преподнести тарелки и чашки, — и Эржэни с сияющей улыбкой протянула свой сверток Дулсаме.

— Погоди... — начал Ломбо.

— Нечего годить! — отрезала его жена, проворно пристроив тарелку с хлебом на столе и схватив сверток. — Спасибо тебе, дорогая соседushка, за такой чудесный подарок и вообще за внимание.

— Да, да, спасибо, — подтвердил Ломбо. — Подарок есть подарок, конечно, но... Только я понять ничего не могу. Вы там, в Унсэгтэ, моей открытки не получали, что ль?

— Как же так не получали? Чего ж мы тогда приехали?

— Так ведь там ясно написано...

— Там написано! Или ты пригласительную бумагу не читала? — накинулась свекровь на Эржэни. — Только перед людьми срамишься и мужа срамишь!

— Ничего там толком не написано! — закричала Эржэни, покраснев с досады. — Просто сказано, что на пир Ломбо приглашает, а в честь чего — неизвестно. Это я сообразила, что на золотую свадьбу. Вообще... почерк корявый... не разберешь ничего... кто это писал?

— Твой суженый! — ответила Дулма, давась от смеха. — Тот самый, которого ты из многих ухажеров выбрала... Каких парней небось из-за него прогнала, а?

Кругом захохотали, а пуще всех — Гомбо, с удовольствием подключившийся к шутливой перепалке женщин. Все недоразумения произошли оттого, что ему было лень писать полный и, по его мнению, слишком длинный текст приглашения. «И так придут», — думал он и не ошибся.

Ничего этого, ни смеха, ни возгласов, не слышал доктор Аюша, погруженный в размышления... нет, в воспоминания. Пятьдесят лет! Продуваемый ледяными ветрами барак, двухэтажные нары, ночь, бессонница, лицо Дулсамы, красивое, улыбающееся. Вспоминать о ней было мукой, но в то же время и счастьем как будто; она осталась в той, прежней жизни, которая казалась теперь прекрасной: детство в дацане, юность, любовь, свобода, родной улус... Первые месяцы было совсем неумоготу, он хотел смерти — а смерть не шла, — он размышлял долго и упорно, за что же, за какие грехи швырнуло его

на самое дно? Но и в этом аду вокруг него продолжалась жизнь, тяжкая, беспросветная, где измученные люди, казалось, глотку готовы друг другу перегрызть, — и все-таки жизнь! Вначале, не понимавший ни слова по-русски, юноша был абсолютно беспомощен и боялся просто сойти с ума. Однако в бараке среди уголовной мрази нашлись и люди — люди чувствующие и образованные — и Аюша стал потихоньку осваиваться, недаром на редкость способным и сообразительным хуvaraком слыл он в дацане. Он сумел освоить язык, выучился грамоте, а главное — приобрел друзей. Стало легче дышать, и в плотной безнадежной тьме, застилавшей будущее, иногда предчувствовался просвет и надежда. За что? — спрашивал он себя вначале. — Неужели за измену религии? За то, что участвовал в создании артели, что поддался земной плотской страсти? Но время шло, другая жизнь наступала, наступала, все дальше и дальше уходило любимое лицо: да любил ли он ее, да с ним ли все это было? И постепенно не Дулсама — не Дулсама из Хасууриты, которая, должно быть, и думать о нем забыла, — а какая-то девушка вообще, красивая и улыбающаяся, представлялась ему по ночам.

Что ж, все проходит. Доктор Аюша вздохнул. Вернулся из лагеря, узнал, что Дулсама давно замужем за Ломбо, женился сам, сын родился, вырос, жену привел, внуки пошли... Все хорошо, честь по чести, не хуже, чем у людей... а жизнь кончается и все чаще и чаще приходит на память: ледяной барак, бессонница, любимое лицо... Доктор Аюша поднял голову: Дулсама стоит в дверях, на подарок любит, шум, хохот... Гомбо орет во весь голос:

— Да первую открытку я правильно написал, под диктовку, а потом решил подсократить... некогда — баран на мне — кто еще справится? Да что я, не знаю, что вы и безо всякого повода на пир заявитесь, погулять каждому охота. Что, не так?

— А мы-то из-за него голову ломали! — воскликнула Дэжэд. — И Ханды не было объяснить, она с утра...

— Кстати, а где Ханда? — перебила Эржэни. — Что-то ее не видать?

— Разве она не в Унсэгтэ? — поинтересовался кто-то.

— Куда это вы дели мою лучшую доярку? — на миг Гомбожап будто вынырнул из глубокого оцепенения. — Хочу за ее здоровье выпить.

Дулсама сразу насупилась, прошла на свое место, села, Ломбо голову опустил, все переглянулись, и в наступившей паузе раздался спокойный голос Маглаа:

— У нее же свекор болен. Разве вам неизвестно?

— Что за свекор? — у Гомбожапа, что называется, челюсть отвисла.

Впрочем, то же самое можно было сказать о каждом из собравшихся за пиршественным столом. Ломбо обмер, Дулсама с грохотом выронила ложку, Гомбо чуть колбасой не подавился, а женщины, как говорится в улигэрах<sup>1</sup>, «начали крутить в разные стороны глазами величиной с добрую чашку». Впрочем, Дулма скоро опомнилась и за родителями своей «молодой невестки» принялась наблюдать: как-то они выкрутятся?

— Неужели вам неизвестно, что он болен? — задал вопрос Маглаа, недоумевая, почему его слова вызвали такой переполох. — Или он не болен?

— Вам лучше знать, — прошамкала старуха Ешин. — Ведь вы от него пришли?.. А вообще чудно!

И всем было чудно! Когда ж это Шаралдай с Ломбо сватами стали? Тайком? Странно. А чего странного? Вот

---

<sup>1</sup> Улигэры — бурятские народные героические сказания.

потому и Дэбшэн из города приехал, Ломбо пир на весь мир затеял, жених с невестой у Шаралдая, а больной своего друга, доктора Аюшу, на хоцороон<sup>2</sup> послал. Нетрудно догадаться: сваты с хадаком<sup>3</sup> пришли. А что приезжий майор Шаралдай свекром Ханды назвал — это он так, обмолвился, желаемое за действительное выдал... «Все ясно,— прошептала Будаали Дэжэд. — Поженить детей собираются. То-то последнее время Ханда сама не своя». — «Да, да, Дэбшэн вечером к ней в Унсэгтэ приходил, я сама видела, а подумала: к Мэдэгме...» — отозвалась Дэжэд, с непонятной ей самой грустью думая о том, что вот и Ханды черед пришел, минуло беззаботное времечко. «Таряша мой души в дружке своем не чаёт, но пара ли он нашей Ханде? Не староват ли для нее?.. Э, бывали случаи, когда муж и на двадцать лет старше, а живут хорошо. Главное, чтоб любили друг друга, а остальное все приложится».

— Товарищи! — Ломбо в который раз поднялся, тяжело, грузно, и голос его словно осип. — Мы отвлеклись... — тут он разглядел с высоты на коленях у доктора Аюши краешек, уголок какой-то материи небесно-голубого цвета. Хадак! И тотчас опустился, прямо-таки повалился на свой стул, пробормотав: — Ешьте, пейте, дорогие друзья, веселитесь...

Что ж, наступают такие моменты в жизни — ввек бы их не переживать! — когда тебя заставят поверить и в самое невероятное... что, например, розы зимой расцветут, или баранья голова, перед самыми почетными гостями поставленная, вдруг подмигнет одним глазом.

Обманщики, подобные Ломбо, в любой обман поверить готовы, а когда их хитросплетения терпят крах, они теряют способность оценивать происходящее здраво и трезво. Ломбо ощущал себя припертым к стенке, сейчас встанет судья и прочтет приговор... И представитель закона, в честь которого пир затеян, тут как тут. И как же это он сразу не сообразил! Ведь эта парочка — майор с доктором — им пренебрегли, его приглашением. Потом к Шаралдаю отправились, получили указания — а может, этот черт старый и не болен вовсе, притворяется? Здесь какая-то хитрая игра! — получили указания и пришли сватать... его дочь! Его девочку, нежную, красивую! Конечно, она там, у будущего свекра, его она слушается, а не отца... Да, да, это так! Недаром Аюша в новый костюм нарядился, на самое почетное место сел, сейчас перед всеми свой поганый хадак развернет... Да неужели он, Ломбо, которому все в деревне завидовали, неужели он Шаралдаю подчинится? Не будет этого!.. Захотелось грохнуть кулачищем по столу, чтоб все знали: не будет этого! «Будет! — отозвался какой-то внутренний, тревожный и насмешливый голосок. — Куда ты денешься? Ты ж не захочешь, чтоб майор с Шаралдаем тебя разоблачали, на весь свет ославили?» Эх, как не хочется принимать этот проклятый хадак: но не принять невозможно... Так вот и приходит беда

---

<sup>2</sup> Ходороон — нечто вроде помолвки, предварительного сговора между родней жениха и невесты.

<sup>3</sup> Хадак — шелковая материя, символ почета и благоволения. Сваты подносят ее на сговоре невестинной родне, прося ее руки.

— нежданно-негаданно через детей судьба наказывает: сын приехал и неизвестно где прячется, дочь у чужих — у врагов! — которые ей ближе отца родного. За что?

А Маглаа наблюдал внимательно и размышлял усиленно: «Приехал пропавшего быка найти, а в такую круговерьт попал. И ведь нюхом чую... Шаралдай, Ломбо, Аюша — что-то потаенное связывает стариков, и давно. А теперь и дети их в эту круговерьт вовлечены. Очень любопытно! Поджог свинарника и пропажа скотины — какая связь? Да никакая!.. Однако чего боится Ломбо? Чем болен Шаралдай? И что скрывает доктор?.. Неужели разберусь я наконец в том самом деле, из-за которого и моя жизнь-то перекосилась?»

Гости за столом продолжали находиться в недоумении: ходороон или не ходороон, чего темнят? — покуда дедушка Туваан, потянувшись к старому приятелю, доктору Аюше, чокнуться за здоровье, также не заметил краешек злополучной голубой материи.

— Что, Аюша, сватом стал? — поинтересовался глуховатый старик громогласно. — Хадак принес?

— Это что ж творится, люди добрые? — завопила Дулсама, вот уже четверть часа сидевшая как на иголках; только предостерегающий взгляд мужа ее и сдерживал, но дольше молчать не было сил. — Я мать! И я знать желаю, про какой-такой хадак речь идет? Чей это свекор болен, а? Чтой-то за намеки непонятные?

— Что тут непонятного? — проворчала Будаали. — Один Шаралдай нынче в деревне болен.

— Ах, Шаралдай! И он мечтает нашу девочку за Дэбшэна выдать? Тьфу! — вот вам ваш Дэбшэн!

Все за столом аж остолбенели. Где ж это видано, чтоб сватам, хадак принесшим, чуть не в лицо плевали? Бывает, дело не сладится — разойдутся тихомирно, а чтоб так... Чудеса на этом пиру творятся, ей-богу!

— Это чем же наш Дэбшэн не хорош? — завелась Дулма — пока что сольные партии вели женщины; мужчины собирались с духом. — Ничем наш парень не хуже вашей девки!

— «Парень»! Нет, я со смеху помру! — отозвалась Дулсама злорадно, а кто-то из старух откликнулся назидательно:

— Опомнитесь, бабоньки! Об хадаке да об сватанье только старики могут толковать и договариваться.

— Дэбшэн и Ханда? — дошло наконец до Гомбожапа, глаза вытаращившего. — Чего вы тут комедию ломаете? Дэбшэн и Ханда! — повторил он и захохотал. — Это кто ж выдумал?

— Не вижу ничего смешного, — негромко сказал доктор Аюша, но, как всегда, все прислушались. — Хулить за глаза человека недостойно. Вы все Дэбшэна знаете: таких, как он, ребят мало. Помяните мое слово — мало! — доктор говорил, не глядя на Дулсаму, но понятно было, к кому он обращается.

— И слава богу, что мало! — не осталась та в долгу. — Этому «парню» вашему уже скоро сорок стукнет, а толку-то что? Видать, ума и способностей не хватило, чтоб по-настоящему ученым стать. Сейчас мальчишка какой-нибудь институт кончит, глядь, уже кандидат, а то и доктор. А этот? С работы выгнали — так он, как пес бродячий, в

деревню прибежал...

— Оно, положим, и Ханда не профессор,— встала Дулма, разгорячившись.— Институт бросила...

— И ты сидишь и спокойно слушаешь, как твою дочь позорят? — закричала Дулсама, сверкая глазами на мужа. — Молчишь? Не можешь Аюше объяснить, что никаких хадаков нам от него не надобно? Так я сама объясню: дочь свою я за Дэбшэна не отдам! Никогда! Чтоб все вы знали...

— Уймись, жена! Дела не так решаются. Объясниться надо, все взвесить...

— Да ты в своем ли уме? Да что ж тут взвешивать? Пусть убираются со своим хадаком, пока...

— Нету у меня никакого хадака. Нету! Успокойтесь, — сказал доктор Аюша с досадой и грустью. — Надо бы мне сразу ясность внести, но хотелось про ваше отношение к молодым узнать. Ведь кто знает... А впрочем, — обратился он вдруг к Маглаа, — ты что-то насчет свекра намекал? Может, ты сват и есть?

— Нет, нет,— поспешно отмахнулся майор; глаза-щелочки его так и поблескивали в возбуждении. — Какой я сват?

— Ничего не понимаю! — заявил Гомбожап.— Голова кругом идет, совсем запутался.

— Я тоже,— пробормотал доктор Аюша, взял с колен носовой платок небесно-голубого цвета и вытер вспотевший лоб.— Может, хозяин нам объяснит наконец, по какому поводу он нас за этим столом собрал?

## 31

— Я уже объяснял: это праздник в честь приезда Цезаря с семьей, — кратко отозвался Ломбо; какая-то непонятная тоска, вроде беспричинная — хотя причин и достаточно! — вдруг навалилась на него. Нет, не вдруг: словно серая змея в густой зелени, она подползала медленно и незаметно, покуда целиком не овладела душой. Но самое странное — вот уже некоторое время Ломбо избегал смотреть на дальний угол стола, будто боялся чего-то, будто именно там, у самой почти двери, и притаилась эта «змея в траве». «Что за ерунда! Придет же такое в голову. Заболел я, что ли?» — он попытался встряхнуться... однако головы к двери не повернул, прямо перед собой глядел... поднял рюмку и сказал громко:

— За сына моего, невестку и внуков!

Народ, конечно, тост поддержал, но как-то вяло и сдержанно, без обычного радостного возбуждения на пиру — точно полыхавший на ветру костер, весельем полыхавший, любопытством и участием, неожиданно студеной водой залили.

Не получался праздник, не вытанцовывался, хоть убей! Хозяин ломал голову, не понимая пока еще, что причина неудачи — в нем самом. «Бабы языки поганые все дело испортили,— решил он было с облегчением. — Нет, раньше, раньше нескладуха-неладуха эта началась... Детишки мои драгоценные подгадили — вот причина! На старости лет не могли отца уважить, радость его — какая, к черту радость! — ну скажем, невзгоды его разделить. Вместо того, чтобы опорой стать, по чужим людям шлятся, будто враги какие! Был бы Цезарь тут — совсем другое дело, его в

деревне уважают, его... А меня, значит, не уважают? Неужто не уважают? — и он с надеждой посмотрел почему-то на доктора Аюшу: тот ответил неожиданно понимающим взглядом. «Что, Ломбо, туго приходится? — словно говорил этот взгляд, и жалеющий и упрекающий одновременно. — Как побитый сидишь, а бывало, за все с энергией хватался, до упора выкладывался. Нет, руки в работу вкладывать ты избегал, но организатор неплохой был — как на пенсию ушел, сразу ощутилось и на ферме, и в поле. Но тебе всего мало было, жадность подвела, всех переплюнуть старался: я первый, я лучший, кто против меня устоит! Потому и борьба у тебя с председателем бывшим началась — нет, чтоб помочь молодому, неопытному — ты же ему палки в колеса ставить начал... А кончилось-то все — пожаром. Теперь вот сидишь и казнишься! Где Ханда? Где твой сын?»

И как бы в ответ Гомбожап ехидно поинтересовался:

— Ежели мы в честь приезда Цезаря тут заседаем, то где он сам? Почему его за столом нету? Земляками брезгует?

— Скоро придет, — глухо ответил Ломбо.

— Удивительное дело, — продолжал брызжать Гомбожап. — Как кто из деревенских в гору пойдет, так уж и нос задирает. Фу-ты, ну-ты, начальники! Знаем мы этих начальников: что Дэбшэна, что Цезаря.

— Они оба ничего такого не сделали, чтоб ты имел право их осуждать, — заметил доктор Аюша и положил себе на тарелку капусты.

— Ну ладно, про Дэбшэна я, конечно, зря. Отец заболел, понятно. А Цезарь, видать, совсем родину свою забыл и друзей. Такой пир в его честь, а он...

— Придет, придет, рано еще, — перебила Дэжэд и улыбнулась Гомбожапу успокоительно, как в начале застолья, «Понятно, из-за чего завфермой с ума сходит. Да все образуется. Если Дэбшэн серьезно на Ханде жениться хочет, Гомбожапу дорога открыта... Они с Мэдэгмой пара — это точно! Я буду не я, а сосватаю эту парочку. Клянусь!»

Однако на этот раз милая женская улыбка на Гомбожапа не подействовала. Он одно понимал: оба они, Дэбшэн с Цезарем, интеллигенты так называемые, Мэдэгме жизнь исковеркали. Разве не так?

— А вот нам сейчас Соня скажет, где ее Цезарь, — продолжал Гомбожап упрямо. — Что ж это? Не успели в деревню приехать, как упустила муженька, а? Гляди, как бы местные красавицы — у нас есть такие! — его не поймали бы...

— Что ж до сих пор не поймали? — ответила Соня спокойно. — Возможностей у них больше, чем у меня было. Давным-давно.

М-да, ей, оказывается, палец в рот не клади. Откусит!

— Ты, Гомбожап, прежде чем говорить, думал бы, — вставил доктор Аюша осуждающе. — Что ты ко всем, как репейник, цепляешься? Значит, дела есть у Цезаря, раз он за стол запаздывает. Он, в отличие от тебя, не языком берет, а делами. И я верю, славные его дела ожидают. Специалист отличный — и руководителем будет...

— Кем-кем? — воскликнул Гомбожап. — Кажется, я понял! Вот какими делами он занимается... Скажи, Соня, честно: председателем к нам Цезарь приехал, а?

— Вы, наверное, все сами знаете.

— Вон оно что! — протянул дедушка Туваан. — Чего ж скрывал-то, Ломбо? Ну,



поздравляю!

Народ загалдел.

— От всей души поздравляю!

— Глядишь, с мертвой точки сдвинемся.

— Точно! Поднимет колхоз — наш ведь парень, местный...

— И мы поможем...

— А может, нам наверх заявление коллективное написать? Мол, поддерживаем кандидатуру земляка?

— Правильно! Все подпишем, правда, Ломбо? Ты чего молчишь?

Ломбо молчал в полной растерянности. Даже такие новости он должен от чужих людей узнавать! От какого-то Гомбожапа.. И ведь угадал завфермой — вот, Соня подтвердила. Однако не только обида на сына тревожила хозяина — если б только это! — давешняя тоска усиливалась, не давала вздохнуть спокойно. И Ломбо догадался о причине: в хоре восклицаний и поздравлений он уловил и выделил один голос — трескучий, тонкий, полузабытый — и повернул голову.

Так и есть! Он не ошибся. С краю стола, почти у самой двери, сидел человечек... именно человечек лет пятидесяти — маленький, корявенький, черненький: черные волосы, черный пиджак, даже галстук черный. Он с веселым прищуром встретил взгляд хозяина, усмехнулся забавной усмешечкой, подмигнул — и Ломбо его внезапно узнал: ага, дальний родственник — по отцовской линии это сокровище досталось — с которым не виделся много лет, даже имя позабыл. Неудобно... ну да ладно. Интересно другое: как этот родственничек сюда попал? Ведь он вроде бы давно уже в чужие края уехал?

«Понятно, как попал! — пытался успокоить себя Ломбо. — Ехал мимо Хасууриты — хоть в столицу, например, — завернул родню навестить, а тут гуляют... «Да, но когда он появился? В начале застолья его точно не было. И появился он как-то тихо и незаметно, будто из воздуха...» Проще всего, кажется, было у родственника у самого и спросить, вообще поздороваться, заговорить... но Ломбо почему-то не мог. Боялся? Чего?.. И человечек этот странный к хозяину поздороваться не подошел, сидит себе как ни в чем не бывало. И еще странность: соседи на приезжего внимания не обращают, не удивляются, а ведь каждый новый человек в деревне — это целое событие, вон Маглаа как разглядывали да перешептывались... И наконец: чего он, Ломбо, боится? Ведь боится? Как услышал тонкий трескучий голосок: «От всей души поздравляю!» — аж вздрогнул! А может... Ломбо закрыл глаза, опять открыл... может, он ему мерещится? Но тут, словно стремясь остатки сомнений в прах развеять, родственник затрещал:

— Вы правы, тысячу раз правы: надо общее собрание созвать и выбрать нашего Цезаря председателем! И как можно скорее, неровен час, случится что, в верхах передумают, что тогда?

— Неловко вроде... через голову председателя, — пробубнил Гомбо. — Нынешний-то еще работает.

— Болезнь его прогрессирует, — заявил родственник безапелляционно. — Требуется длительное лечение.

— Жалко! — сказала Дэжэд задумчиво. — Он вообще-то человек неплохой, вот болезнь подкосила. Она ж не спрашивает, когда приходит...

— Чего его жалеть? — удивился родственник. — Вылечится — работу найдет

полегче. А не выздоровеет... гм... туда ему и дорога. Надо помнить всегда: для человека нет ничего дороже здоровья.

— Здоровье, конечно, вещь немаловажная, — согласился доктор Аюша, поглядывая на человека как-то настороженно; холодно-холодно поблескивали стеклышки очков. — Только дух человеческий, случалось, и болезни превозмогает. Вон после войны у нас председатель был — калека, на костылях, а иному здоровому за ним не угнаться. Тяжкие были времена, голодные, а о нем вспоминается как-то светло: сделал все, что мог.

— И-и, правда твоя, доктор Аюша, — подхватила старуха Ешин. — Ох, и настрадались тогда. А председатель — худющий, кажись, дунь на него — упадет, одежда плохая — гимнастерка в заплатках... Чашкой чая питался. Я как-то спроси у него: «Чем же, говорю, ты жив-то?» А он из кармашка достает партийный билет и говорит: «Вот этим, говорит, и жив!» Ай, бедолага, господи помилуй! Прямо как вспомнишь — сердце заболит.

— Да, такое не забывается, — сказал доктор Аюша тихо.

Старики пригорюнились, молодежь притихла. Все молчали, как бы отдавая дань благородству человека давно умершего, но не забытого.

— Однако что было, то сплыло, — нарушил тишину трескучий голосок. — Сейчас, слава богу, не война, и калеки там всякие должны молодежи место уступить. «Молодым, как говорится, везде у нас дорога!» Я правду говорю?

Никто не отозвался (родственник с его правдой — пусть хоть трижды прав! — симпатии как-то не вызвал), лишь Будаали проворчала нехотя:

— Неизвестно еще ничего. Как там на Цезаря наверху смотрят.

— Пусть вас это не беспокоит! — дальний родственник засмеялся беззвучно. — Может быть, у Цезаря есть связи. Может такое быть?

Соня опустила голову. Ломбо, напротив, выпрямился и оглядел присутствующих несколько свысока. Крайне самолюбивый (с великой спесью, как сказали бы в старину), он обычно никаких упоминаний о свате терпеть не мог. А сейчас, вспомнив, чуть не возликовал: хоть за какую-то реальность в этой чертовщине уцепиться, хоть какую-то опору в душе ощутить! Ломбо посмотрел на невестку ласково, почти с нежностью — впервые. Шутка сказать, может, именно от ее отца зависит, станет ли Цезарь у них председателем. «Старею, — думал Ломбо, — поддержка сына, ой, как нужна!»

— Спихнут вашего старика, спихнут! — разошелся дальний родственник, подмигивая и руки потирая, так что всем неловко стало; но он вроде этого не замечал. — И не таких начальников скидывают — есть способы!

— Что за способы? — поинтересовался Маглаа, внимательно наблюдая за маленьким черным человечком.

— Законные, товарищ майор, самые законные! Не убийство, боже сохрани! Мы ж не на диком Западе, где даже с президентами запросто расправляются. У нас мафии не существует — вам это лучше известно.

Ломбо грозно поглядел на плюгавого родственника, кажется, ногтем бы придавил поганца... А сердце ныло тревожно, тоскливо: откуда он взялся, кто позвал его, и что ему надо от него, от Ломбо?

Маглаа полоснул хозяина острым, как бритва, взглядом и опять обратился к странному человечку:

— А все-таки какие способы вы имеете в виду?

— Самые разнообразные. Пожар, например, — родственник снова беззвучно захохотал, Ломбо вздрогнул. — Случайный, конечно, пожар, от человека не зависящий. Хозяйство ведь сложное, глаз да глаз нужен, правда? А тут, например, печи неисправные, а? Бывает? Бывает.

Народ, как один человек, дыхание затаил. Ломбо ворот рубашки рванул — показалось, что задыхается — пуговица отлетела с легким треском... Поднял рюмку и закричал хрипло:

— Один черт-те что буровит — остальные уши развесили! Правду Гомбожап сказал: не на похороны мы собрались, а на праздник! Ну-ка, за здоровье присутствующих!

Гости кое-как вышли из оцепенения, зашевелились, старуха Ешин — будь она неладна, вечно не в свое дело нос сует! — заявила, прожевав кусок рыбы:

— А помните позапрошлого председателя нашего? Ну, который из-за свинарников погорел? Ведь все так и было! Печи, говорят, неисправные...

— «Печи!» — пробурчал Гомбожап. — Если б печи! Там кто-то самовольно распорядился, петуха пустил...

«Да, да! — думал майор, жадно слушая. — Так и есть! Из тех еще времен слух пришел...»

— Что вы говорите? — затрещал родственник. — Не может быть! Не верю! Неужели в Хасуурите найдется человек, способный на такое черное дело? Кто же он? Назовите при всем честном народе!

Ломбо наклонился к гарелке и принялся хлебать свежайший ароматный бульон.

«И как ему еда в глотку лезет!» — удивился доктор Аюша.

Однако Ломбо даже вкуса пищи не чувствовал, глотал, захлебываясь, как попало. Странное дело: впервые за все эти годы он вдруг преступником себя почувствовал — за секунды до вынесения приговора. Считанные секунды жизни остались. Сейчас майор поднимется и объявит беслощадно: «Виновен! Приговор обжалованию не подлежит!» «Может, забежать вперед, может, предупредить приговор, оттянуть», — отчаянно метались мыслишки в голове в поисках спасения — встать сейчас и сказать громко и достойно: «Вы спрашиваете, кто? Шаралдай — вот кто!»

Нет, достойно не получится. Какое уж там достоинство — ноги лишь бы унести! Ну, скажет он: «Шаралдай». Майор его тотчас же в оборот возьмет. «Ах, так? — удивится притворно. — Откуда вам известно, что колхозные свинарники скотник Шаралдай поджег? Вы при этом присутствовали?» — «Нет, нет, я чуть не позже всех на пожар прибыл!» — «На каком же основании вы обвиняете Шаралдая?» — «Я не обвиняю, просто слухи по деревне ходят». — «Слухи во внимание суд не принимает. Ему нужны конкретные доказательства». — «У меня их нету». — «А может, вы на старого друга клеветеете, потому что думаете, он вашего быка украл?» — «Ничего я не думаю! Я вас утром просил это дело закрыть». — «Почему закрыть? Вы же сами заявление в милицию подали. И скотина в Хасуурите действительно пропадает, не так ли?» — «Да черт с ней, со скотиной!» — «Странно. Почему вы не хотите расследования? Чего вы боитесь?» — «Вот чего он боится, — встречается вдруг Аюша. — Он боится, как бы во время расследования Шаралдай не проболтался, что по наущению Домбо свинарник поджег».

— «Это клевета!» — «Нет, не клевета! Ты ж на председателя зуб имел, забыл уже? Мне вчера Шаралдай все рассказал!» — «Это клевета!» — говорит Ломбо громко и достойно. «Клевета! — шумит народ за столом. — Мы знаем Ломбо много лет. Никому никогда он плохого не делал! И с председателем честно боролся, за колхоз стоял!» — «Значит, один Шаралдай виноват?» — спрашивает Маглаа и встает. «Один, один! — гудит дружный хор. — Мы за Ломбо ручаемся. Не такой он человек!» — «В таком случае, — заявляет майор решительно, — придется Шаралдая арестовать. Как бы не сбежал...» — «Товарищ майор! — Ломбо загораживает ему путь. — Грешно сажать в тюрьму старого, больного человека за такое давнее дело». — «Пусть отбудет наказание по закону, — сурово отвечает Маглаа. — Ему ж самому легче станет, искупление душу возродит! — и смотрит на Ломбо так тепло, по-дружески. — А вам спасибо. Без вашей помощи я бы не справился!» — крепко жмет хозяину руку и идет к дверям...

Фантастические мечты Ломбо прервались самым неожиданным образом. В возникшей паузе маленький человечек тихонько так начал, задумчиво:

— Шаралдай... — и тут же закашлялся, поперхнувшись слюной.

## 32

— Не убегай далеко, скоро в Унсэгтэ поедем! — крикнула Мэдэгма вслед сыну, когда он, накормленный, напоенный, опять на улицу помчался.

— Не поеду в Унсэгтэ! — донеслось в ответ.

Она выскочила во двор, подбежала к калитке: сын, посвистывая, с прутиком в руке спешил будто навстречу каким-то приключениям. Да, в его годы жизнь полна неожиданностей, а вот ее жизнь... Мэдэгма стояла, опершись о жердину изгороди, одинокая и растерянная. Вот именно: одинокая у нее жизнь, растерянная.

Как ни ругала она ругательно Чингиса за его «подвиги», как ни сокрушалась, а в глубине души всегда жалела: сирота, без отца растет. Она сама без отца выросла — война проклятая сколько мужиков унесла! — и знает, какое ущербное, беспомощное чувство охватывало ее, когда какой-нибудь счастливчик о своем отце упомянет. Особенно остро, говорят, это мальчики чувствуют. Да и то сказать: среди ребятишек той далекой послевоенной поры она не единственная такая была — наоборот, редкий дом миновала похоронка. А ее Чингиска теперь, в мирное время... безотцовщина.

Как эта женщина сегодня смотрела на нее — с холодным спокойным достоинством, а на Чингиску — с отвращением: хулиган уличный, избивший ее ребенка! Мэдэгма усмехнулась. «Хулиган» и ребенок этот, как ни странно, братья. Могло бы все сложиться по-другому? «Чингис! — позвал бы отец. — Ну-ка, вернись!» И Чингис, конечно, подчинился бы. «Сегодня в Унсэгтэ поедем», — сказал бы Цезарь, а Чингиска закричал бы радостно: «Вот здорово! И маму возьмем?» — «Возьмем!» Цезарь положил бы свою руку с короткими толстыми пальцами на голову сына, взглянул бы на Мэдэгму с улыбкой, она подошла бы и прижалась к мужу.

В сущности, если б не та газета... Мэдэгме вспомнилась недолгая пора ее замужества, Цезарь, тот, прежний, молодой. Простецкий парень, никакой не «начальник». Суп любил хлебать из миски, чай — из огромной жестяной кружки, чтоб уж вволю. В обед навернет как следует — потом хоть сутки мог ничего не есть. Обо всем забывал, работал, как вол. Теперь, должно быть, в городе поживши да с интеллигентной

женщиной, пообтесался. Впрочем, если есть в человеке внутренний стержень, его никакой город не сломает. А Цезарь надежный был мужик, крепкий (потому она за него и ухватилась, думала от вечного ожидания отдохнуть, успокоиться), вот именно — опора. До поры до времени, конечно, покуда та злосчастная газета ему в руки попала.

Зачем она ее хранила? Трудно сказать. Просматривала рассеянно, вдруг — знакомая фамилия, статью мгновенно проглотила, с жадностью, будто письмо, лично ей адресованное. И не смогла выкинуть, в печке сжечь, как собиралась, для растопки и газету взяла. Что ж, прошло бы время, и статья эта забылась бы, и Дэбшэн в конце концов... да нет, видно, не судьба. Честно сказать, она Цезаря не любила, а он это чувствовал, так что не в газете дело. Во всяком случае, совместная жизнь после того случая стала невыносимой. Цезарь, с его самолюбием непомерным (тут он в отца, Ломбо — старик гордый, спесивый), не то чтобы ее Дэбшэном попрекал, нет, но давал-таки почувствовать, что оскорблен. А осенью почти перестал дома ночевать. Как-то она сказала, дескать, боязно одной в пустом доме спать, собака по ночам воет. «Так ты ведь не одна ночуешь», — ответил он со злой издевкой. «То есть как не одна?» — не поняла Мэдэгма. — «А так! С Дэбшэном!» — выпалил Цезарь и сразу ушел, в бешенстве хлопнув дверью. Через некоторое время, довольно скоро, заговорил о разводе: «Не могу с тобою жить. Ты разве что вполтину только моя жена. А мне нужно или все, или ничего».

По-своему Цезарь прав, конечно, но, когда он ушел, она впервые подумала о беспощадности жизни. Беспощадность! Один умчался в ночь, не оглянувшись. Другого даже маленький сын не остановил. А ведь любил, кажется. После рождения сына они были счастливы: она обо всем на свете забыла, муж на первенца наглядеться не мог. Помнится, когда Ломбо назвал своего внука Чингисом, Цезарь шутил: «Дедушка, известное дело, другого имени дать не мог. Теперь пойдут у нас монгольские ханы, египетские фараоны да римские императоры!» — «Не бойсь! — смеялся Ломбо. — Другим внукам имена советских полководцев дам». А однажды соседка, зашедшая займы денег попросить, умилилась, залюбовавшись крупным крепким малышом: «Ишь, какой богатырь растет! Знатный будет пахарь. А может, в ученые пойдет, вон как у Шаралдая Дэбшэн». Пустяковый случай, старуха о Дэбшэне безо всякой задней мысли упомянула — просто потому, что он единственный из хасууритинцев ученым стал. Но Цезарь и тут взорвался. «Опять Дэбшэн! Куда ни ткнись, везде... — закричал он после ухода соседки. — И дети мои в Дэбшэна!»

Да, видать, не судьба. Думала: стерпится — слюбится, Ан не вышло! И так, он здесь. С женой, с детишками. Веселятся сейчас у деда на пиру. Наверняка в честь его Ломбо и пир устроил.

Мэдэгма так и стояла, на изгородь облокотившись, глядя на улицу. Тишина. Деревня будто вымерла. Ну, конечно, все у Ломбо собрались. Она одна в стороне... ну, может, еще Дэбшэн с больным отцом сидит. Как там Шаралдай?.. Она вздохнула, замерла на миг и вдруг решительным шагом вышла на улицу.

Однако чем ближе она подходила к дому Шаралдая, тем медленней становился ее шаг. «Я ведь к тебе приехал», — сказал он, взял ее руки, прижал к лицу. А вдруг правду сказал? Вдруг сейчас повторится это мгновенье? Конечно, они не пара, понятно, но ведь он в беде? Она просто хочет помочь ему, он нуждается в ее помощи... «Себя-то хоть не

обманивай! — предостерег какой-то внутренний голосок. — Гомбожап вон тоже в помощи нуждается, однако не к нему ты бросилась, к другому...» Ну и что? С Дэбшэном ее столько связывает, молодость и надежды. «Да разве можно вернуть молодость? — нашептывал противный голосок. — Никому это не удавалось, и тебе не удастся. А вот Ханде ничего возвращать не нужно, у нее и так все впереди...» Да, у Ханды все впереди — вот пусть и оставит Дэбшэна в покое, пусть продолжает веселиться за отцовским праздничным столом. Да и чем Дэбшэну может помочь двадцатилетняя девчонка, не знающая жизни? «Я ведь к тебе приехал!», — сказал он, остальное не имеет значения.

Стало легче на душе, спокойнее, будто она нашла поддержку в его словах, какое-то, правда, неустойчивое, но равновесие обрела. «Я ведь к тебе приехал». И, подходя к дому Шаралдая, входя в калитку, она ясно отдавала себе отчет, что делает важный шаг, может быть, самый важный в своей жизни.

Уже подходя к крыльцу, Мэдэгма услышала из сарая негромкий дробный стук топора. Поколебавшись, она решила вначале заглянуть в сарай: там возле печки сидел Дэбшэн с маленьким топориком и приготавливал лучину для растопки.

Заслышав шаги, он поднял голову — на усталом измученном лице мелькнуло удивление. Тотчас встал, отложил топор в сторону.

— Как отец? Не лучше? — спросила Мэдэгма, вглядываясь в него: странный вид, смущенный, будто виноватый.

— Да все так же. Чаю вот хочу вскипятить.

— А аппетит как? Ест что-нибудь?

— Мало. Он всегда мало ел.

Они продолжали глядеть в глаза друг другу, как замороженные.

— Да растапливай же печь! — опомнилась наконец Мэдэгма, подошла к столу и принялась крошить чай секачом в деревянном корытце. — Свежий надо заварить, душистый...

Дэбшэн, точно ребенок послушный, вновь присел к печке, положил туда поленце, лучину, чиркнул спичкой; пальцы у него слегка дрожали.

За отца переживает или из-за ее прихода разволновался? Мгновенная радость вспыхнула в душе, захотелось подойти к нему, приласкать, погладить жесткие волосы, успокоить, как малого обиженного ребенка.

Она протянула руку, слегка прикасаясь, провела по голове, дотронулась до щеки. Дэбшэн перехватил, прижал руку к лицу — и так замер. Ей подумалось вдруг, что всю жизнь она прожила ради этой минуты. Ничто их не разделяет, ничто. Да, он умный, ученый... тут ей за ним не угнаться. Однако для нее он прежде всего человек, способный любить. Обыкновенный человек из их деревни, паренек, возмужавший на ее глазах.

От его прикосновения, от этих мыслей, ото всего вдруг закружилась голова. Она потихоньку отняла руку, подошла к настенному шкафчику за стенкой достать чайник для заварки. Внезапно стукнула входная дверь в доме, послышались легкие быстрые шаги по ступенькам, по двору, слегка запыхавшийся звонкий голос:

— Мне надо в Унсэгтэ съездить!

Ханда!

И Дэбшэн отозвался поспешно:

— Да... поезжай.

— Я постараюсь поскорей вернуться.

— Постарайся.

Мэдэгма не видела свою молоденькую подружку, из-за печки, но представляла, какое сияющее, радостное у той лицо, как смотрит она на него.

Шаги затихли в отдалении. «Я постараюсь поскорей вернуться!» Прочь отсюда!.. Нет, не бежать надо, а уйти достойно. Она же не ребенок в конце концов, не стоит так выдавать себя. Все кончено — понятно, понятней некуда... так, снился красивый, даже чересчур красивый сон — проснулась в убогой деревенской кухне. Какой-то чужой человек топил печку. Дэбшэн повернулся и смотрит на нее со странным выражением. Чужой!

— Ханда? — спросила она.

— Ханда,— ответил он тихо и задумчиво.

— Хорошая девушка.

— Хорошая,— опять, как тихое эхо, откликнулся он, но Мэдэгме в его голосе слышалась нежность.

— Молодая и красивая, — продолжала она, не Дэбшэна мучая — себя.

На этот раз он промолчал, поднялся и встал напротив, не сводя с нее взгляд. «Не меня, а Ханду видит перед собой!» — думала Мэдэгма, вглядываясь в черные глаза.

— Да, она хорошая девушка, добрая,— пробормотал Дэбшэн.— Но я хотел сказать...

— Добрая! — перебила Мэдэгма с вызовом.— Добрая и хорошая.

— Я хотел сказать, — Дэбшэн сделал шаг вперед: совсем близко — темные глаза. — Прямо перед твоим приходом я о тебе думал.

— Да ну?

— О тебе — и ты пришла.

— Отца твоего зашла проведать, — сухо заметила Мэдэгма и направилась к двери, но он загородил дорогу, заставил остановиться, обнял за плечи.

— Я думал о тебе — и ты пришла,— повторил он хрипло.

Но она легким движением плеч освободилась от его рук и заговорила просто, буднично, словно расшалившегося ребенка успокаивала (не так она его мечтала успокоить!):

— Перестань, Дэбшэн, ты сам не знаешь, чего хочешь. Мы с тобой не пара — тебе это не хуже моего известно. Иначе почему ты сбежал тогда, годы не приезжал?

— Дурак я был — вот и все.

— Нет, не дурак. Любил бы — вернулся. Но ты не любил и не любишь, признайся честно!

— Ну, виноват, виноват перед тобой. Но что было, то прошло, зачем вспоминать?..

— Зачем? А если мне о тебе и вспомнить больше нечего? Только ту ночь. Как ты молча встал, оделся и умчался на мотоцикле. Я ведь с отчаяния за Цезаря тогда вышла, и он это понял. А ты тут... «думал о тебе, ты пришла...» Может, и думал — да не обо мне.

— Ну что ты говоришь!

— То, что слышишь. Поздно, Дэбшэн, понимаешь? Мне уже тридцать четыре, состарюсь раньше тебя, только помехой стану...

— Да о чем ты!..

— Мне о сыне надо думать, а не... а не о молодых всяких глупостях. Моему сыну отец нужен...

— А чем я не гожусь? Что я — его бить буду? Разве ты меня не знаешь?

— Не знаю, Дэбшэн, правда. Я тебя на удивление мало знаю... наверное, как и ты меня. Все-таки большая часть жизни у нас с тобой врозь прошла. И радости и горе — врозь.

— Мэдэгма!

— Не расстраивайся, у тебя еще все впереди. Женишься на красивой девушке, на образованной. На ровне, которая не в дерьме коровьем возиться будет...

— Замолчи! Никакая девушка мне не нужна, я сам уже много лет как не юноша. Тоже кое-что пережил и кое-что понял. Ответь мне прямо: хочешь ты со мной начать новую жизнь? Я, со своей стороны, обещаю все для этого сделать.

Вот она — та самая минута, о которой годы мечталось. Однако ответ был у нее готов:

— Хотела, Дэбшэн, чего скрывать? Очень хотела, больше всего на свете. А теперь не хочу.

— Почему?

— Вдруг поняла... нет, как-то почувствовала: ничего не выйдет. Поздно. Ладно, пойду с дядей Шаралдаем повидаться, — она сделала шаг к двери, обернулась, услышала:

— Подумай, прошу тебя. Это твое слово не последнее? Ведь правда? Ведь так, Мэдэгма?

— Я подумаю. Только не об этом. Мне о многом надо подумать, — и она улыбнулась, так улыбнулась, что у него сердце замерло, словно юность вернулась на миг. Юная девушка кружится в вечернем ёхоре, он глядит из толпы. Та же улыбка, нежная, страстная. «Та — да не та. Там — надежда, тут — прощание. Неужели?.. Нет, нет, она погорячилась, мы еще поговорим, и я сумею...» — так думал он, бесцельно глядя в пустой дверной проем, а в ушах все звенели, звенели ее слова: «жизнь врозь прошла... жизнь врозь прошла...»

### 33

— Шаралдай, — повторил дальний родственник, и новый душераздирающий приступ кашля накатил на него.

Все, затаив дыхание, ждали продолжения. Ишь, как его разбирает! Странное дело: никто этого человечка толком не знал, однако отношение к нему среди присутствующих установилось явно недоброжелательное. Уже не один Ломбо, а многие гадали: откуда он взялся? В начале застолья его вроде не было. Но самое странное: оба ближайших соседа дальнего родственника — справа и слева — тоже не смогли бы объяснить, как он появился. Только что его не было — и вот сидит, сам себе подливает, закусывает, словечко вставляет в общий разговор, хихикает — словом, пирует.

Так бы оно все и шло тихо-мирно, глядишь, песни и танцы начались бы, кабы приезжий не намекнул на давнюю историю с пожаром. Да так намекнул, будто ему вся подноготная известна! Ну и тип. Как это он спросил-то? «Найдется ли в Хасуурите



человек, способный на черное дело? Кто же он?» И сам же говорит: «Шаралдай...» Шаралдай, что ль, свиарники поджег?

— Что вы этим хотите сказать? — обратился Маглаа к маленькому человечку. — Шаралдай — а дальше что?

— Шаралдай... знает, — выговорил наконец человечек, и кашель его внезапно пропал. — Он был тогда хозяином свиней.

— Эго нам и без вас известно, — отмахнулся Гомбожап. — И товарищ майор тут, который следствие вел.

— Э, следствие! — усмехнулся родственничек. — Что может выяснить следствие, когда все в пепел обратилось, дымом улетело. Один Шаралдай видел, как свиарники загорелись, — и человечек захихикал беззвучно.

— Удивительная осведомленность! — заметил Маглаа доктору Аюше шепотом. — Он здешний? Из Хасууриты?

— Да нет, — отозвался тот. — То ли с Сосновой пади, то ли с Березовой... Не знаю точно. Как это говорят: птичка, что на все деревья и кусты садится.

— Вы говорите: следствие, — начал дальний родственник, отсмеявшись. — Вот в Иркутской области большой склад кооперации сгорел. Следствие установило: от электрического замыкания. Но ведь и замыкание можно устроить. Можно, можно. Оно хоть и явление, так сказать, природы, но золотые руки и природу могут покорить. Во всяком случае, замыкание это недаром накануне ревизии произошло. Подозрение, правда, осталось, но... из одного подозрения дело не сошьешь. Взять, к примеру, вооруженный грабеж в Хабаровском крае... — маленький человечек вошел в раж, и перед ошеломленными слушателями протянулась длинная преступная цепь грабежей, поджогов, краж, растрат, хищений на базах, складах, мясокомбинатах, в магазинах, столовых, ресторанах, случившихся в различных республиках, краях и областях, причем замешанными в эти происшествия оказались лица самые разные, начиная с крупного начальства и кончая грузчиком или сторожем. С истинным увлечением поведал дальний родственник о человеческой хитрости и находчивости, об интригах и зависти, о взятках, подлогах и подкупах, об угрозах и убийствах... Захлебываясь, рассказывал он о черных делах в черном мире. Хасууритинцы слушали, дивились, мрачнели. Будто и не было полевого простора за окнами, за околицей, синевы небес, человеческого благородства, вечнозеленых елей, звонких речек, густых трав и славных дел...

— А вы говорите: следствие! — заключил человечек черный рассказ и добавил многозначительно: — Кстати о следствии. Как будто в ваших свиарниках свиней не досчитались, а?

— А позвольте поинтересоваться, — Маглаа в упор глядел на маленького человечка, — откуда вам все это известно?

— Слухами, как говорится, земля полнится.

— Ладно. А вы не припомните, где сами в это время были? Уж не в Хасуурите ли?

— Да как вам сказать...

— Так и скажите!

— Был, — признался родственник. — В Хасуурите.

Какая-то нехорошая тишина воцарилась за столом; ее нарушил Ломбо, спросив

отрывисто:

— По-вашему выходит, Шаралдай свинарник сжег?

— Я этого не говорил! — отрезал родственник. — Я говорил: Шаралдай знает. Знает еще не значит: совершает. А я не знаю. Может, например, ты сжег. А может, дети играли, а может...

— А может, ты? — крикнул Гомбожап, тыча в человека пальцем, словно пистолетом.

— Может, и я, — родственничек рассмеялся беззвучно. — Да разве я признаюсь? Никто добровольно не признается — дураков нет. И доказательств давно уж нет.

Ломбо глядел на своего родственника тяжело, исподлобья (ведь как будто его, Ломбо, слова повторяет, как будто его собственный маленький бесенок, глубоко запрятанный, выскочил и разыгрался). Будаали, нюхом чувшая приближение скандалов и опасавшаяся их, сказала поспешно:

— Мужчины — как петухи какие-то. Сказано ведь было: сажа в печке загорелась. Вот и все. И чего на людей напраслину возводить? Кушайте лучше — стол от закусок ломится.

— А, ломится? — подтолкнула ее локтем сидевшая рядом Дэжэд. — Я что говорила? Пир на весь мир. Считай, спор ты проиграла. Завтра будешь моих коров доить.

— И вправду, много лишнего говорено, ненужного, — начал Ломбо. — У нас праздник, а тут про какие-то черные делишки затеяли... Давайте-ка встряхнемся, развеселимся. Разве мало в жизни радости, а?

— Точно! — подхватил Гомбо. — То как на похоронах сидели, а теперь прям на суде. Будто прокурор сейчас встанет да как...

— Не на суде, а на следствии, — проворчал Гомбожап. — Думаешь, майор просто так к нам пожаловал?

— Так он... — Гомбо вытаращил глаза на Маглаа, будто на чудо какое-то. — Это вы по поводу свинарников, что ль?

— Опомнись! — вмешалась его мать укоризненно. — Чего буровишь? Столько лет минуло! У нас в Хасуурите таких страстей, про которые товарищ приезжий говаривал, конечное дело, не случается, я на своем веку не упомяну. А все ж и мы не без греха. Скотина стала пропадать. Бык у Ломбо пропал, а у доктора — корова-трехлетка... да вон и Туваан говорит... Такого у нас давно не водилось, с двадцатых годов, поди, тогда еще банды по лесам скрывались, уводили скотинку. А с тех пор — ни-ни! Я это к чему веду? Не из-за быка с коровой, товарищ начальник, вы к нам пожаловали, а?

— Неужто в Хасуурите ворье объявилось? — удивился дальний родственник с ухмылочкой. — Скажите пожалуйста! И ваше мнение, товарищ майор, местные орудуют или кто со стороны, приезжие?

— Кроме тебя, приезжих у нас нету, — проворчал Гомбожап, прямо-таки с ненавистью глядя на маленького человека; тот аж зашелся в смехе.

— Не было у нас в деревне воров и нет! — возмутилась Дэжэд, и народ загудел одобрительно.

— Ну, ну, и свинарник у вас никто не поджигал, и скотинку не воровал, так получается? — отозвался человек.

— Я вот слушаю, слушаю и что-то ничего понять не могу! — заговорила вдруг Дулма угрожающе. — Вы на кого это намекаете? На Шаралдая? Шаралдай поджигал, Шаралдай воровал...

— А чье мясо ты на базаре позавчера продавала? — вскользь поинтересовалась всезнающая хозяйка.

— Ах, мясо! Ах, вот кто сплетни про нас распускает! — заговорила Дулма. — Наше собственное мясо — вот чье! Свекор третьего дня телка заколол...

— Заколол? Чего ж он соседей по обычаю не угостил? — не унималась Дулсама.

— А того — что деньги ему нужны!.. Не знаю, может, на похороны решил скопить... — Дулма пригорюнилась. — Может, умрет вот-вот, а вы нашу семью бесчестите! Какой вред вам старый больной человек причинил? Я, конечно, всего лишь женщина, — голос Дулмы постепенно крепчал, — простая женщина, слабая — но погодите! Найдется, кому за нас заступиться. Не забывайте, у Шаралдая сыновья имеются. Ладно, Дэбшэн человек ученый, рук марать не будет. Но Бадмаха — вы все его знаете! Он приехать скоро должен. Как бы кому от этого худо не было!

При упоминании о Бадмахе народ переглянулся многозначительно. Дулма правду сказала; ее мужа слишком хорошо здесь знали!

— Правильно, Дулма, говоришь, — поддержал ее Ломбо. — Завелись про какую-то ерунду, которая и гроша ломаного не стоит. На пир, на праздник люди приходят попеть да поплясать. А наше застолье действительно в судилище превращается. Ну-ка, друзья дорогие, споем! Споем, чтоб всем чертям завидно стало! Ну, Дэжэд, что пригорюнилась? Начинай! Ты у нас запеваала!

— Не станет ваш пир праздником! Захлебнется в слезах ваше веселье! Погодите, увидите, — никак не могла успокоиться доведенная до белого каления Дулма; вскочила вдруг — «чтоб ноги моей в этом доме!» — но Будаали, схватив подругу за локоть мощной ладонью, усадила ее обратно, шепнув:

— Успокойся, зачем скандал затевать? Будут болтать потом всякое...

— А чего ж тут языки поганые...

— Ладно, подружка! — крикнула Дэжэд. — Споем, что ли? — и начала:

**Восьмигранное наше жилище — юрта —**

**К солнцу повернуто дверью,**

**Молодые наши годы-лета.**

**К играм направлены поступью.**

**Редкие пока, недружные голоса подхватили песню. Однако полегоньку-потихоньку хор, наверное, набрал бы силу; и гости, отключившись от всяких странностей и неприятностей, заголосили бы в полную мощь. Но... Песня вдруг оборвалась. Все как один человек уставились на дверь, не веря глазам своим.**

На пороге, очевидно, довольный произведенным эффектом, стоял мужчина, могучий, заматерелый; казалось, плечищи его едва вмещаются в дверной проем, а голова упирается в притолоку. Впрочем, одет великан был вполне цивилизованно: бежевый плащ, белая рубашка, пестрый галстук. И шляпка. Именно шляпка с

крошечными полями чуть не спадала с огромной головы. Смешно, но жутковато: прямо какой-то ганстер из иностранного боевика.

— Бадмаха! — ахнул Ломбо.

— Бадмаха, — зашептались за столом; вообще народ, давно не выдавший доброго молодца — век бы его и не видеть! — поразил даже не Бадмаха как таковой, а то, что появился он почти сразу после зловещих предсказаний жены.

— Что происходит? — рыкнул Бадмаха, будто царь зверей. — Что вытаращились? Давно не видели?

Большие круглые глаза на Дэбшэновы похожи, только уж больно свирепо смотрят. Над правой бровью длинный шрам — воспоминание молодости о драке в райцентре, когда Бадмаху огрели сосновой жердиной, вывороченной из изгороди. Таких «воспоминаний» на теле доброго молодца немало.

Хозяин сидел как потерянный. Праздник испорчен безвозвратно, даже нет желания и сил суетиться, спасать положение. Когда осенний ураган раскидывает копны и скирды, собирать сено бесполезно. Или, говоря посовременному, «против лома нет приема». Против Бадмахи нет. А теперь, когда он узнает про эти слухи... про поджог, про скотину пропавшую — или уже узнал? — теперь от него ничего хорошего не жди. Неужели, устраивая этот злосчастный пир, он, Ломбо, сам себе капкан готовил?

Если Бадмаха что-то пронюхал — ничего в этом доме целого не останется, начиная с рюмок хрустальных до мебели. Да разве это мебель... с точки зрения ее крушения, так сказать? Низенькая, на тонких ножках... Вон в прошлый приезд Бадмаха на полевом стане в щепки разнес сколоченный из половых досок стол (и всегда все с рук сходит!). А тут... да пропадай оно все пропадом! Если б можно было, Ломбо крохотным комариком отсюда улетел бы!

— Значит, веселитесь! Пируете? — прорычал Бадмаха. — Так!.. Пока вы тут, значит, жизнью наслаждаетесь, человек пусть помирает, да? Деревня крошечная, население — раз, два и обчелся... кажись, на ладони уместится, шлепнешь — все население это в лепешку превратится! А жить дружно не умеете? Я вас научу! Давно небось настоящих мужиков не видали? Так поглядите — вот он, перед вами! И за поругание дома моего, отца моего умирающего...

— Бадмаха! — предостерегающе подал голос доктор Аюша. — Остановись! Зачем Шаралдая прежде времени хоронишь?

— Гляди-ка, и доктор тут! — изумился Бадмаха. — А я сразу не заметил. Тоже, значит, пируете, пока друг его верный... О-о-о! И товарищ майор... или гражданин? Не по мою ли душу сюда пожаловали? Так я еще чист перед законом, я еще тут не развернулся, а этот народишко, — Бадмаха широким жестом обвел застолье; вообще говорить складно он умел, особенно когда разойдется, — народишко этот вашего внимания не стоит. Разве это мужики? Только вякнуть под столом способны...

— Ну, ты не очень-то! — закричал Гомбожап, опомнившись, а Томбо подхватил:

— Тоже учитель нашелся!

Бадмаха не ответил — разъяренный взгляд его нащупал маленького человечка — дальнего родственника. Тот под Бадмахиным взглядом еще больше, кажется, уменьшился и съежился. Однако поглядывал по-прежнему нахально, с усмешечкой.

— А тебе тут чего надо? — продолжал Бадмаха. — Жареным в Хасуурите запахло,

да? Он всегда готов... на паленое. Дорогой гость, видать! Пригласили, посадили, напоили — с кем связались? Ну, народец! Про меня шепчутся, будто я до дармовых денег большой охотник. Дармовых! Вы бы повкалывали так, как я, сообразили бы мозгами своими куриными, что даром денег не дают. Зато есть некоторые, что сами денежки берут, даром! Вот этот, например...

Бадмаха умолк на мгновение, чтобы продемонстрировать маленькому человечку два здоровенных кулака — точно пудовые колотушки, какими по стволу кедра бьют, чтоб шишки посыпались.

— Ай, сохрани, господь! — воскликнула старуха Ешин и глаза закрыла, уверенная: ну, сейчас начнется! И не она одна: погрома ожидали многие и соображали потихоньку, как бы ноги целы унести.

— Ногтем могу раздавить, как клопа вонючего! — сообщил Бадмаха маленькому человечку. — И ты знаешь, за что... на тот свет отправлю.

Человечек сидел близко от двери, но все же трое обреченных соседей находилось между ним и Бадмахой. Он сделал шаг вперед, Маглаа вскочил, крикнув «ни с места!», — и потянулся к кобуре (обычно этот жест производил впечатление на дебоширов). Как вдруг произошло нечто непредвиденное... что ж, если веселья на пиру у Ломбо и не хватало, то захватывающих неожиданностей и случайностей был явный перебор. Его дальний родственник ринулся по ногам соседей к майору под защиту закона — так заяц делает скидку перед носом охотничьего пса — однако на полпути рванул в сторону, в одном прыжке перемахнул полкомнаты, подскочил к подоконнику и исчез в распахнутом окне.

— Вот так номер, что я помер! — воскликнул кто-то, выражая всеобщее самочувствие.

Но на Бадмаху это оригинальное исчезновение подействовало, как в сказке на царя зверей тень проскользнувшей мышки. Он отыскал глазами свою Дулму и сказал совершенно спокойно:

— Пойдем!

Дулма с обеспокоенным лицом молча встала и вышла вслед за мужем.

— Бог отвел беду! — сотворила молитвенное знамение старуха Ешин.

В следующий момент внимание присутствующих переключилось на Дулсаму, которая внезапно зарыдала взахлеб, медленно сползая со стула. Соседки с двух сторон поддерживали ослабевшую хозяйку, увещевая: дескать, исчез злодей и не вернется, дом цел и все вещи целы, ни одна тряпочка, ни одна рюмочка не пострадали.

— Ломбо! — заговорил Гомбожап с усмешкой. — Куда это твой родственник сиганул, а?

— Куда, куда... к черту! — проворчала старуха Ешин и встала. — И правда, нехорошо получается. Мы тут за столом лясы точим, а Шаралдай, может, перед смертью мучается... Пойти молитвы сотворить...

Она вышла из комнаты, за ней, потихоньку переговариваясь, другие старухи поднялись и старики. Доярки тоже пошептались между собой и принялись собираться.

— На вечернюю дойку еще успеем...

— Успеем, а то ночью ехать придется, чтоб к утренней поспеть.

— Как ты думаешь, Бадмаха Дулму не тронет?

— Кто его знает... вообще-то не за что.

За ними и остальные потянулись на выход, тем более что хозяева молчали, не упрашивали по старинному обычаю: мол, посидите еще, куда вы торопитесь, ведь песни не спеты, хороводы не начаты, ночка не кончилась...

### 34

Когда Бадмаха ввалился в дом, Дэбшэн сидел возле отца. На лице Шаралдая он заметил радость и обиду одновременно, губы под жиденькими усами силились улыбнуться, глаза, что называется, молнии метали. Сыновья стояли возле кровати, глядели с тревогой, и старик успокоился, очевидно, собрался с силами, сейчас начнется разговор серьезный и трудный.

Однако разговор начал нетерпеливый — мягко выражаясь! — Бадмаха, поинтересовавшись, чего это деревня вроде обезлюдела. А узнав, что Ломбо пир на весь мир закатил, старший сын сразу запыхтел, наливаясь праведным гневом. «Отец, значит, тут умирает, может... а они развлекаются!» Заорал что-то нечленораздельное — и был таков.

Шаралдай сразу замкнулся, глаза закрыл, от чая отказался. Дэбшэн не отходил от него, а из головы не шла Мэдэгма, точнее, последний разговор с ней. Неужто последний? По-видимому, да. Он впервые попытался встать на ее место, взглянуть на себя со стороны. Картинка получалась неприглядная. Десять лет назад, полный надежды и веры в свою звезду, — куда ж там, гений! — он спокойно отказался от нее: любовь представлялась прежде всего обузой, способной помешать его планам (впрочем, так хладнокровно он не рассуждал, а, скорее, ощущал подспудно). И вот теперь, оказавшись неудачником, бросился к женщине вымаливать поддержку и помощь. Дэбшэн аж передернулся. То есть и в том и в другом случае он думал только о себе. Законченный эгоист, махровый! И Мэдэгма совершенно права, отказавшись, в свою очередь, от него. Да, да, права... но что же делать? Жизнь рушится и... неужели нет спасения?..

«Сейчас мы разберемся, что ты там делала! Во всем разберемся!» — раздался со двора громовой голос.

Отец встрепнулся.

— Бадмаха? Зови его сюда. Поговорить хочу... давно с вами с обоими хочу поговорить, да случая никак не выходит...

Дэбшэн вышел на крыльцо в то время, как брат скрылся в сарае, за ним последовала Дулма. Дверь за ними со стуком захлопнулась. Дэбшэн остановился в нерешительности.

У супругов, тем временем, назревал скандал, к чему Бадмаха шел упорно и стремительно. Он сел перед печкой, поджав под себя ноги и указал на лавку возле стола:

— Садись!

Дулма исполнила его приказание не торопясь, с легкой улыбкой, будто предвкушая приятную беседу.

— Начнем, как говорится, сначала. Первая твоя вина, — Бадмаха вытянул правую руку и загнул палец, — будем считать, маленькая — вот с этот мизинчик. Ни одного письма мне не написала — почему? Я ждал, ждал... — он подумал и добавил великодушно: — Ладно, было б о чем толковать! Я не солдат молоденький, чтоб по письмам обмирать, обойдемся. Так, для порядка говорю. На чем я остановился?.. Вторая твоя

вина, — Бадмаха загнул безымянный палец, — поболе будет. Слыхал, скотину ты начала резать и продавать. Это как понимать? Хозяйкой в доме себя возомнила? Рановато! Отец пока жив, и запомни: ни ты, ни я здесь не хозяева — только он. Дальше! Средний палец — самый длинный, самая большая твоя вина. Отец тяжело заболел — а сноха где? Должно быть, от кровати не отходит, беспокоится, лекарства подает? Как бы не так! Она в это время, глаза свои бесстыжие вылупив, на стуле развалилась, у Ломбо на пиру веселится! Где это видано?.. Эх, прямо руки чешутся! Выдать бы тебе по первое число... Но еще успеется, разговор еще не кончен. Так вот, чтоб об остальных твоих грехах рассказать, никаких пальцев на обоих руках не хватит!

— Господи, еще-то что? — чем больше бесновался муж, тем, казалось, спокойнее становилась Дулма.

— Ты еще спрашиваешь? Ты чего это в райцентр повадилась шлаться, а? Мне все рассказали. Расфуфыренная, говорят, накрашенная... вон как сегодня!.. Мужика себе завела, а? Муж только за порог, а она тут... Отвечай! За эти шашни тебя не то что прибить, убить мало!

В это самое время Дэбшэн, решив все-таки позвать брата, вдруг как вкопанный застыл, услышав последнюю фразу: «За эти шашни твои тебя не то что прибить, убить мало!» Он рванулся было к двери сарайчика, однако его остановил голос невестки, веселый вроде, задорный:

— Успеешь еще убить-то! Сначала приласкай — сколько не виделись?

Дэбшэн махнул рукой и поплелся к дому. Ничего он в семейной жизни не понимает и не поймет, видать, никогда. После таких кровожадных слов жене осталось, кажется, только завывать и на помощь звать, а она смеется...

— Объясняется он там с Дулмой, в сарае заперлись,— сообщил он отцу, подсаживаясь к кровати.

— Объясняется, — Шаралдай усмехнулся с горечью. — Знаю я эти «объяснения». Наломает дров — потом от людей стыдно. Что ж, я сам, должно быть, виноват, что такие непутевые сыновья у меня выросли...

Дэбшэн только молча голову опустил — возразить нечего.

А в сарае продолжалось «объяснение».

— Ну что, так и будем друг на друга рычать? А я по тебе соскучилась, — Дулма встала, сняла плащ, повесила на гвоздь у двери и, оставшись в тонком крепдешиновом платье с короткими рукавами, прошлась по тесной кухоньке танцующей походкой — маленькая, кругленькая, что называется, в полном соку.

Бадмаха с пересохшими губами следил за ней прищуренным глазом. «Праведный гнев» внезапно сменился другим чувством... Нет, гнев не ушел совсем, он где-то тут «клокотал в груди», но желание от этого становилось еще острее. Знала б она — эта бабенка беспутная! — как он о ней мечтал, когда возвращался в общежитие и, полумертвый от усталости, на койку валился. Правда, мечтал! Конечно, в своих скитаниях он не всегда ложился спать в одиночестве, но — Бадмаха вынужден был признать! — ни одна бабенка с его женой не сравнится. Эта огнем полыхает, дотронься — и обожжешься! В деревне, помнится, удивлялись, что такой видный парень, добрый молодец, отнюдь не красавицу в жены выбрал. Впрямую, конечно, никто высказать свое мнение не осмелился, да он-то чувствовал. Дурачье! Не красавица, а слаще любой

раскрасавицы будет, знали б они!.. А может, уже кто и знает? Пальцы мгновенно сжались в кулачищи... Эх, попался б ему этот «знаток»!.. Дулма стояла перед ним, поводя плечами, лукаво улыбаясь, по-прежнему желанная, по-прежнему... Нет, не по-прежнему! Пентюха зря болтать не станет, не такой он человек...

— Ну, муженек, чего сидишь, словно памятник? — шепнула она, слегка наклонившись, таким жарким шепотом — кажется, мертвый расшевелился бы. — Приустал, может? Али другую завел, получше меня? А?

Ну, Бадмаха, знамо дело, не святой. Погулял, есть что вспомнить... Вон та официанточка в Якутске — получше или похуже? Стройная, высокая, волосы — чистое золото (можно даже подумать, что свой цвет, натуральный), духами всегда пахнет, а уж как обнимет да поцелует... Бадмаха из-за нее на целый месяц в Якутске застрял. Потом опомнился — сам на себя удивился — чего в ней такого особенного?.. А один раз с ним случилось настоящее приключение. На аэродроме в Иркутске с одной познакомился — нелетная погода была, со скуки сдохнешь — с кассиршей. Он напротив кассы на скамейке сидел, они всё друг на друга поглядывали, потом улыбаться стали, потом у нее смена окончилась, потом... Короче говоря, очнулся Бадмаха уже на берегу Черного моря — вот куда их занесло! Зажигательная, конечно, женщина, но... в результате Бадмаха с пустым карманом остался и вместо возвращения в родную Хасууриту пришлось снова на заработки податься: с теплого моря на Ледовитый океан махнул. А что делать? Гордость не позволяла Бадмахе перед своими — перед отцом особенно — в жалкой роли предстать. Жизнь мужчины, так рассуждал Бадмаха, сложна, иногда прыжок в сторону сделаешь... но сейчас, в знакомой с детства кухне, эти «приключения» показались дурацкими... «А вообще-то я дурак, — мелькнула мыслишка. — На черта мне эта кассирша сдалась! Да и официантка...» И некстати вспомнился землячок Данзан в сочинском аэропорту. Если он растрепал...

— Завел, не завел — не твое дело, — проворчал Бадмаха. — Я мужчина, ты женщина — большая разница. И нечего передо мной хвостом вертеть! — праведный гнев вспыхнул в нем с новой силой. — Привыкла тут перед мужиками!.. Узнаю что — гляди, Дулма...

— Ну, ну, ты не очень-то руки распускай! — защebetала Дулма, ничуть не испугавшись, однако, от греха подальше, отскочила к двери. — Хватит шутки шутить, мне поговорить с тобой надо.

— Поговори у меня...

— Так вот, Бадмаха, знай: я собираюсь замуж выйти...

— Чего? — Бадмаха аж на табуретке подскочил.

— Замуж, говорю, выхожу.

— При живом муже?

— Какой ты мне муж! Чем так жить, лучше в прорубь головой.

— Ишь ты, жизнь ей не нравится!

— А что тут может нравиться? Ты где-то по белу свету шатаешься, в свое удовольствие куролесишь, а я? — в голосе Дулмы зазвенели слезы. — Мне надо о своей жизни подумать, покуда совсем не состарилась...

— Значит, пока я там на морозе коченею, работаю до полусмерти... из-за тебя же! А ты... — Бадмаха чуть не задохнулся от негодования, одним прыжком к жене



подскочил да принялся за плечи трясти, приговаривая: — Из-за тебя коченею, на тебя же, на дуру неблагодарную работаю от зари до зари...

— Из-за меня?! — закричала, в свою очередь, Дулма. — Не больно-то много денег я от тебя имела! Сам же их пропиваешь да прогуливаешь, а домой с пустым карманом возвращаешься...

— Все вы, бабы, одинаковы! Всем вам не муж, а коняга бессловесный нужен, который день и ночь вкалывать способен!

— День и ночь... от вас дожدهшься!

— А чего тебе не хватает-то? Шуба из водяной крысы, шапка песцовая... Ну, чего там еще?.. сберкнижку завела...

— Ты меня моим добром не попрекай! — Дулма вырвалась из мужниных лапищ, к самой двери отошла. — Это мое добро, и я сама, вот этими вот руками на него заработала! Чтоб перед людьми не стыдно было, чтоб не хуже, значит, других... От темноты до темноты за телятами ходила... думаешь, легко? И по дому и по двору — все я! Говоришь, скотину продаю? Твой же отец велел... и потом: кто ее вырастил, выкормил? Опять же я!

— Да ну ее к черту — скотину эту! И добро твое... — отмахнулся Бадмаха. — Не об том речь. За кого ты замуж собралась — вот что интересно! Ну? Говори!

— Так ты ж все про меня знаешь! Сам давеча болтал про какие-то шашни мои. А мне про твои немало известно, — говорила Дулма с ехидством. — Чем друг друга обманывать, давай-ка разойдемся в разные стороны по-хорошему, самое милое дело. Выйду замуж — и совесть будет чиста, греха на душу не возьму. Чем тайком...

— Кто же эта сволочь?! — с перекошенным лицом взревел Бадмаха.

— Ты его не знаешь, — Дулма, напротив, отвечала спокойно и рассудительно. — И знать тебе незачем. А то, неровен час, драться полезешь...

— Да я ему голову оторву!

— Во-во! К тому я и говорю: ты ж сумасшедший, человека невинного...

— Я этого невинного! Я его...

— И сам по-глупому в тюрьму сядешь. Все бабоньки твои без тебя осиротеют.

— Эти бабоньки... бабоньки эти для меня... — Бадмаха искал выражения покрепче. — Тыфу они для меня... плюнуть и растереть! А ты... я пока еще хитростей твоих понять не могу. Пока не могу, но гляди... Ты меня знаешь, я ведь глазом не моргну, что-что...

## 35

Облака потемнели, сгустились, зыбкие, зыбкие сумерки переходили в вечернюю мглу. Хасуурита словно опускалась медленно, почти неслышно на дно гигантского озера. Очертания гор расплывались, окутывались тьмою, которая поднималась вверх, к вершинам из распадков и ущелий. Надвигались на деревушку ели, ближе, ближе, окружали плотным кольцом — непобедимое, бесшумное воинство — эти посеревшие, почерневшие от дождя и мороси деревянные домишки... Но вот то в одном, то в другом зажглись оконца, повеселее вроде бы стало, поуютнее в надвигающейся ночи. Один дом Ломбо не засветился огнями, покинутый гостями, словно необитаемый.

Да нет. За накрытым длинным столом трое остались на своих местах — неподвижные безмолвные тени.

— Заглянет кто-нибудь, испугается. Как привидения, в темноте сидим, — нарушил Ломбо потаенную тишину. — Ну и как вам мой пир? Русские говорят: по усам текло, а в рот не попало. Никогда такой бестолковщины не видал, — он усмехнулся. — Бегаешь, суетишься, потом вдруг задумаешься: а зачем? Все равно через себя не перепрыгнешь, — Ломбо помолчал. — Ладно, чего крутить-вертеть? Поговорим прямо, ничего не потаю.

— Что ж, поговорим, — тихо отозвался доктор Аюша.

— Много тут за столом болтовни было, — продолжал Ломбо задумчиво, — а правды никто не сказал. Душа болит — вот она, правда-то. Всегда верил, что у меня хватит мужества на любую правду, а как до дела дошло... Струсил, будто заяц, которого собачья свора вот-вот затравит.

— Это мы — собачья свора? — поинтересовался Маглаа.

— Э, не придирайтесь к словам! — Ломбо опять замолчал, потом сказал отрывисто. — Да, я говорил Шаралдаю насчет свинарников. Не то чтобы впрямую, а так, намекал: хорошо бы, дескать, эту рухлядь старую подпалить. Но откуда мне было знать, что он это сделает? Я ведь не всерьез...

— Не всерьез? — эхом откликнулся доктор Аюша.

— Ну да... я уж и думать про тот пожар забыл...

— Забыл? — раздалось неотвязное эхо.

— Вот ведь хочется всю правду выложить, а опять какая-то крутня получается! — воскликнул Ломбо. — Не забыл, нет. Как узнал, что Шаралдай слег, может, при смерти — только про те свинарники чертовы и думаю. Думаю, Шаралдай перед смертью очиститься захочет, душу облегчить, разболтает все. Испугался — это правда. Не то что тюрьмы испугался — дело-то прошлое, а... людской молвы. Но даже не это главное. Вот вы оба сейчас ответьте мне: виноват я или не виноват, а?

Долгое-долгое молчание в ответ. И не видать в густых потемках, не разберешь, о чем они думают, судьи его, есть ли надежда у подсудимого или беспощадный будет приговор.

— Ладно, начну сначала. В тот вечер зашел ко мне Шаралдай — я тогда бригадиром работал — пожаловаться зашел: доколе, мол, поросят морозить будем? Ты, Аюша, должен старые свинарники помнить: крыша течет, сквозь щели ветер свободно гуляет, словом — бельмом на глазу они в колхозе были. А я как раз днем насчет свинарников с председателем лаялся. Ему, видите ли, дворец для свиней подавай, по старому проекту, дескать, негоже строить. А я так думал: не до жиру, быть бы живу. Ну, я Шаралдаю-то и отрезал в сердцах: хоть бы кто поджег их к чертовой матери! Потом посидели, поговорили — дернула меня нелегкая водку выставить. От нее, от паскуды, все зло. В голове зашумело, и так явственно померещилось: горит гнилье синим пламенем...

— Вместе с поросятами горит? — перебил Маглаа сурово.

— Ни-ни, и в мыслях не было! Я Шаралдаю говорю: нашелся б, говорю, смелый человек, сжег бы все это наше позорище, а свиней бы перед этим выпустил. Я ж не сумасшедший, хоть и выпимши был, соображаю, какой убыток колхоз от свиней поимеет. Я только о строениях этих говорил, понимаете? Я говорил: сгорят свинарники

— быстрее новые построят. И вообще: я не то что подговаривал Шаралдая на поджог... я как бы просто предложение внес: хорошо бы...

— Рационализаторское предложение, да? — опять перебил Маглаа.

— Да вы что, не верите мне, что ли? Да если честно сказать, я и в голове не держал, что Шаралдай вправду на такое осмелится. Он же спящую овцу не обидит, червя ползущего не раздавит... Аюша, подтверди. Именно что безобидный человек! Правда, как быков нам приказали на мясо сдать — бесполезное вроде животное — он, с быками расставшись, как-то поугрюмел, одно время даже зашибать стал... ну да это уже после свинарников было, после пожара то есть. А в тот вечер у меня и мыслей таких не было, и не думал, чем мои слова бестолковые обернутся. Шаралдай вдруг поднялся, ни словом не обмолвился и вон вышел. Ну, остальное вы, должно быть, от него от самого знаете.

— То есть вы хотите сказать, что случайно про поджог обмолвились и подстрекательством не занимались? — сделал заключение Маглаа.

— Специально не занимался, но если уж начистоту — председателю мечтал свинью подложить... Именно что свинью! — Ломбо издал короткий смешок. — Вообще я всегда честно боролся, открыто... с кем считал нужным. Вот и Аюша может подтвердить: на собраниях выступал, критиковал. А тут: ну нашла коса на камень. Гнет свою линию, как танк, прет, никого не слушает. Вот я и стал задумываться: хоть бы черт председателя нашего убрал отсюда!

— Выходит, о планах мести непокорному председателю вы давно задумывались?

— Да как вам сказать...

— Да так и скажите.

— Вы мне все равно не поверите. Я не сам про этот поджог придумал, честное слово!

— Кто же придумал?

— Видали сегодня у меня за столом человечка такого маленького, черненького? Это мой родственник, дальний, по отцовской вроде линии. Я его перед этим несколько лет не видал, даже имя не вспомнить, хоть убей. А в те годы он заезжал иногда ко мне, ну, я с ним душу и отводил... что накипело, высказывал. Надо сказать, я тогда аж горел, до того председатель этот опротивел: в сыновья годится, а туда же, лезет с указаниями, с поучениями... Вот родственничек-то дорогой возьми как-то и скажи: чего ты с ним цацкаешься? Он и начальству районному уже глаза намозолил, всем известно. Случай нужен — и полетит он к чертям! А случай, говорит, организовать можно, например, свинарники старые вдруг сгорят, а? Им одной спички, мол, хватит. И засело у меня в голове: вот так «случай» — и от старья можно избавиться, и от председателя!

Ломбо помолчал, стараясь справиться с волнением.

— Вы не подумайте, что я свою вину хочу на другого свалить. Я виноват, знаю, но только в мыслях, а не в поступках.

— Да, суд за поступки судит, правда. Но перед совестью своей мы и за мысли отвечаем, — сказал тихонько доктор Аюша. — Ответь, Ломбо, честно. Не сгори в ту ночь свинарники, ты бы так и продолжал их в мыслях поджигать? Не пошел бы дальше?

— Не знаю, — ответил Ломбо после паузы. — Ручаться за себя не буду. Может, опомнился бы, а может... Наверное, зло всегда наружу выйдет, как его ни скрывай. Сколько лет прошло, кажись, все шитокрыто, а ведь всплыло... Как я услышал, что

Шаралдай слег, так меня словно обухомшибануло. Зачем же, думаю, я заявление в милицию насчет пропавшего быка подавал, о Шаралдае как о виновнике намекал? Приедет, думаю, следовательно, разворошит весь наш муравейник. Вы и приехали, и разворошили. Потому и пир этот дурацкий затеял, сойтись с товарищем майором захотел... ну, и народу показать, что я еще в силе и в почете. А пир вон как окончился, сейчас небось вся деревня надо мной посмеивается, а уж про свинарники эти проклятые узнают — хоть в другие края насовсем подавайся.

— Не выдумывай! — отмахнулся доктор Аюша. — Скоро и так нам переезжать... в «другие края» — на тот свет.

— Да я о себе, что ли, беспокоюсь? — заговорил Ломбо громким шепотом. — Лучше руку сломать или ногу, чем имя опозорить. Ведь у меня сын! А вдруг он и вправду сюда руководить колхозом приехал?... Недаром говорят: не бросай вверх камень — на тебя упадет. Я прежнего председателя подселел, а он моего сына поддержал, воспитал, в люди вывел и к нам, выходит, рекомендовал. Вот так отомстил мне, старому дураку: добром на зло ответил. И в старых книгах вроде так написано, да, Аюша?

— Эх-хе-хе, — вздохнул доктор. — Никак не научимся по-доброму жить. А надобно знать, что в конце концов добро побеждает. Ты это на своей шкуре испытал. Хорошо хоть понял!

— Понял, понял. Я сначала отпираться во всем решил. Дескать, выдумывает Шаралдай, на меня хочет свой грех свалить. Свидетелей-то не было! Да надоело мне пугаться и прятаться — сколько можно? Годы и годы. И... человечек этот меня сегодня смутил, родственничек мой: прямо как ворон на падаль прилетел! Да неужто я действительно падаль? Нет, лучше покаяться, на душе легче... а там будь что будет!

«Значит, и Ломбо пробрало, — доктор Аюша вновь вздохнул. — Задумался в конце жизни, зачем на свете жил».

— Ты, Аюша, должно быть, меня ненавидишь, — продолжал Ломбо. — Есть за что. Только знай: я ведь когда на собрании-то — помнишь? — вопрос о тебе поднял, я тебя и вправду классовым врагом считал — паразитом на теле народном... Думал, тебя просто из артели исключат, как чуждый элемент, про лагерь не подумал, честное слово...

— Да ладно! Я сам себя тогда «чуждым элементом» считал. Успокойся: зла на тебя не держу. Что было, то быльем поросло.

— Хорошо б, коли так. По-разному мы с тобой жизнь прожили. Я добро собирал, ты — книжки, мысли то есть. Хочу тебе сказать, может, больше и не доведется случая: ты счастливей меня, так и знай.

— Ну, ты будто навек прощаешься.

— Не навек, а... товарищ майор, есть ведь статья в законе, карающая подстрекательство к черному делу?..

— Какое такое черное дело? — раздался вдруг пронзительный голосок у входа; трое сидящих за столом вздрогнули, но никого не было видно в густой тьме. — Поджог свинарников, да? Поймали наконец поджигателя? — тархтел голосок.

— Уж не твой ли, Ломбо, это родственничек явился? — подал голос доктор Аюша, преодолевая внезапную дрожь. — Гляди-ка, и в двери, и в окна, и в любую щель пролезет.

— Это верно! — подхватил человечек. — Всюду пролезу, где меня не ждут... А

может, ждут, а, Ломбо? Впрочем, я спешу...

— Ну-ка, задержитесь, гражданин, не мешало бы свами поподробнее побеседовать, — сказал Маглаа.

— Меня вполне Ломбо заменит, правда, Ломбо? Самый близкий мне человек, мое второе «я», если можно так выразиться. А я, честное благородное слово, тороплюсь. За шляпой вернулсЯ. Как же без головного убора, ночи холодные...

— А я вам приказываю остаться и...

— Без санкции прокурора не имеете права. Ночи, говорю, холодные, темные, одинокие... — пронзительный голосок затихал вдалеке. — Счастливо оставаться!

— Ну и ну! — заговорил доктор Аюша. — Человек это был или призрак?

— Призрак, — отозвался Ломбо с ненавистью и добавил непонятно: — Мой собственный призрак... второе «я»...

— Ладно, не заговаривайся, — слышно было, как доктор Аюша поднялся со стула. — Ты человек. Не горюй! Пойдем, майор, а то Дулсама с невесткой, наверное, ждут не дождутся, когда этот пир кончится.

— Кончился пир! — Маглаа тоже встал.

И Ломбо вскочил с места, заговорил суетливо:

— Друзья!.. Можно мне вас так называть?.. Я что хочу... Я ничего от вас не утаил, все выложил, надеюсь, так сказать, на вашу широту. Но... сын ведь приехал! Как он после всего этого работать тут будет, а?.. Не марайте мое имя в грязи, не ради себя прошу — ради сына! Да и Шаралдая незачем перед смертью позорить. Раз уж мы с ним признали свою вину, пусть все это между нами и останется. Кто не без греха? Нет таких, какое-нибудь пятнышко да и найдется, если покопаться... Проявите милосердие! А насчет быка — вы ведь насчет пропавшего быка приехали, товарищ Маглаа? — закройте это дело, а? Пусть, как говорится, земля услышит, свинья прислушается<sup>4</sup>.

— А ведь только что раскаивались, любое наказание были готовы понести, — сказал Маглаа, натягивая в темноте плащ. — Во всем разберемся по закону.

— Но как же мне теперь...

— Повторяю: во всем разберемся. Мне в этом деле еще многое неясно. Виновный—ответит.

Домбо поник, сгорбилсЯ, остался в одиночестве в темноте, прислушиваясь, как удаляются шаги его «судей».

## 36

Соня со свекровью убрали со стола под непрерывное брюзжанье Дулсамы:

— Вот ведь черт необузданный! Никогда никого не послушает. А я ведь предупреждала, уговаривала... Придут, нажрутсЯ досыта, а потом с месяц будут хозяевам косточки перемывать. Помяни мое слово — так и будет. Зачем нам этот праздник, чему радоваться? Я без сил, поясница отваливается, еле ноги волочу...

Соня вымыла руки, перенесла по одному заснувших на сеновале, вялых, теплых детишек в дом, никто из них не проснулся.

Укладывая в постель Игоря, она заметила на нежной коже под ключицей две

---

<sup>1</sup> Поговорка, смысл которой означает примерно: будем глухи и немые.

ярко-алых полоски. Смочила кусочек ватки йодом из домашней аптечки, слегка провела по царапинам: сын застонал жалобно, но продолжал спать.

«Бедненький мой! — думала Соня, целуя теплую макушку. — Неудивительно, что устал в такой суматохе. И этот противный мальчишка — как ястреб налетел. А если б не я? Убить бы мог?... Боже мой, зачем мы сюда приехали?..»

Перед ней возникло лицо Мэдэгмы, красивое, но, как казалось Соне, злое и вызывающее. Будто та сказать хотела: «Зачем вы сюда приехали? Не боитесь?» И сыночка своего в такой же злобе воспитала. Интересная женщина, ничего не скажешь, а замуж так и не вышла — значит, живет прошлым, значит... А вдруг она сейчас с ним?

Целый день Соня отгоняла от себя страшную мысль, но... действительно, где Цезарь? В честь сына старики праздник затеяли, а сына и след простыл? Странно. Странно все это.

Появилась свекровь, принялась помогать постели стелить, да лучше и не появлялась бы: ворчание ее было невыносимо. Она помянула всех своих домашних — и мужа, и Цезаря, и Ханду — перечислила их грехи и вины перед нею, перед «больною женщиной», которая «прямо падает от усталости», которую «никто не бережет» и так далее. Покончив наконец с постелями, Соня набросила плащ и вышла во двор. Прошлась взад-вперед по бетонной дорожке, приблизилась к навесу, присела на деревянный чурбан возле погасшего костра, на котором сегодня варили в котлах мясо, Дулсама залила его водой, но в черном кругу пожарища изредка вспыхивали красным тревожным пламенем тлеющие угольки.

А ночь наступала беззвездная, беззвучная, отдаленный собачий лай лишь подчеркивал деревенскую тишину. Черная тень метнулась во тьме. Соня вздрогнула и почти сразу рассмеялась облегченно. Огромный хозяйский пес. Как она могла забыть? И кличку забыла. Соня почмокала ласково, подзывая пса, но тот никак не отозвался, продолжая бесшумно метаться вдоль забора.

Чужие люди, чужой дом и собака чужая. Тревога и одиночество, казалось, усиливаются с каждой минутой. Зачем она согласилась переехать сюда? Да, она никогда не перечила мужу, не вмешивалась в его дела, стараясь по лицу, по голосу угадать его мысли и настроение и вести себя соответственно. Теперь вот невольно задумаешься: а правильно ли она поступала? Может быть, стоило отстаивать свое мнение, вести бесконечную семейную борьбу, которая ведется во многих и многих семьях? Нет, для борьбы она не годится, не тот характер. И потом: живут же ее родители в мире и согласии, почему же они с Цезарем... потому что Цезарь — отнюдь не ее отец, вынуждена была признать Соня, он не привык уступать, даже в мелочах. Выходит, она... надо же идти до конца!., выходит, она совершила ошибку, став его женой? Нет- нет, об этом даже подумать страшно. «Я его люблю! — горячо возражала Соня самой себе. — И он меня любит! И от первой жены он сам ушел, никто его не заставлял. Просто сегодня день такой нервный — вот я про них невесть что и выдумываю. Глупости все это!..» Вдруг вспомнились слова Эржены, самой близкой, детской еще подружки: «Смотри, Соня, смотри... Мужик тертый, разведенный, колючий какой-то. По-моему, с Алешей вы больше друг другу подходите...»

Да, наверное. Соня с Алешей — ровесники, тогда студенты технологического, веселые, беззаботные, красивые... Неужели это было? Пушистый морозный вечер, городской каток, музыка, они без усталости кружатся, взявшись за руки... Было, было — казалось, лучше и не будет и не надо — так казалось, покуда не появился Цезарь. Наверное, Алеша ей больше подходит, славный парень, легкий, открытый, но... разве за это любят? А за что? Неизвестно. Просто она знает, что без Цезаря ей жизнь не в жизнь. Никто этого не понял (подруги шутили: «Сонькин фермер! Ничего мужик, но лучше не связываться, загонит в деревню!»), никто, кроме отца.

Дело, конечно, не в деревне. Да и чем деревня хуже города? Наоборот: Соня, детские годы проведшая в райцентре, вспоминала о деревне с нежностью. Бывало, уговорит отца — и едет с ним в старом дребезжащем «газике» на поля или на ферму. Как хорошо было! Вдалеке трактор тарахтит, чуть не пять плугов тащит, небо весеннее, бездонное, а простору... дрожащий парок над свежеспаханым полем, повариха на стане кашей угощает, вроде вкусней и не ела с тех пор ничего... Или коровы, чистые, важные, по пестрому лугу на вечернюю дойку идут, каждая к своей доярке.., а молоко парное, теплое, пьешь — не оторвешься. Все к отцу подходят, здороваются, разговаривают уважительно. Отец — главный здесь человек, так маленькая Соня понимала. Нет, деревня в воспоминаниях ее была местом прекрасным, и, встретив своего «фермера», Соня как будто с давно знакомым, близким человеком встретилась.

И вот они приехали в Хасууриту. И что же? Неужели обманули ее воспоминания? Мрачно, неудобно, одиноко ей казалось тут, словно и погода вечно пасмурная, хмурая, и люди неприветливые, насмешливые и... и главное — эта женщина со своим сыном.

Соня никогда не расспрашивала Цезаря о его первой жене, не интересовалась, почему он развелся с ней. А может, это она ушла от него, потом пожалела да так и осталась одинокой. Может, она до сих пор любит его? А он — ее?..

Соня резко поднялась, прошла по двору к калитке, распахнула ее, оглядела улицу. Пусто и темно.

Собака, насторожив уши, подошла к ней, еще издали принохиваясь: новый человек — что за человек? — остановилась напротив, слегка склонив морду, поблескивая зрачками.

Соню внезапно охватил страх. Загадочная деревушка Хасуурита! Поджоги, кражи скота, следовательно с двусмысленными вопросами, странные ответы маленького человечка, странное поведение свекра. Она оглянулась на амбар, куда ушел ночевать Ломбо, на дом, где спали дети. Не нравится ей все это, не хочет она здесь оставаться. Собака зевнула, громко клацнув зубами, потянулась всем своим длинным телом и вновь замерла, глаз не сводя с нового человека.

## 37

Таряша усадил Цезаря на самое почетное место за столом, а когда тот воспротивился было, положил ему на плечи огромные ручки: попробуй воспротивиться! — провозгласив:

— Ты у нас самый гость дорогой!

И поглядел многозначительно; хорошо хоть не ляпнул, что Цезаря в председатели

прочат.

— Небось не приходилось еще в Хасуурите на самом почетном месте сидеть? — подхватил Гомбожап. — Привыкай. Мы тебя куда надо посадим и требования немалые предъявим.

— Все исполню, — отозвался Цезарь, стараясь разговор в шутку обратить. — Прикажете спеть — спою, сплясать прикажете — в пляс пущусь.

— И еще как спляшешь! — смеялась Дэжэд, наливая гостям чаю. — Свой у нас теперь начальник будет, хасууритинский. А мы только сегодня утром говорили: вот бы нам нового председателя, молодого.

— Точно! — вмешалась Эржэни. — Все доярки, Цезарь, тебя поддержат. Мотай на ус. Правда, Мэдэгма?

Вдруг все сидящие за столом с любопытством уставились на нее. Она молчала в растерянности. Слишком много всего обрушилось на нее за эти дни, судьба словно позабавиться хочет... Дэбшэн... Цезарь... да и Гомбожап вон наблюдает искоса...

— В качестве заведующего фермой, — заговорил он, не дождавшись от Мэдэгмы ответа, — должен заметить, что надои у вас, бабоньки дорогие, отстают от прошлогодних. А раз у нас теперь председатель молодой — хотя бы ради него подтянитесь.

— А вы кормов больше давайте и качественнее, — пробасила Будаали.

— А это уж ты на Данзана своего должна покрепче нажать. Навались на него, покуда обязательство не даст снять хороший урожай.

— Данзан в лепешку превратится, если женушка на него как следует навалится! — крикнула Эржэни; все захохотали: после странного сборища — суд? следствие? — у Ломбо хотелось смеяться и дурачиться. Данзан потихоньку ущипнул за бедро сидевшую рядом Эржэни; та взвизгнула от неожиданности, подпрыгнув, словно молодая козочка; Гомбо взглянул на жену грозно, Данзан заколыхался в смехе.

— Видали? — Эржэни пренебрежительно взглянула на Данзана. — Они только и умеют что руки распускать, на большее у них сил нету. Бабоньки! Будаали! Дэжэд! Объявляем своим мужикам забастовку: покуда большой урожай не снимут, на пушечный выстрел к себе не подпускать, а?

Доярки загалдели одобрительно, а Данзан взмолился с отчаянием:

— Пощадите горемык! Мы ж без вас пропадем... к тому же мы начали исправляться. Цезарь, будь свидетель! Сегодня гулять к Ломбо не пошли — а почему? К комбайнам приспособления приделывали для наших хлебов. Так-то вот!

— Потери зерна надо уменьшать, — заговорил Таряаша не в лад общему, настрою, озабоченно. — От комбайнов с двумя барабанами больше пользы... или хоть к барабану битеры добавить. Я вот думаю...

— Видишь, Гомбо? — Эржэни подмигнула мужу, сидящему напротив. — Настоящие мужчины думают о приспособлениях всяких, пока ты на празднике баранов разделяешься.

— Ну, ну, поговори у меня! — отрезал Гомбо и поглядел на Цезаря. — Может, зря только время потратили. Если завтра распогодится, никакие приспособления не нужны, и так справимся.

Цезарь помрачнел. Вот народец! Хотел как лучше, а его же — чуть что — и осудят:



не успел еще место председателя занять, уже бегают, высунув язык. Это сколько ж сил надо, чтобы у своих авторитет заработать! С чужими легче... «Может, не распогодится завтра? — подумал он с надеждой и тотчас себя одернул. — Да что это я? Чтоб авторитет заработать, непогоду накликаешь готов! Тьфу! В совхозе работал себе и работал, ни о каком авторитете не заботился, а тут... распустил хвост!»

— Бойко ты, Цезарь, за дело взялся, — продолжал Гомбо. — Эдак ты в два счета колхоз наш невезучий вытянешь, как трактор гусеничный, на гору. Не успеем порадоваться, как тебя уж наверх заберут. Помяни мое слово! У нас дельные председатели не задерживаются, — закончил Гомбо неожиданно грустно.

— Какой я тебе трактор! — отмахнулся Цезарь.

— А что? Сила есть, — вмешался Таряша одобрительно. — Как ты сегодня подхватил...

— Сила есть — ума не надо, — оборвал его Цезарь нетерпеливо. — Давайте переменим тему: нечего железную люльку готовить еще не рожденному ребенку.

Сила действительно есть, ничего не скажешь. В совхоз свой, где его еще никто не знал, Цезарь прибыл к концу посевной. Вот так же, как сегодня, сразу на поля помчался. Жара, помнится, стояла, как летом. Умаявшись в долгой поездке, решил в речке окупаться. Там два местных тракториста барахтались и старичок-водовоз тщетно стегал свою лошаденку, пытаясь с полной бочкой на берег выехать. Цезарь с трактористами пробовали телегу подтолкнуть — ни с места. Старичок рассердился окончательно, распряг лошадь и поскакал ленивым галопом на полевой стан за конем покрепче. Трое оставшихся присели на нежную еще травку, о посевной беседуя, как вдруг Цезарь встал, подошел к телеге с бочкой, крепко связал оглобли чересседельником и, упершись ногами в землю, потянул, напрягая постепенно все силы. Телега дернулась раз, другой, пошла медленно, толчками, и поднялась-таки на берег. У сидящих на травке, что называется, челюсти отвисли.

С тех пор, с того первого дня народ в совхозе Цезаря зауважал, особенно парни и ребятишки. Не как инженера дельного зауважал — это пришло позднее — а как могучего мужика. Потом и работника в нем оценили, по русской поговорке: взялся за гуж, не говори, что не дюж. С утра до ночи вертелся, а ведь вошел в хозяйство налаженное, что называется, на полном ходу. Что-то здесь, в Хасуурите, будет? Директор, его бывшее начальство, рассказывал, что в совхозе за пять лет сумел наладить дело с кормами, а тут сколько потребуется? Вон доярки жалуются — и справедливо. А как давать больше кормов, если распахивают всего лишь около половины колхозных угодий? И в этом необходимо разобраться, а Таряша говорит, агроном слабоват, не тянет. Вот уж действительно: куда ни кинь, везде клин.

Цезарю опять, как утром в поле, загорелось начать как можно скорее. Эх, будь его воля... «Ну, ну, не суетись, — приказал он себе. — Ты пока еще никто. Общее собрание на днях будет и... там поглядим...»

— Подлей-ка, Дэжэд, чайку, — попросил он хозяйку. — Чай у тебя больно вкусный.

— Ой, не говори! — отозвалась Дэжэд несколько кокетливо. — Разве это чай? Разве это стол? Все как зря, наспех... Прямо стыдно!

Однако Дэжэд явно приbedнялась. Знамо дело, не такое угощение, как у Ломбо на пиру, но свеженькое все, аппетитное, само в рот просится. В двухлитровых чашках

сливки налиты доверху — молоком и сливками обе коровы доктора Аюши славятся... да и трехлетка, что нынче впервой отелилась, тоже хорошая коровка выросла, должна была старую заменить, кабы не пропала. Детишки каждый вечер стадо с пастбища встречают, все еще надеются, деда уговаривают в лес пойти поискать.

Итак, сливки. Масло в стеклянной банке, свое, домашнее. На тарелочках огурцы со своего огорода тонко нарезаны, черемша тускло отсвечивает: ее Дэжэд ранним летом на склоне Желтого распадка много насобирала. В нарядных фарфоровых пиалах, разрисованных забавными зайчишками и лисами, — голубика, брусника, черемуха. В прошлом году в райцентре дети уговорили мать купить эти пиалы. Она-то туфли себе приглядела, но перед такой красотой не смогла устоять.

Что еще? Вареные яйца. Огромная черная сковородка с жареными хариусами. Эх, если б вчера доктор Аюша с охотничьей добычей вернулся, Дэжэд суп из дичи перед гостями поставила. Но самое обидное для хозяйки, что не успела она испечь своих знаменитых на всю деревню калачей, пышных, духовитых. Дэжэд — мастерица печь хлеб. «Ну, как сноха?» — поинтересовался Шаралдай у доктора Аюши, когда Таряаша привел молодую жену в дом. «Хорошая сноха. Руки золотые». — «Быстро ты распознал». — «И ты сейчас распознаешь. Вкусными калачами я тебя угощаю?» — «Очень». — «Она спекла. Вот я тебе про руки и толкую». — «Так оно и есть, — подтвердил Шаралдай, проглотив изрядный кусок калача. — Прямо во рту тает. И моя сноха так же печет. Ох, если б Бадмаха поумнее да поосторожнее был — как сыр в масле катался бы...»

Однако сегодня Дэжэд некогда было проявить свой талант — из Унсэгтэ на пир, от Ломбо к своим гостям — голова кругом идет... На столе серый магазинный хлеб ломтями крупными нарезан.

— Не успела угощенья хорошего приготовить, — сокрушается хозяйка. — Я дома-то почти не бываю.

— А чего еще надо? — удивился Цезарь. — Разве что птичьего молока не хватает? Самая наша бурятская еда.

— Когда я маленький был, такое и не снилось, — сказал Данзан, попивая чай со сливками.

— Да уж, после войны лихолетье было, страшно вспомнить!

— С голодухи мерли...

— А сейчас с тринадцатью детьми прожить можно...

— Мэдэгма, что ты как на похоронах сидишь? — обратилась Дэжэд к подруге. — На-ка маслица, сливок... черемши поешь. Ты небось и пообедать сегодня не успела?

Гомбожап долгим взглядом посмотрел на Мэдэгму; она покраснела слегка, опустила голову; он заговорил — сначала тихо и однообразно, будто смычком по струнам хура<sup>5</sup> запиликал. Но постепенно, разгораясь, целую речь закатил (слишком долго он на пиру у Ломбо молчал, хотя и тамадой был выбран):

— Жизнь — не такая уж увлекательная штука, как поначалу, по молодости кажется. День да ночь — сутки прочь. Так и живем, в суете да мелочах, так и годы проходят незаметно... незаметно и жизнь пройдет, однообразно, без перемен — вот что самое

---

<sup>5</sup> Хур — национальный смычковый инструмент.

страшное.

— Что-то, друг, ты сегодня больно уж безрадостно настроен, — заметил Цезарь..

— А чему радоваться? — Гомбожап усмехнулся. — Твоему назначению? Думаешь, такая большая перемена в нашей жизни за этим последует? Сомневаюсь. Ты понять должен, Цезарь, что мы на месте стоим, ни туды ни сюды, ни к лучшему, ни к худшему. В Хасуурите давно уже тишь да гладь, будто в озере, густой ряской затянутом. В озере? В болоте мы живем! Кинь камень — чуть вздрогнет тишь да гладь наша проклятая — и снова воды недвижно сомкнутся. Пойми, я не хочу, чтоб ты у нас камнем этим на дно осел. Сумеешь болото всколыхнуть, воду очистить — честь тебе тогда и хвала! А пока я радоваться погожу.

— Не сказал бы я, что такая уж у нас тишь да гладь, — проворчал Гомбо. — На поверхности еще может быть... а поглубже заглянуть — черт-те что творится! Зачем следователь пожаловал? Куда скотина пропала? Что со стариком Шаралдаем случилось? Ну-ка, ответьте!.. Молчите? То-то же. А у отца твоего на пиру сегодня полдня про поджог говорили...

— Про какой еще поджог? — удивился Цезарь.

— Про какой... про тот самый, когда свинарники колхозные сгорели, помнишь?

За столом зашумели. Мэдэгма, задумавшись, ничего не слышала, рассеянно уставясь на тарелку перед собой. А Цезаря так и тянуло заглянуть в усталые черные глаза, но он то и дело отводил взгляд — и не потому, что стеснялся при всех прежнюю жену рассматривать, а... какой-то непонятный страх удерживал.

В чем дело? Цезарь нахмурился. Если он и виноват перед нею — виноват, разумеется... бросил с маленьким ребенком на руках — то ведь и она не меньше. Не меньше! Сколько он пережил тогда, знала б она, чего ему все это стоило.

Конечно, у него и в мыслях нет сравнивать свою Соню с первой женой. Они совершенно разные — и внешностью, и характером. Соня, милая, тихая, понимает его с полуслова, умница, воспитанная, образованная. И сравнивать нечего — она ему пара... не то слово: они едины. Но иногда он вспоминает Мэдэгму. Вдруг, неожиданно, врасплох застанет, улыбнется, черные глаза вспыхнут, лицо осветится. Улыбка горячая, ласковая, никто так не улыбается. И странно на душе становится, и больно, и радостно, как у человека, после долгих странствий вернувшегося на стойбище своего детства.

Цезарь долго за ней ходил, долго и упорно, однако она особого внимания на него не обращала. И он знал, почему, уже тогда знал, в юности. Никто, наверное, не догадывался, а он знал, кто у него поперек дороги стоит. Так ведь нет того, уехал, скрылся, сколько ж можно ждать? С вечерней дойки он ее частенько дожидался — зимнее небо, крепкий запах навоза и сена, вечерние прозрачные дымки из печных труб, озноб ожидания — провожал до дому, останавливал где-нибудь в укромном уголке, пытался объясниться, обнимал, целовал... бесполезно — как каменная. Однажды сказала — будто отрезала; «Ты человек упрямый, хваткий, всегда своего добьешься... пойми же: насильно мил не будешь». Он не понимал, никак отстать не мог, и она уступила. Неожиданно, осенним зябким деньком. Цезарь до сих пор взять в толк не может, почему, добиваясь ее так упорно, он потом пальцем не шевельнул, чтоб семью сохранить? Ведь про Дэбшэна с самого начала знал. Вот уж действительно: что имеем — не храним, потерявши — плачем. Да нет, он, так сказать, не «плачет», ему повезло. И

все же, если разобраться, так много эта женщина в его жизни значила. Значит и сейчас, недаром он этого назначения не хотел, сопротивлялся сколько мог, словно боялся чего-то...

— Я и говорю, — упрямо стоял на своем Гомбожап, — нечему нам пока что радоваться.. Сесть лучше и задуматься, отчего так плохо живем...

— Уж прям плохо, — проворчала Будаали басовито. — Из твоих речей можно подумать, что в Хасуурите какие-то уголовники одни живут да несчастные. А народ у нас хороший.

— В самом деле, Гомбожап, — поддержала подругу Дэжэд. — Как это можно жить и не радоваться ничему? Я, к примеру, так не могу. Надой хороший — радуешься. Солнышко взошло — приятно на душе. Вот Цезарь приехал, может, дела у нас пойдут...

— Так-то вот! — перебил Гомбо. — Цезарь приехал — солнышко у нее взошло. Таряша, примечай!

Все засмеялись, в том числе и Гомбожап, пробормотавший: «Да ну вас! С ними всерьез, а они...» Эржени закричала:

— Чтой-то наш завфермой больно серьезный стал! А? Женить его, бабоньки, пора...

— Э, балаболки! — Гомбожап как за стол сел, ни разу на Мэдэгму впрямую не взглянул, а теперь и вовсе...

— Женить, женить...

— Это мы мигом...

— Враз поймет, что такое радость...

— Это уж точно, перестанет речи держать...

— Не до этого будет...

— Ну, ну, затрещали сороки...

Гомбожап вдруг стукнул ладонью по столу и с отчаянным и одновременно сияющим лицом — эх, была не была! — затянул диковато и хрипло старинную песню. Дэжэд подхватила звонко, весело, за ней остальные. Дэжэд не только мастерица хлебы печь, она в любом застолье душа общества (а вот у Ломбо не развернулась сегодня, обстановка как-то не располагала). Особенно на свадьбах она славилась умением выпрашивать деньги на наперсток, заправлять кровать<sup>6</sup>, состязаться со сватами в острословии, произносить благопожелания. Голоском задорным, жестами, мимикой, всей повадкой своей она, кажется, мертвого оживить способна!

И сейчас она всех оживить сумела. Разговоры разговорами, а права Дэжэд: надо уметь и просто жизни радоваться. К сожалению, не всем дан этот дар — редкий дар! — а ей сполна, есть чем поделиться, увлечь и развеселить.

Тем более что за столом — не то что на сегодняшнем пиру — настоящие друзья собрались, испытанные. Пели дружно, слаженно — и бурятские песни, и русские, и старые, и новые. Даже молчаливый и застенчивый Таряша разошелся, во весь голос запел, а сам незаметно свою Дэжэд по спине поглаживает тихонько, ласково, соскучился. Обычно на людях он не то что прикоснуться — лишний раз взглянуть на жену стесняется, предложение когда шел делать, словно на подвиг шел, хотя и знал, что никто ему отказывать не собирается, такой уж человек.

---

<sup>6</sup> Свадебные ритуалы.

Но сегодня и он от других не отставал. Что за радость, какая, откуда она взялась — никто б объяснить не смог. Должно быть, это истинная радость и есть: беспричинная, беззаботная. Данзан с Будаали своей басят ладно и протяжно. Про Эржэни и говорить нечего: майским соловьем заливается. Гомбо ее, зажав две ложки в пальцах, незамысловатую мелодию выводит. А Гомбожап, признанный тамада, руководит хором, ножом с длинным острым лезвием, словно палочкой, дирижирует. Так в раж вошел, что на стул было прыгнул, да Цезарь его вниз сдернул: и в застолье должен быть порядок.

Отодвинули стол и стулья, встали в круг ёхора. Громогласно и раздольно начал песню Цезарь, словно на летнем празднике — сурхарбане — повел широкий большой круг на поляне, окруженной со всех сторон вечнозеленым ельником. Стройные елочки будто тоже начинают звенеть, подпевать, оживают и кружатся под звездным высоким небом. Звезды кружатся, люди, ели, далекие горы — весь мир в неустанном движении. Колышется пшеница на ветру, волнуется синее море, быстрокрылые птицы стремятся за горизонт, поют леса, звенят реки, горы поднимаются в небо, земля ведет хоровод вокруг солнца, в лад вселенскому круговороту трепещет и бьется сердце человеческое.

Когда-то Цезарь бывал заводилой в вечернем ёхоре — любовь ли его воодушевляла или сильный характер сказывался — только умел он зажечь молодежь в пляске. И на этот раз увлек всех в круг, в танец стройный, красивый и плавный. Начали осо ритмично, дружно, руками поводя в разные стороны, а вот когда до айдусая дошли, прыгать принялись — дело разладилось, видать, разучились, годы не плясали. Женщины — хоть Мэдэгму с Эржэни взять — еще марку держат, а мужчины... Гомбо Данзану ногу отдал, тот покачнулся, за Таряашу ухватился... словом, нарушился строй. Засмеялись все, загалдели, однако Дэжэд не растерялась, радиолу завела. «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви...» — запел нежный мужской голос. Дэжэд подхватила Мэдэгму, они медленно поплыли по комнате, слегка покачиваясь. Гомбо, приложив руку к сердцу, склонился в поклоне, будто какой-нибудь галантный кавалер, и пригласил свою Эржэни. Данзан, в свою очередь, к Будаали подошел, прошептал ей на ухо что-то, наверно, приятное, потому что она вдруг разулыбалась, обняла мужа и, они вошли в круг.

Таряаша с Цезарем и Гомбожапом подсели к столу, обсуждая виды на урожай. Но разговор не клеился: сладкие звуки старого танго кружили головы, словно обещая что-то несбыточное. Цезарь замолчал, задумавшись, Таряаша глаз не сводил с раскрасневшейся Дэжэд, Гомбожап глядел на Мэдэгму угрюмо, исподлобья, будто о чем-то спросить хотел, но не решался. А она освободилась постепенно от тягостного оцепенения, охватившего ее после разговора с Дэбшэном. Дэжэд права: несмотря ни на что, нам отпущена радость — драгоценный дар — надо только уметь замечать и ценить ее. Конечно, она не думала об этом в таких выражениях, она вообще ни о чем не думала — просто жизнь обрела вдруг краски, запахи и звуки, обрела красоту и смысл.

Соня нерешительно отворила калитку, вышла — собака заворчала вслед, будто говоря: куда тебя несет на ночь глядя? — и бесцельно зашагала по улице. Ноги привели ее к старому, покосившемуся дому — к избушке, таинственно поблескивающей стек-

лянными провалами окон.

Она знала, кто здесь живет: свекровь, конечно же, показала когда-то Соне дом своей первой невестки. Сейчас он казался необитаемым, ни огонька, ни звука не доносилось из темных окошек. Может, спят? Внезапно охватило тяжелое, странное ощущение: захотелось вдребезги разбить этот застывший темный мир, услышать голоса, увидеть... что увидеть? Точнее: кого?.. «Я, наверное, с ума сошла!» — мелькнула мысль, она «отшатнулась от калитки, неожиданно громкий шорох раздался на крыльце, фыркание, два черных клубка скатились по ступенькам и с пронзительным мяуканьем разбежались в разные стороны.

Соня круто повернулась и пошла дальше, не разбирая дороги, по грязной, в лужах улице. Какой одинокой, заброшенной и униженной чувствовала она себя — ничего подобного ей не приходилось испытывать.

Она прошла через всю улицу — впереди, за околицей, плотная черная масса высоких елей — и быстрым шагом, в какой-то панике направилась было к ночному лесу, как вдруг остановилась, прислушалась. Где-то неподалеку сладкий голос пел, что «нет любви».

Соня двинулась на звуки музыки и вскоре увидела дом с тремя ярко освещенными окнами, оттуда и доносилась приторная мелодия старого танго. Кажется, она бывала в этом доме... да, да, здесь живет Таряаша, приятель Цезаря. Соня открыла калитку, приблизилась к окнам: три пары медленно кружились посередине комнаты, Таряаша покуривал в сторонке, а в углу за столом сидел ее муж и что-то говорил, серьезно и как будто виновато, склонившись к Мэдэгме.

Произошло вот что. Дэжэд, твердо решившая объяснить с Гомбожапом насчет своей подруги, завела ту же пластинку с «Утомленным солнцем...» и пригласила своего начальника, к огорчению Таряаши, потанцевать. К Мэдэгме тотчас подсел Цезарь и стал расспрашивать о сыне. Всех танцующих страшно занимала эта парочка — о чем же беседуют бывшие супруги? — но тут события приняли совершенно неожиданный оборот. Сначала одна пара, потом две других остановились как вкопанные: в дверях, прислонившись к косяку, стояла невеста откуда взявшаяся Соня, очень бледная, с широко раскрытыми глазами.

Прошло несколько томительных секунд. Все молчали, словно в столбняке, кроме бывших супругов, которые, ничего не видя вокруг, продолжали оживленно беседовать. Первой опомнилась Дэжэд, подскочила к радиоле, оборвала нежное пение и поспешно заговорила:

— Соня, какая же ты молодец, что пришла! Мы хотели сходить за тобой, да постеснялись. Мужики весь день с комбайнами провозились, с какими-то приспособлениями... вот я и собрала поужинать. Мы-то попиروвали сегодня, а они проголодались... Да ты проходи, садись, сейчас я чайку...

Соня, не сводя с мужа отчаянного взгляда, ничего не слышала, не отвечала. Хозяйка взяла ее за руку, подвела к столу, усадила, приговаривая приветливым, радушным голосом, вроде оправдываясь: случайно, дескать, собрались, безо всякой выпивки, это не вечеринка какая-нибудь, а просто ужин, да и старые друзья — «Таряаша и муж твой» — давно не видались и так далее.

Во время этой нескончаемой речи — ловкая и обходительная Дэжэд и не такие

ситуации умела улаживать — Цезарь ни слова не вымолвил. Только нахмурился слегка, но взгляд жены встретил прямо, спокойно, словно бы виноватым себя и не чувствовал. Да он и вправду не чувствовал. Зато Таряша наблюдал за происходящим с заметным беспокойством. Ему-то был известен характер Цезаря, властный и вспыльчивый, а вот Соню он знал плохо. Не дай бог, заведется, Цезарь тоже не удержится, ничего хорошего не выйдет... Он поглядел на Соню с жалостью. «Да, нелегко тебе приходится. Стоящий Цезарь мужик, но характер... тяжел, тяжел...»

Мэдэгма сразу словно бы ушла в себя, глядела отчужденно, все ее оживание как рукой сняло. Другие доярки гадали, как поступит Соня: закатит скандал или нет. Знамо дело, иная вцепится в волосы муженьку своему да почнет таскать, а то и «разлучницу» не пощадит. «Нет, я б не потерпела! — думала Будаали, выпрямившись во весь свой могучий рост. — Я б своему показала, как с бывшей женой тайком лясы точить...»

Жгучее любопытство снедало женщин, а то они обратили бы внимание на странное поведение мужа Будаали — Данзана: тот осторожно, крадучись, пробирался к двери. Впрочем, для присутствующих ничего тут странного не было: известно, что Данзан — хороший мужик, но трусоватый, что ли... скажем, осторожный — никаких скандалов, осложнений, тем более драк не переносит. И сейчас он потихоньку юркнул в приоткрытую дверь и скорым шагом отправился восвояси.

Однако та самая болотная «тишь да гладь», о которой сокрушался Гомбожап, в Хасуурите давно кончилась. словно бы подземный толчок — болезнь Шаралдая, как впоследствии вспоминали односельчане, разбудила дремавшую деревню, одно событие повлекло за собой другое, третье и так далее — до развязки, до разрешения, когда все тайное, годами копившееся в домах и душах, станет вдруг явным.

Итак, Данзан поравнялся со своим забором и внезапно почувствовал, как чья-то тяжелая, прямо-таки железная рука опустилась ему на плечо и чей-то грозный голос над ухом прогремел:

— А-а, все бегаешь, сплетни разносишь? Не предупреждать тебя тогда надо было, а сразу убить, чтоб неповадно...

— Бадмаха, ты, что ли? — вскричал испуганный Данзан. — Чего это ты?..

— Того! Я тебе что в сочинском аэропорту наказывал, а? Забыл? Так я напомним! — Бадмаха легонько потряс Данзана за плечи, но у того зубы застучали.

— Я не... отпусти, Бадмаха, чего ты в самом деле...

— Память отшибло? Может, мозги вправить?

— Ничего я не забыл. Ты просил про ту бабу не рассказывать, с которой на юг прибыл? — Как ему забыть ту роковую встречу, когда он на курорт по колхозной путевке ездил? — И я никогда никому... — Данзан осекся.

В доме его еще горел свет — там стоял маленький бедлам: к тринадцати Данзановым ребятишкам привели ночевать четырех Таряшиных — и в этом зыбком электрическом свете, падающем из окон, он заметил на белой рубашке Бадмахи пятна крови. Данзан явственно ощутил, как волосы зашевелились у него на голове, и повторил в ужасе:

— И я никогда никому... В общем, я пошел.

— Куда?! — взревел Бадмаха. — Распустил сплетни, а теперь в кусты?

— Клянусь тебе своими детьми, что я никому...

Бадмаха вроде призадумался.  
— А чего это моя намекала...  
— Я ничего не знаю, клянусь, ничего! А... когда это она тебе намекала?  
— Был тут у нас с ней разговорчик. Я никаких таких намеков не потерплю. Ты меня знаешь!  
— Да уж...  
— Пусть навек умолкнет!  
Данзан наконец собрался с духом и спросил дрожащим голосом:  
— Что это у тебя, Бадмаха... рубашка вроде в пятнах?  
— Где?  
— Вон на рукаве!  
Бадмаха взгляделся и отрезал зловеще:  
— Это кровь!  
— Кровь?  
— Забрызгался, когда голову отсекал.  
— Чью... голову? — прошептал Данзан.  
Бадмаха взгляделся в соседа, усмехнулся и отозвался таинственно:  
— Тебе скажу. Но будь нем как могила. Жене я голову отсек, Дулме своей, понял?  
— А-а-а! — разинул рот Данзан и начал медленно опускаться, цепляясь за изгородь.  
— Вот тебе и «а-а»! Вот что получается, когда между мужем и женой со сплетнями погаными встречаются, — он одной рукой поднял Данзана, встряхнул, будто соболью шкурку, и поставил на ноги.  
— Правду говоришь? — простонал Данзан.  
— Истинную правду!  
— Убийца! — вскрикнул Данзан пронзительно, собрав все свое мужество.  
— Ну, ну, ты не очень-то! Бога благодари, что сам жив остался, — Бадмаха повернулся и пошел по улице.  
— Стой! Убийца! Арестовать! — заорал Данзан вслед и — откуда смелость взялась? — бросился «убийце» на спину. Но тот только плечами повел, словно муху надоедливую отгоняя, и Данзан тотчас осел в уличную грязь.

### 39

Когда доктор Аюша с Маглаа вернулись от Ломбо домой, молодежь — так доктор называл друзей сына — пела песни. Чтобы не мешагь веселью, старики принялись прогуливаться по улице в неторопливой беседе.

— Скажите-ка правду, — Маглаа вдруг остановился, — болен все-таки Шаралдай или нет?

— Э, у тебя прямо профессиональная болезнь — всех подозревать, — пробормотал доктор Аюша. — Тот притворяется больным, этот мертвым...

— И такие случаи бывают, — сказал Маглаа неопределенно. — Всякое бывает. Но если он притворяется, то зачем?

— Слишком мудреные вопросы задаешь. Я — обыкновенный фельдшер. Детишек от простуды лечу, клизму поставлю, если нужно, вывих вправлю... все в таком роде. А



болезни, так сказать, высшего порядка мне не по плечу.

— Что такое болезнь высшего порядка? Душевная, что ли? От этого не умирают.

— Вот проживешь с мое — узнаешь, от чего умирают, от чего нет. Случается, сознание теряют от гнева... от радости или от страха сердце может разорваться, паралич хватить от сильного волнения. Могу сказать только, что Шаралдай болен. Больше мне добавить нечего.

— Не хотите, значит, мне помочь, — Маглаа вздохнул. — Напрасно. Моя цель не друга вашего обвинить, нет... Установить истину — вот что главное. Есть в моем расследовании личный момент, не скрою. Этот самый поджог свиноводов и мою жизнь перевернул, вы знаете. И все равно — прежде всего истина. Ломбо сознался, что Шаралдай...

— Не верю я в это, — перебил доктор Аюша.

— Что такое «не верю»? Голословное утверждение, это надо доказать. Смотрите, какая схема выстраивается. Ломбо подговаривает Шаралдаю, тот поджигает...

— А я не верю! — упрямо стоял на своем доктор Аюша. — Если б он хотел старую рухлядь поджечь, то прежде свиней бы на волю выпустил. Он скотник, он знает, сколько труда на них положено... И потом, он вправду животных страшно любит: вон когда егерем — это уже после быков — работал, от нас, от охотников, природу защищал. Ты вот скажи: зачем ему надо было бессмысленно уничтожать живых тварей?

— Все это не так просто. Во-первых, свиней он, по его утверждению, выпустил. И правда, сгорело их немного. Но... — Маглаа выдержал многозначительную паузу, — но часть поголовья исчезла, ее кто-то вывез. Это во-вторых...

— Шаралдай пожар до утра тушил, весь обгорел. Когда б он успел вывезти и на чем?

— Вот-вот! Отсюда следуют два вывода: или у Шаралдаю имелся сообщник, или он действительно к поджогу не имеет никакого отношения.

— Со вторым выводом я согласен.

— Не спешите. Идем дальше. Допустим, Шаралдай все-таки виновник пожара, и односельчане об этом догадываются. Он желает обелить себя, восстановить свое доброе имя, построив в деревне ясли-сад. На какие деньги?

— Да никаких особых денег у него не было никогда!

— Вот именно: без денег ничего не построишь, выручки за тех самых поросят, если она была, не хватит. И в деревне начинает пропадать скотина. Ну как, стройная картинка получилась?

— Может, и стройная... для посторонних. А я Шаралдаю знаю много лет. Свои возможности он оценивал трезво и собирался внести только первый взнос на ясли-сад, надеясь, что хасууритинцы его поддержат. Для первого взноса необязательно чужую скотину воровать.

— Но куда же она все-таки делась?

— Этого я не знаю, — доктор Аюша задумался, потом спросил угрюмо: — Значит, ты уверен, что Шаралдай поджигатель и вор?

— Нет, не уверен. Факты фактами... а есть что-то и выше фактов. Я разговаривал с самим Шаралдаем, с вами, с Ломбо... и я видел его родственника.

— Что ты этим хочешь сказать?

Но Маглаа не успел ответить: из тьмы вдруг выступила фигура, в которой доктор

Аюша узнал Данзана.

— Скорее! — кричал Данзан, задыхаясь. — Идемте скорее! Убийство!

— Что?! — воскликнул Маглаа.

— Бадмаха жене голову отсек!

— Где? В доме Шаралдая?

— Наверное...

Майор двинулся вперед, за ним Данзан с доктором Аюшей. «Снится мне все это? — думал доктор, — Или впрямь... у нас? В Хасуурите? Быть не может!..» Если б такую новость Гомбо или Гомбожап принесли — известные «шутники» — он бы только расхохотался в ответ. Но Данзан... который и выдумать-то ничего не способен. Неужели правда?

— А мне будто в голову ударило: милиция-то, думаю, сейчас в Хасуурите. Вот ведь как удачно складывается!

— М-да, на ловца и зверь бежит, — процедил Маглаа. — Чудные у вас тут... звери. Что же это такое, доктор Аюша?

— Ничего не понимаю, — отозвался тот глухо. — Бадмаха действительно привык руки распускать, но чтобы отрезать голову...

— И мы их спокойно с пира этого самого отпустили! — с досадой воскликнул майор. — Известный хулиган! Никогда себе не прощу...

— Да погоди! Ничего еще толком неизвестно...

— Сам признался, — вставил возбужденный Данзан. — Весь в крови, глаза горят...

— Все равно не верится что-то... — пробормотал доктор, а Маглаа проворчал тихонько:

— Ни про отца вам не верится, ни про сыночка...

Уже подходя к калитке Шаралдая, доктор Аюша остановился и шепнул майору:

— У Бадмахи охотничье ружье есть, учти. И стреляет он метко.

Еле слышно шепнул, однако Данзан услышал и тотчас спрятался за спину майора.

— Вот оно что! — протянул Маглаа. — В таком случае, граждане, приказываю вам во двор не входить.

— Да ладно тебе! — отмахнулся доктор Аюша. — У Данзана тринадцать детишек и вся жизнь впереди, он пусть у забора покараулит, а я старый боевой конь, да и помирать пора.

— Я приказал — значит, слушаться! Ружье хранится в доме или в сарае?

— В доме, — доктор Аюша не отставал от майора. — Я вот что думаю: я раскрою дверь и ею же прикроюсь, а ты за крыльцом будешь стоять. Как он появится на пороге, ты... Да, пистолет есть у тебя или для виду кобуру носишь?

— Есть, есть... Доктор, ушли б вы от греха подальше. Если что с вами случится, мне ж жизнь будет не в жизнь!

— Да что со мной...

— А вдруг убийца в сарае? Крыльцо как на ладони оттуда видать.

— Сарай я на себя беру, — подал голос осмелевший Данзан: рядом с мужчинами вспомнил, что и он мужчина. — Я на дверь навалюсь.

— Да Бадмаха тебя вместе с дверью...

— А я на щеколду!

— Для такого бугая щеколда не препятствие. Ну, что будем делать, Маглаа?

Майор медлил. Вообще-то на решения он был скор, но только что, на днях, проводилась аналогичная операция: ловили убийцу, бежавшего из колонии. Убийцу взяли, но в перестрелке погиб друг майора. Опытный был оперативник, а тут сплоховал, полез на рожон... что уж про этих двух говорить, они понаделают дел...

— Приказываю оставаться на улице! Мне вы только мешать будете, поняли? — сказал Маглаа строго, не терпящим возражения голосом, открыл калитку и двинулся по направлению к дому.

Данзан, ожидая грохота выстрелов, вцепился в жердину изгороди и стал как будто пониже ростом.

— Эх, а у меня ружья нет! — простонал рядом доктор Аюша. — Сумеет он его врасплох застать? В войну уцелел, а сейчас, может...

Не успел Маглаа дойти до крыльца, как распахнулась дверь сарая и оттуда донесся дикий, как показалось Данзану леденящий душу крик:

— То-то!

А Данзану послышалось: «Стой!» — и он закрыл глаза. Его чувствительная натура от малейшего крика трепетала — где уж ему смертоубийство было вынести? Трудно сказать, сколько времени он стоял так вот, зажмурившись. Тишина. Выстрелов не слышать. Данзан приоткрыл сначала один глаз, потом другой. Где доктор Аюша?.. Ага, вон, возле сарая — по шляпе узнал. Рядом Маглаа в милицейской фуражке... а с ним кто? Неужто убийца?.. Да черт с ним, с убийцей, главное, доктор с майором живы!

Данзан не спеша направился во двор, а эти трое подошли к распахнутой двери сарая, в проеме которой вспыхнул электрический свет. Данзан приподнялся на цыпочки и через плечо Маглаа заглянул в сарай, с трепетом ожидая увидеть распростертое тело в крови, как вдруг... Лицо Дулмы, заплаканное, покрасневшее, но живое — живое, вот что главное! — прямо бросилось в глаза.

Дулма! Цела и невредима стояла она перед ними и спрашивала обеспокоенно:

— Отца не видели?.. Скажите, Шаралдай вам не попадался?

«Убийца» внезапно сорвался с места и побежал к дому. Ведь убежит!.. Данзан боязливо покосился на майора: куда он смотрит? Конечно, Дулма жива, нельзя этого отрицать, но ведь пятна крови на рубашке Бадмахи он сам видел... Пусть не жену, так кого-то другого убийца мог... Тут Данзан заметил на столе обезглавленного, наполовину общипанного петуха.

— Итак, произошло убийство петуха! — Маглаа улыбнулся указывая на жертву. — Вовремя мы подоспели.

— Да вот хотела отцу бульону куриного сварить. Бадмаха разорался, что отец без присмотра брошен,— объяснила Дулма озабоченно. — Пошел он петуха ловить, ну, шум, гам среди кур поднялся... глядим, отец из-за двери выглядывает. Я прям глазам своим не поверила! А покуда мы тут на кухне с петухом возились, отца уж и след простыл. Подумать только, больной человек ночью... Вы понимаете что-нибудь? И Дэбшэн, как нарочно, отошел... Прям сумасшедший дом, честное слово!

— Очень хорошо! — воскликнул Данзан, сообразив, что все живы и никакого убийства не было. — Очень хорошо!

— Чего ж тут хорошего-то? — набросилась на него Дулма. — Буровит невесть что!

Человека при смерти понесло куда-то, а этот радуется. Небось не твой отец...

— Я никому ничего не говорил! — продолжал Данзан: обычно неразговорчивый, он сейчас от радости никак остановиться не мог. — Ты, Дулма, должна подтвердить, что я никогда ни слова.

— Да про что ты говоришь?

— Про Бадмаху. И вы, товарищи, будьте свидетелями! И вообще, если разобраться, за что мне ему зло причинять?

— Кому?

— Бадмахе. Я на него никогда зла не держал. Каждый в деревне скажет: Даизан не сплетник и никогда сплетнями не занимался. Петух — это шутка, я понимаю. Пусть хоть всех петухов обезглавит, только людей не трогает...

— Что он мелет — ничего не разберешь! — оборвала Данзана Дулма, потеряв терпение. — Товарищ майор, помогите людей поднять. Всем селом искать надо, ведь не в себе он!

Маглаа вздохнул тяжело. Эх, дернуло ж его связаться с этим народом! Ему б провести расследование о пропаже скота, простое дело, кажется, проще некуда — а он злезает все глубже и глубже: одно обстоятельство тянет за собой другое, третье... и так далее. В самом деле, где начало этой истории? В поджоге свинарников? В неладах Ломбо с председателем? В мечте Шаралдая о детском садике? Или — глубже, глубже — в аресте доктора Аюши, к которому Ломбо руку приложил? Или началось все в те времена, когда у Шаралдая быков отобрали и он на весь свет озлобился? Ну и деревенька эта Хасуурита! Век он ее будет помнить: поджог — не поджог, кража — не кража, убийство — не убийство, болезнь — не болезнь... Голова кругом идет! Вот сейчас он народ поднимет, а дело кончится розыгрышем каким-нибудь дурацким, от стариков этих все можно ожидать. Его же на смех и поднимут!..

А женщина смотрит на него с надеждой. Вот положение-то!

— Что у вас с мужем произошло? — прервал наконец Маглаа неловкое молчание,

— Ничего особенного.

— Но мы же слышали крик.

— А, милые бранятся — только тешатся! — отмахнулась Дулма. — Мы вообще-то дружно живем, редко видимся, но между мужем и женой, сами знаете, случаются порою...

Словно медведь в берлогу, нагнувшись, протиснулся Бадмаха.

— Привет всей честной компании! — начал он и тут заметил Данзана. — А, и сплетник наш известный здесь! Ладно, оставайся, прощаю. Так вот, отец проветриться вышел, а мы сейчас стол накроем. Дулма, вари петуха, тащи закуску. Майор — редкий в наших краях гость, доктор Аюша — самый почетный. И этот... — Бадмаха ткнул пальцем в Данзана, — пусть останется, полюбуется на наш праздник...

— Ополоумел ты, что ли?! — запричитала Дулма. — Отец больной пропал незнамо куда, а ему б только залить глаза свои бесстыжие...

— Никшни, женщина! Вы отцу надоели все до чертиков — вот он и сбежал. Передохнёт от вас — вернется. А мы пока наш развод отпразднуем.

— Что? — переспросил Данзан.

— То самое! Не слыхал разве — ты ж по всей деревне сплетни собираешь! — не

слыхал, что моя жена верная замуж выходит?

— Никуда она не выходит! — закричал со двора звонкий детский голосок. — Отстань от нас с мамой, уезжай!

— Слыхали, как она сына против меня настроила?

— Вот что, — строго сказал Маглаа, — немедленно прекратите базар! В своих семейных отношениях вы сами разбирайтесь. Без скандалов и рукоприкладства, разумеется. Иначе дело со мной придется иметь. Что же касается больного Шаралдая...

— Нет его нигде! — в дверном проеме возник Дэбшэн: лицо бледное, голос дрожащий. — Доктор Аюша, вы-то что скажете?

— Нечего мне сказать, сынок, — доктор развел руками. — В чужую душу разве влезешь? Может, правду Бадмаха говорит: надоели мы все старику, и побежал он в отчаянии, куда глаза глядят. А может, почуял, что конец его пришел, а дома никому он не нужен...

— Бедный наш отец! — Дулма, всхлипывая, закрыла лицо руками. — Все его бросили, все только собой заняты... Никого-то при нем в последнюю минуту не оказалось, не с кем ему проститься было...

— Ну, запричитала! — буркнул Бадмаха.

— А ты вообще замолчи, дурак бессердечный, про семью и про отца забывший! И я дура, связалась с ним отношения выяснять! Что выяснять? И так все ясно, бродяга бездомный... да тебе все равно, что отец, что петух мертвый! А я вместо того, чтоб с отцом его последние минутки побыть...

— погоди, Дулма, — вмешался доктор Аюша. — Мы ведь еще не знаем ничего. Зачем заранее...

— Если вот так сидеть будем да языки чесать — никогда ничего не узнаем! — крикнул Дэбшэн со злостью, сделал шаг в темноту, обернулся: один Данзан кинулся за ним и тоже обернулся.

— Ну что же вы? — спросил Дэбшэн. — Бадмаха.

Бадмаха и бровью не повел.

Лицо Дэбшэна дернулось и застыло как от удара. Он резко повернулся и, не оглядываясь больше, быстрым шагом пошел со двора.

Вот уже десять лет, как братья встречались только мимоходом-мимолетом, не разговаривали толком, даже не переписывались. Всегда Бадмаха был шальной и беспечный, со шпаной райцентровской крутился, пьяный мог накуролесить — и в то же время работник золотой. Побаивались его во хмелю, да начальство «шалости» покрывать старалось: Бадмаха любой план вывезет. Конечно, он мог иногда сорваться, матом послать, но в целом, как ни странно, его любили — веселый парень, работяга, в доску свой... ну, вспыльчив, с кем не бывает... Так же относился к брату и Дэбшэн, только собою, своей работой занятый. И лишь сегодня, впервые за десять лет, он осознал, как изменился брат, — и испугался этой перемены (измены, как показалось ему сейчас). Не за себя испугался — за брата. А что же должен был чувствовать отец, который сыночка видел чаще и знал о нем больше?

Вот Бадмаха ввалился в дом, на Дэбшэна и не взглянул, не поздоровался, словно мимо пустого места прошел. Дыша перегаром, над Шаралдаем склонился, из-за пазухи пачку денег достал и протянул ему. «Что я с ними делать буду?» — спросил отец сурово,

не шелохнувшись. «Это деньги», — сказал Бадмаха с удивлением, очевидно решив, что в полутьме Шаралдай бумажки не рассмотрел. «Да, деньги, — повторил тот устало. — Думаете, мне от вас обоих деньги нужны?» — тихо так спросил и закрыл глаза. Бадмаха застыл, словно конь, удила почуязший, глаза потухли. Не удалось отца удивить и порадовать. Он неуклюже возле кровати потоптался, повертел пачку в руках, будто раздумывая, что ему теперь с ней делать. Потом как-то воровато деньги под матрас сунул и выскочил из комнаты, на Дэбшэна так и не взглянув.

#### 40

Шаралдай сидел на берегу Харасуна, на поваленной в давнюю бурю лиственнице. Он сидел, опершись о колени руками и положив на них голову. Реки уже не было видно, но она с шипеньем и шелестом на перекатах куда-то неслась, уходила, растекалась во тьме.

«И река эта небось не вечна, и земля, — думал Шаралдай, не чувствуя предночного холода, проникающего сквозь наброшенную на плечи старую кофту, приподнято как-то думал, торжественно, как никогда; и сам же сознавал, от кого пришли к нему эти мысли... нет, ощущения — от друга старого, от доктора. — И вот эти горные вершины когда-нибудь исчезнут, растают, как лед на огне... По сравнению с горой человек просто песчинка, пылинка небытия, а душа все вмещает: и горы, и речку, и всю землю. Все это есть во мне — удивительное дело. Вот о чем надо бы подумать, когда жизнь кончается, а я, дуг рак, со своими сыночками дазеча спорил, чего-то доказать им старался. Чего?.. Имя доброе после себя оставить хотел — вот чего. Имя Азаргаевых. Да ведь как вдумаешься — смешно! Земля исчезнет, речка и горы — все исчезнет, а я об имени беспокоюсь... Аюша виноват. Сколько с ним об этом переговорено, смутил он меня, дружок старый...»

Они и вправду много толковали о прошлом — память у доктора — просто диву даешься! Чего, спрашивается, старое ворошить? Так всегда думал Шаралдай. Настоящим жить надо, детей кормить. Выкормил, вырастил — где утешение, успокоение на старости лет? Одна мука да боль за них. Начал старик задумываться, в прошлом копаться, с Аюшей долгими вечерами беседовал, спорил, сравнивал, смысл искал в прожитой жизни. Искал — и не находил.

Отцы их, Ломбо, Шаралдая и Аюши, в Хасуурите слыли поначалу людьми одинакового примерно достатка, среднего. Это потом их пути разошлись. А в деревне у каждого по десятине земли — чуть меньше, чуть больше, но где-то так — по семь-восемь дойных коров, три-четыре ездовых лошади, по две кобылицы, с десятков овец. С голодухи не пухли, зато и работали от зари до зари. Ни бедные, ни богатые — вот именно середняки. Отец Шаралдая этим и довольствовался. Их семьи летом жили в восьмистен-пой юрте здесь, в Хасуурите, а зимой в Унсэгтэ выезжали, где заскированы были стога, где низенькие черные избы с печкой и навесом утопали в снегах. Когда случалось лето в меру теплое и дождливое, и сена накашивалось вдоволь, и скотина зимовала без потерь — радость и довольство приходило в дом, разговоры добрые. А если одолевала непогода, неурожай, хищники или болезни — затягивали, как говорится, потуже пояс и терпеливо ждали: до весны как-нибудь дотянем, а там уж полегче будет. Отец Шаралдая славился силой своей и неутомимостью: бывало, за ночь

десятину хлеба скашивал. Как пойдет серпом сверкать по кругу да снопы вязать — никто за ним не угонится. А землицы-то маловато, чтоб душу вдоволь потешить, удаль полную показать: уж и так все деревца и кусты со своего надела выкорчевал, посевы, сколько мог, расширил...

«Норовистый, своевольный был мужик, — вспоминает Шаралдай. — Бадмаха — вылитый дед, и телом, и силой, и характером. Но дед все силы в землю вложил, а этот? На что себя тратит? На гульбу?.. Говорит, работает на чужой стороне. Да ведь работать со смыслом надобно, а не просто деньгу зашибать... Э, да что говорить!..»

Когда после войны гражданской новая власть установилась и пошли другие порядки — коммуны, артели, продразверстка, продналог — отец ворчал, а работал по-прежнему. Как жил, так и умер хлеборобом.

Иное дело — отцы у Ломбо и Аюши, они еще до революции из крестьянского состояния выбились. Отец Ломбо, кузнец потомственный, начал скотом торговать. Из Иркутска в Монголию стада гонял по сто — сто пятьдесят голов. Сошелся с одним крупным купцом по фамилии Швигель — стали и ему кое-какие доли перепадать. Да к картишкам пристрастился, тертые молодчики из-Тунки, Ханхи и Хатга- на чуть по миру его не пустили. Однако сумел вовремя остановиться.

А доктора Аюши отец — тот был голова. И русской и монгольской грамотой владел, переводчиком служил в разных тяжбах, любую бумагу умел составить: всякие там жалобы и прошения простого люда на имя высшего начальства, иногда аж самого иркутского генерал-губернатора. Немало в загоне у него коров и лошадей было. Славой же и почетом никакому гулве<sup>7</sup> или тайше<sup>8</sup> не уступал. Но слава эта была, как бы сказать, с душком: слухи ходили, что берет он взятки, и не малые. Однажды в Хасууриту целую отару пригнал, рассказывал, что, мол, на правой стороне моря<sup>9</sup> тяжбу одного богача выиграл. Поговаривали, что он жизнь спас человеку, за ограбление золотого каравана к смертной казни приговоренному. А еще шептались, будто он сам с грабителями с большой дороги связался и не в иркутский суд ездит, а с бандитами промышляет. Большинство односельчан этим слухам не верило, а вскоре они и сами собой прекратились: отец Аюши заболел и умер. Молодым еще умер. Однако перед смертью — весь желтый, худющий, халат болтался на нем, как на скелете, — успел отвезти маленького сына в дацан. Доктор Аюша Шаралдаю говорил, что наказывал ему никому не верить — ни властям, ни людям, ни черту — только богу.

Ну и времечко было — все перевернулось, перепуталось, разделилось — бурные годы, тревожные, бунты, волнения, революции. И все это отразилось в судьбах трех семей. Отец Ломбо, например, — вольно или невольно — теперь уже трудно сказать — красным помогал, участвовал в транспортировке раненых, отчего сам Ломбо и ходил тогда по деревне гордый, с пустой кобурой. А доктор Аюша своим дедом гордится: тот, можно сказать, в бунте участие принимал еще в первую революцию, в девятьсот пятом: между русскими и бурятскими управами настоящая война началась из-за межей. Казаки — как теперь говорят, опора самодержавия — тот бунт усмиряли. Вроде бы, по словам Аюши, сам казачий атаман деда по голове плашмя шашкой ударил. Видать, удар был тот

---

<sup>7</sup> Гулва — волостной старшина; глава одного рода.

<sup>8</sup> Тайша — волостной начальник.

<sup>9</sup> Имеется в виду Байкал.

еще: лежал дед несколько дней, кровью харкая, да умер. «Так что наша семья, — заключал доктор Аюша, — в некотором роде причастна к революционному движению».

Тут и Шаралдаю есть, чем похвалиться. Как раз гражданская шла, он еще совсем юным парнишкой был. Однажды дрова из лесу привез, разгрузился, хотел лошади сено задать — а в стогу человек в крови весь лежит. Испугался, конечно, к отцу побежал. Тот ничего не сказал, во двор вышел и раненого сеном забросал. А ночью того человека в дом привели, теплой водой обмыли, раны перевязали! Имени его никто не спрашивал, а оказался он красным командиром и оставался у них, покуда на ноги не встал. Перед домом поставили перекладину — тэту, соседям объявив, что якобы младший сын заболел, Шаралдаев братишка. И надо же такому случиться, что после ухода красного командира братишка в самом деле захворал и умер. Мать Шаралдая плакала, причитая, по ночам — разве кому об этом расскажешь? Тревожное время было.

«Наше время грозное, переломное,— говорил доктор Аюша.— От него в своем доме не укроешься, как бы ни хотелось. Всех зацепило, от мала до велика...»

Как начнет доктор Аюша рассказывать — заслушаешься. Бурят, дескать, должен знать свою родословную до девятого колена, а сам и больше десяти своих предков назовет. Были среди них и дацанский лама, и тайша, и сотник казачьих войск, и разбойник, и придворный чиновник монгольского хана, и герой-воин. Один вез в ссылку молодого бунтаря, против русского царя восставшего. Другой угнал рысаков иркутского генерал-губернатора вместе с санями. Третий победил в трехдневном диспуте ламу-лхарамбу<sup>10</sup> из дворца Богдогэгэна<sup>11</sup>. Еще один встречал первого посланника русского царя во дворце ойратского хана, и так далее и тому подобное. Можно верить, можно не верить, что именно с его предками такое случалось, но все равно интересно, захватывает, ведь эти события — сама история. Да и как не верить? Доктор Аюша вынимает из старинной шкатулки зеркало, привезенное из Пекина, фигурку Белой Богоматери — дара из Западного Жуу<sup>12</sup>, фотографию, снятую в Петербурге, и прочие редкостные вещицы. На полках у него изукрашенный японский кувшин из фарфора, итальянские тарелки, купленные одним из предков тайшинского рода в городе Кяхте. В большом кованом сундуке хранится гнутая сабля — оружие предка, богатыря ойратского хана — и кремневое ружье, отлитое бурятским мастером. «Это ружье изготовлено дедом деда Ломбо, — говорит Аюша... — Они происходили из рода кузнецов, но уже дед не очень-то почитал свое ремесло... ну, мог с кое-какой работой справиться, с трубкой серебряной или с кольцом, а вот ружье кремневое вряд ли потянул бы. Очень сложная работа. Железо отбивать надо, закалять, нарез делать. Такой точно-сти добиться нужно, чтобы на расстоянии в сто сажень шею гуся прострелить... Во, Шаралдай, какие предки у нас были, а? Есть чем гордиться!»

Шаралдаю приятно, конечно, что у бурятов такая история интересная, но его, так сказать, личные предки ничем особенным не отличались. Нет, никто из них не воевал в числе бурятских казаков против французского хана по имени Наполеон, никто не помогал в похищении священной фигурки бога Зандан Жуу из города Пекина, не бывал паломником в Индии, Тибете, Непале, не карабкался по высочайшим хребтам Гималаев

---

<sup>10</sup> Лхарамба — одна из высших ученых степеней у буддистов..

<sup>11</sup> Богдогэгэн — верховный духовный и светский правитель дореволюционной Монголии.

<sup>12</sup> Западный ЖУУ — Тибет.



и с губернатором не был знаком, орденов и медалей от русского царя не получал и на далеком Западе не учился...

Правда, существовала в семье легенда про отца деда — или деда деда? — будто он боролся в Санагинском дацане во времена большого Хурала Майтреи с силачом из Монголии. Эту легенду или быль доктор Аюша хорошо знал, лучше самого Шаралдая. «Тот монгольский силач до той поры никем побежден не был и позже ни разу не испачкал спину землей, — рассказывал доктор. — Случайно ли он был побежден или действительно уступал в силе и ловкости твоему предку — этого никто не знает. Но борец монгольский был знаменитый и до того в себе уверен, что однажды согласился участвовать в борьбе, где ставкой стала его голова. Это на празднике в Хобдо случилось. Дело в том, что борец на праздник опоздал, и хобдосский князь, разгневавшись, поставил условие: опоздавший должен сначала всех его лучших борцов одолеть, лишь потом с местным чемпионом сразиться. А ежели кто монгола одолеет, тому от князя подарок, а монголу — голова с плеч. В подтверждение своих слов князь двух цириков с пашками вызвал. Однако не тут-то было: монгольский силач всех заставил землю грызть, а титулованного чемпиона так через себя перекинул, что тот шею вывихнул. И такого борца дед твоего деда сумел победить! Разве это не удивительно?»

Так что и среди Шаралдаевых предков была своя знаменитость, но одна-единственная; с доктором Аюшей ему не тягаться, разумеется. Крестьяне, коренные крестьяне. Разводили, конечно, скот, сеяли ячмень, имели, как говорится, пищу для рта, одежду для прикрытия плеч. Жили в трудах, мирно, а отбыв положенный на земле срок, верили, что отправятся в верховья какой-нибудь прекрасной пади на солнечный тихий склон. Должно быть, сильны они были и здоровы, но ведь легенды складываются не о сильных, а о сильнейших — богатырях, тех, кто умел выдернуть растущее дерево с корнем, или вытащить севший на гальку паром, или так зажать в руке бамбуковое кнутовище, что из него влага выступит... Так то ж богатыри, а то крестьяне простые, безвестные, как и сам он, Шаралдай.

Само собой, мечтал он когда-то о подвигах — ратных и трудовых. Будто он герой, вроде Жамбала Тулаева<sup>13</sup>, уничтожившего более трехсот фашистов, или, скажем, кавалера трех орденов Славы Самбу Булутова<sup>14</sup>. Его земляки, ровесники — а не уступают богатырям из старинных легенд. Что ж, кто рожден для славы, а кто... Скромную жизнь прожил Шаралдай: незаметную, как и его предки. Только одно путешествие и довелось ему совершить, как говорится, дальше телячьих выпасов. Горькое путешествие. Осенью сорок первого в битком набитом эшелоне, с бесчисленными остановками и задержками, двигался он на запад бить фашистов. А на фронт так и не попал: уже на подступах их эшелон разбомбили «мессершмитты», а Шаралдая так искалечило и покорежило, что только спустя полгода скитаний по госпиталям он был отправлен назад, домой. Где уж тут мечтать о славе! Еще долгие годы от каждого резкого движения в глазах темнело. Не гремевшая слава, а обмороки, да головокружения, да грубые рубцы на теле остались у него от войны.

Тем не менее надо было жить. И он впрягся, как столетиями его предки впрягались, в крестьянский труд, может, со стороны и тяжелый — да и на самом деле тяжелый — но

---

<sup>13</sup> Жамбал Тулаев — Герой Советского Союза, уроженец Тунки.

<sup>14</sup> Самбу Булутов — уроженец Тунки, кавалер трех орденов Славы.

привычный. Однако как не суждена была ему слава ратная, так не суждена и трудовая. Трудился как мог: со свиньями возился, с быками, егерем был, за браконьерами гонялся, крыши покрывал, подновлял изгороди и печки ремонтировал, отбивал косы-литовки, косил, стога метал и скирды складывал, то есть делал обычную деревенскую работу, сил не жалел, только сил-то было не ахти много — на то самое, единственное в его жизни «путешествие» силы ушли. Не довелось орденами позвякивать, в президиумах сидеть, на совещаниях в районе выступать. На машину не заработал, на дом такой вон, как у Ломбо, тоже.

Словом, простой крестьянин — как и предки его, простые, безвестные, на которых, однако, мир стоит. И он, Шаралдай — их потомок, продолжение, связующее звено между прошлым и будущим, между ушедшими в Санагу предками — пахарями и сыновьями своими, которым он жизнь дал. Это он, Шаралдай, родился и вырос в старом мире, в небытие канувшем; прошел через яростные огни, бушующие воды и медные трубы в настоящем; и теперь, перед концом своим, глядел в будущее. Будущего у него уже не было.

Старик Шаралдай не то чтобы думал так — он таких слов не нашел бы, но чувствовал. Чувствовал смутно, с тоской и болью, что не выполнил жизненного своего предназначения: не дал миру и роду своему — роду Азаргаевых — сыновей достойных, надежных и добрых. Отчего ж так получилось? Может быть, жизнь вообще измельчала, люди людишек рожают?.. Да нет. Недаром Шаралдай вечерами у друга старого в медпункте пропадал, выпрашивал, сравнивал, спорил. Вот три местных рода, их история. Пусть у Аюши предки известные, ученые — однако Таряаша в свой род не пошел, остался в деревне механизатором. То есть крестьянином по-старому. Но каким крестьянином! Всегда в передовых, имя его по всему району гремит, а то и по всей области. На одном комбайне пятый год работает, а комбайн — как новенький. За ударный труд в прошлом году медаль получил (Ломбо говорил, что орден бы дали, кабы колхоз в целом не отставал — Ломбо знает!). Но будет у Таряаши со временем и орден, никто в деревне не сомневается, недаром на празднике хлебобобов в городе в президиуме сидел, среди самых знатных механизаторов. Теперь-то Шаралдай понимает, почему на его вопрос — что ж твой сын, как Дэбшэн мой, учиться не пошел? — Аюша ответил, мол, каждый на своем месте хорош. Прав доктор оказался.

Ну ладно, Таряаша — сын человека, которого Шаралдай уважает безмерно. Каков отец, таков и сын, как говорится. Ну, а дети Ломбо? Того самого Ломбо, что Аюшу в лагерь послал, войны по-настоящему и не нюхал, председателя дельного спихнул, отчего и колхоз в последних ходит. За что же Ломбо такое счастье — такие дети? Про Цезаря со всех сторон слухи, какой он работник, какой руководитель — как теперь говорят, перспективный, с характером сильным, упорным. А Ханда? Пусть она дороги пока своей не нашла, но найдет — тут и сомнения нет никакого. Такая девочка ласковая, сердечная, скромная и серьезная. И доярка хорошая, известно.

Вот так-то. Аюше и Ломбо, выходит, есть чем гордиться, они свой долг перед будущим выполнили. А он, Шаралдай? Да ведь если разобраться, его старший всех способен в работе обогнать, и Таряашу. Он его и обогнал раз на уборке. Захотел — обогнал. То-то и оно: захотел, расхотел... делает только то, что ему нравится. А нравится ему по белу свету шататься — медведь-шатун! — людей пугать, а то и

смешить. Бог дал силу и здоровье отменные, а с мозгами слабовато. И никто ему не нужен: ни сын, ни брат, ни жена, ни отец. Видать, прослышал, что отец слег, заявился, бродяга, дубина стоеросовая, деньги сует... Эх, за что ж такое на старости лет? Старик сплюнул от отчаяния.

У младшего с мозгами, кажется, в порядке было. Именно, что кажется... Давеча Шаралдай улучил-таки минутку — втроем они остались — поинтересовался:

— Ну, сыны, как думаете дальше жить? — серьезно так спросил, с тревогой и болью.

До младшего сразу дошло, какой разговор предстоит крутой; потемнел лицом. «На лице глаза и остались, — подумал старик жалеючи, — почти как я исхудал». А Бадмаха хоть бы хны: сощурился снисходительно, ногу на ногу положил, грязной туфлей (в деревню вырядился!), грязной туфлей покачивает, вопрошает лениво:

— А чего тут, отец, думать? Все нормально.

— Вот это безобразие ты нормальным называешь? — не выдержал Шаралдай.

— А чего такого-то?

— А того, что ты, только о моей смерти прослышав, домой заявился! Забыл, что у тебя дом есть, семья? По всему свету фамилию Азаргаевых позоришь в пьянках, драках...

— А, вот ты о чем беспокоишься! Дом, семья, позоришь... Сегодня одна семья, завтра — другая. Вот и весь сказ. Жизнь коротка, стоит ли о пустяках беспокоиться? Слава эта твоя добрая, даже деньги — все пустяки.

— Да что ж не пустяки?

— А чтоб жизни моей предела положено не было: живи тут, делай то-то, работай так-то. Скукота. А я хочу, чтоб у меня каждый день заново начинался. Я, отец, свободы хочу.

— Бессовестная твоя свобода, и обернется она пустотой и одиночеством — помани мое слово! Взвоешь без любви — да поздно будет.

— Ну, уж этого добра!.. Хочешь, завтра новую сноху приведу? Баб этих...

— Не о бабах я говорю, а о душе твоей пустой... Э, да о чем с тобой... — Шаралдай перевел взгляд на Дэбшэна и продолжал в том же духе раздражения (нет, не к такому разговору он готовился, не спал, вспоминал, думал, думал — да слишком много горечи, видать, накопилось). Ну, а ты, умный, что скажешь про свою жизнь?

— А что говорить? Как будто ты сам не видишь. Думал мир удивить, — Дэбшэн усмехнулся, — а вышло... Не удалась, отец, жизнь.

— Что ж так-то? У вас в физике вон сколько людей работают. Не удивляют мир, а работают. Али у тебя ума не хватило?

— Значит, не хватило. Неправильным путем шел, все окончилось неудачей. И больше нет сил к этому возвращаться.

— Не думал я, что так легко ты сдаешься. — А я его понимаю, — встрял Бадмаха. — Это по-моему: все или ничего. Не получилось — расплеваться со всеми и заново жизнь начать. — Где она, ваша новая жизнь? — прошептал старик. — Дайте перед смертью хоть одним глазком на нее полюбоваться. — Отец, — заговорил Дэбшэн поспешно, — я виноват, знаю. Не надо было мне сюда приезжать. — Куда ж тебе еще было приезжать? — Шаралдай вздохнул. — Зверь раненый и то в родную нору ранылизывать приползает. — Ты из-за меня слег, — возразил Дэбшэн угрюмо. — Я во всем виноват. —

Не обо мне речь... виноват, не виноват... Иной раз думаешь, я виноват, что такие вы у меня уродились. «Кто виноват? — размышляет сейчас старик под неумолчное течение реки. — Каждый только о себе думает — вот в чем беда. Бадмаха — об удовольствиях своих, силу девать некуда, бесится. Дэбшэн — о славе возмечтал, жизни вокруг себя не замечал, один-одинешенек остался... Что я ему дать могу? Что я им обоим дать могу?... Мне осталось-то всего ничего, а сердце об них исстрадалось. Да, не удалась жизнь...» Вспомнилась история — было то иль не было? Кто теперь разберет! — которую доктор Аюша о своем предке — тайше — рассказывал. Притворился тайша, будто умирает, и разговор сыновей своих подслушал: как, дескать, в последний путь отца они провожать собираются. Один сказал, что все выполнит, как положено: самого лучшего ламу приведет, заставит его денно и нощно по отцу молиться, а на сорок девятый день, по обычаю, богатые подношения сделает, чтоб отец их в рай попал или в следующем перерождении родился в облике мальчика. А второй только о наследстве и твердил, смерти отцовской дожидался.

История не про него, конечно, не про Шаралдай: его смерти никто не ждет, потому, как и наследства никакого нету. Не о том страдал Шаралдай. Бог с ним, с ламой и богатыми подношениями — как сыновья без него останутся, как жить будут? — вот что мучило. Ведь ежели ничто их не проймет, не заставит задуматься — выходит, и он напрасно жил? Все бессмысленно? Весь последний год он о том размышлял, благо на пенсии, сил на работу уже нет, а голова работает, никуда от мысли не денешься. Летом в теньке на чурбаке под навесом для дров пристроится, зимой возле гудящей печки вечерами сидит и все думает. Есть ли смысл во всей этой круговерти, что жизнью зовется, или безо всякой цели мечемся мы, чтоб поскорей конец приблизить? Порою прожитое сном кажется, сам он — тенью кого-то, а дела, заботы, что когда-то волновали, ничтожными, никому не нужными. Потому что есть Шаралдай, нет его — ничто в мире не изменится. Так же будет солнце вставать и сиять горные вершины, воды шуметь и опускаться звездная ночь, а любимые вечнозеленые ели вечно зеленеть... Но уже без него. Умри он сейчас — ничто в природе не шелохнется, никто не заломит руки в горе, не закричит, не заплачет, не осиротеет...

Шаралдай аж вздрогнул: больно мрачная картинка получается. А что поделаешь? Он же не рассуждает (у него ни слов таких не найдется, ни образов). Он ощущает всем существом своим себя в мире и весь мир в себе, холодный, равнодушный, в небытие стремящийся. «Нет, нет! — пытается оторваться старик от зовущей смертной бездны. — Это не так все... чего это я?

Рождение в облике человека—это и любовь, и счастье, и боль, все вместе. Как Бадмаха, первенец, родился — Шаралдай себя от счастья не помнил! А время-то было — голодное, военное, радость и смерть рядом. После войны — тоже не легче, неурожаи два года подряд, здоровых мужиков в колхозе раз, два, и обчелся — после войны родился Дэбшэн, любимец отцовский. Опять радость. А через год — горе: умерла девочка, неделю только и прожила на этом свете.

Шаралдай выкопал небольшую яму, опустил туда детское тельце, с полруки длиной, не больше, и поднял голову. В глазах потемнело вдруг, носом пошла кровь, он долго — в нарушение обычая — просидел над могилой под шелест, шорох, шепот молитвенных флажков с изображением солнца, луны и огня.

Тем горячее и отчаяннее привязался он к двум малышам своим. И не только к ним: каждый ребенок возбуждал теперь жалость и нежность беспомощностью своей, доверчивостью и чистотой. Должно быть, это самые лучшие годы были в жизни Шаралдая: сыновья подрастали помаленьку, помощники, быков он своих холил и лелеял, была еще жива жена. Да, лучшие годы, спроси у него кто тогда, в чем смысл его

жизни, он бы и не задумался: все живы здоровы, в сыновьях — будущее, которое он ожидает с уверенностью и надеждой.

Ни уверенности, ни надежды — ничего не осталось. Ладно, Бадмаха — чего от него ждать, молиться надо, чтоб хоть в тюрьму не попал. А вот Дэбшэн старика подкосил. Да, да, он правильно сказал сегодня, что из-за его приезда отец слег. Последняя надежда в жизни порушилась. Как он гордился сыном; вида, конечно, не подавал, но чуть не каждый день в красный уголок забегал газеты посмотреть и журналы: что там нового в физике, что про молодых талантливых ученых пишут... Свято верил, что Дэбшэна слава не обойдет, ведь он живет только своей физикой, ни семьи у него, ни друзей, никакой отдушины. Верить-то верил, но газеты тайком просматривал, так, вроде политикой интересуется. И вера не обманула его, дождался. Небольшая такая статейка («заметка» — как доктор Аюша выразился) о работе научно-исследовательского института, а в числе молодых и перспективный Д. Азаргаев. Так и написано: Д. Азаргаев. Старик не постеснялся, газету — республиканскую, в Улан-Удэ выходит — домой унес, всем, кто достоин того, заметку показывал и вскоре выучил ее наизусть. Вот она — слава! — приближается. Однако больше ничего о сыне не довелось ему прочитать, а на днях... на днях сам «молодой перспективный» (не такой уж и молодой, четвертый десяток идет, и должно быть, уже не перспективный) домой вернулся, объявил, что науку бросил, что в шалаше на Харагуне жить будет. Стыд и срам!

И надо же было этому случиться именно сейчас, когда Шаралдай приступил наконец к осуществлению давнего своего замысла. Точнее, замысел этот возник всего лишь год назад, но не вдруг, не на пустом месте, а как конкретное завершение, конкретный вывод из старой мечты, старых чувств, мыслей и желаний.

Война, послевоенное лихолетье, рождение сыновей, смерть дочери. Слабое, беспомощное, пришедшее в этот мир дитя... Пусть он нич<sup>о</sup>м уже не поможет взрослым своим, неприкаянным, неустроенным сыновьям, зато ведь можно помочь только начинающим жить детишкам — и его жизнь обретет смысл, и добром помянут люди. Сгоряча, как мысль эта пришла в голову, Шаралдай решил распродать все свое хозяйство (ему уже ничего не нужно, а сыновья молодые, здоровые — наживут), чтобы на вырученные деньги устроить в деревне ясли-сад. И ведь недорого можно будет обойтись, если договориться с председателем о вечно пустующем красном уголке (ясли-сад куда нужнее: газеты и так почти все выписывают и дома читают). Однако, как ни вычислял Шаралдай, как ни прикидывал, все равно сумма на ремонт да на оборудование огромная выходила, одному не потянуть.

Что делать? Отказаться от своего замысла? Ни за что! Он сделает первый взнос и обратится к хасууртинцам. Так решил Шаралдай, тайно заколол теленка (вообще-то он решил всего одну корову в хозяйстве оставить, остальное — на «дело») и послал невестку продать мясо. Дело пошло... «Дело пойдет, — говорил себе старик, — народ меня поддержит...» Говорить-то говорил, но... с той далекой ночи... как страшно полыхало зарево, как визжали задыхающиеся в огне, в дыму поросята, как кидались к выходу, когда он открывал дверцы свинарников, и, обожженные, рассеялись в чистом поле... с той самой страшной, наверное, в его жизни ночи отношения Шаралдая с односельчанами как-то незаметно, не сразу, не вдруг, а постепенно изменились. Что-то такое чувствовалось... недоверие, что ли... опаска, подозрительность. «Подозревают!» — дошло до него. Он замкнулся, ожесточился, посуровел. «Ну и пусть! Доказывать ничего не собираюсь. А дело свое доведу до конца!..» И довел бы, кабы не удар, что свалил его с ног в тот безмятежный, предвечерний час. Топор выпал из ослабевших рук, и сердце остановилось комом в груди... кажется, держишь в руках старинную чашу с напитком жизни — прольется драгоценное вино и уйдет в землю. Впрочем, с приходом друга, доктора Аюши, легчало, рассосалась боль. Он перестал чувствовать свое сердце как

нечто отдельное от себя и мог бы встать. Он знал, что может встать (и Аюша догадался), однако не встал. Старик задумался и принял твердое решение умереть. Вся начавшаяся вокруг него круговерть — Дэбшэн, Ломбо, Аюша, Бадмаха, Цезарь, Маглаа — только укрепили его решение. В особенности осторожные, юркие вопросы следователя: по ним Шаралдай понял, что подозревают его не только в поджоге свинарников, но и в краже скота у Ломбо и доктора Аюши. Это была последняя капля, старинная чаша жизни переполнилась.

Кажется, вот-вот вылетит дух живой, отлетит во тьму, и дыхание прервется. Хорошо бы так умереть, но какая-то невидимая нить — тонкий волосок — еще связывает с жизнью. Значит, надо его разорвать. В сорок первом, в последнюю секунду, когда медленно падала бомба и разверзлись небеса и весь мир разлетался вдребезги, успел подумать, нет, ощутить разрыв нити. Ошибся. А какая б то была прекрасная, нечаянная смерть! Существуют самые разные способы разрыва... выстрелить в сердце, ударить ножом, перерезать вены... яд, веревка... смыкаются черные воды... Уже не страшно. Все лучше, чем неделями, месяцами, годами, может быть, высыхать в кровати, становясь постепенно мучением и проклятьем для своих близких! Вот это действительно страшно.

А река шумела, гудела, переливалась на скатах, уносясь в черную даль. Он готов. Все бессмысленно: и его жизнь, и жизнь его детей, и мечты дурацкие, и доброе имя... Да, да, ничто в этом мире не переменится, когда он уйдет, никто не заломит руки в горе, не закричит, не заплачет, не осиротеет...

Он умирает, потому что не нужен стал никому. В крошечной тьме, где сливались небеса, земли и воды, где, казалось, растворится сейчас и он, станет частицей вселенского холода... во тьме родные любимые лица склонились над ним — и старик вздрогнул.

Как странно! Должно быть, час уже сидит над черными водами, сокрушается и плачет, но ни разу не вспомнил о внуке. А вот он — стоит перед глазами. И не такой, каким обычно домой с улицы прибегает: весь в грязи, или в пыли, или в снегу, заигрался, себя не помнит от возбуждения. Нет — светлый, тихий и чистый ребенок предстал перед потрясенным Шаралдаем.

Вспомнились слова ламы: перед смертью человека к нему приходят послы из трех миров. Свирепые докишты — хранители будущего от иноверцев, посланцы страны дьявола, прикинувшиеся красивейшими девушками... еще кто-то... он не помнит. Он не помнит, говорили ли ламы о том, что смерть приходит в чистом, светлом, тихом облике ребенка... Может быть, это не смерть, а любовь пришла к нему и напомнила о себе?..

Ай, господи, бог мой Арьяа Баали!<sup>1</sup> — зашептал старик, сотворя знамение ребром ладони. — Ум мани бадмай хум!...»

## 41

Итак, Соня обманула ожидания собравшихся у Таряши гостей: скандала не устроила, мужу не высказала, что он из себя представляет, и не вцепилась в волосы соперницы. Сидела себе за столом, спокойно, будто она из приглашенных, так, запоздала чуть-чуть.

Зато присутствующих одолевали самые сложные чувства: и неловко отчего-то (а с чего бы? Они Цезаря с первой женой не сводили, нет!), и любопытно (как Цезарь-то выкрутится? а Мэдэгма?), и тревожно...

Гомбо посмотрел на Соню с искренним удивлением, уважительно: «Ишь ты!»! Сразу видать — из образованных, шуму не поднимает, что б там Цезарь ни выкинул... А может, привыкла?... М-да, что ни говори, образование — сила! Наши бабы не смолчали

б, они б себя показали...» Он не ошибался. «Наши бабы» — матери-героини, Будаали с Эржэни — молчать бы не стали. Примерно одинаковые мысли бродили в голове у той и у другой: «Нет, я б не стерпела! Не успел приехать — на весь день жену бросил и с бывшей своей сидит, любезничает. Эта Соня либо ангел, либо... дура. Упустит мужика, как пить дать! Да я бы на ее месте Мэдэгме показала бы любовь, я бы ее так расчихвостила...» Мэдэгма жалела, что поддалась на уговоры Дэжэд и явилась на этот дурацкий ужин. Вон Гомбожап поглядывает с усмешечкой. Ну и пусть! Она ни в чем не виновата. Так Мэдэгма уговаривала себя, чем тревожнее и тоскливей было на душе, тем выше она поднимала голову, тем холоднее был ее взгляд.

---

<sup>1</sup> Арья Баали! — Будда милосердный.

А хозяйка, чтоб скрыть неловкость, продолжала оправдываться, только усугубляя ее: — Мы совершенно случайно собрались, правда, девочки? («Ага!» — пробасила Будаали, и Эржэни пролепетала: «Случайно, случайно!») У нас и в мыслях не было какой-то там пир затевать, просто ребята устали, весь день работали, правда, Таряаша?

— Правда,— подтвердил тот, хмуро взглянув на жену. «И что лебезит! Так старается, что Соня действительно что-нибудь такое подумает...»

— Не обессудьте, что угощение небогатое, — говорила хозяйка. — Если б я знала, я бы... Мы ведь, доярки то есть, в Унсэгтэ пока, на летней ферме. С утра до ночи заняты...

— Я понимаю,— сказала Соня любезно.— Напрасно извиняетесь: стол у вас прекрасный. Это белые грибы? — она взяла вилку, лежавшую перед Цезарем, и подцепила скользкую, величиной с пуговку, шляпку. — Мои самые любимые. Вы их солите или маринуете?

Все заговорили разом и с облегчением. Вообще грибы — тема неисчерпаемая и благодатная. Наверное, у каждого найдется, что по этому поводу сказать: и как за грибами охотятся, и как их солят, сушат, тушат, жарят, маринуют, и как едят, и с чем, и подо что... «Обыкновенный гриб! — думал Гомбо с умилением. — А ведь как к месту пришелся... Ну, моей-то, положим, никаким грибом рот не заткнешь, а вот Цезарю повезло. Честно сказать, повезло! Что значит образование...»

Таряаша тотчас за чайник горячий еще схватился, Дэжэд быстренько из шкафчика чашку с блюдцем достала, чистым полотенцем протерла (посуда мытая, вся блестит, да ведь надо уважение госте показать!) и на стол перед Соней поставила, заварки крепкой налила, кипятку добавила — душистый парок поплыл по комнате, — на чистую тарелку разных закусок положила и наконец сама уселась с чувством исполненного долга. — Спасибо, спасибо большое, — Соня улыбнулась лукаво. — Кавалер, сидящий рядом, совсем про меня не думает.

Все засмеялись, кто искренне («вот так поддела муженька, молодец!»), кто с натугой, стараясь скрыть неловкость, но в общем атмосфера начала разряжаться, как вдруг слишком долго молчавший Гомбожап заговорил назидательно:

— Мы никогда не замечаем то, что рядом. Человек слеп — такова его природа, — завфермой рассуждал вообще, так сказать, «философствовал», намекая, как ему казалось, только на себя и Мэдэгму; но при этом весьма чувствительно задевая Цезаря. — Что имеем, не ценим, только запретный плод для нас сладок, как говорится...

— Ты бы, Гомбожап, чайку попил,— вставил Та-Ряаша.— Давай я тебе свеженького...

— Не перебивай. О чем я? Да! Человек — существо не только слепое, а еще и ненасытное. Никогда «е скажет: все у меня есть, я доволен и счастлив, мол, ничего мне больше не надо. Вы слыхали когда-нибудь, чтоб кто-то так сказал? Не слыхали. И я не

слыхал. Нет, человек хватать будет и свое, и чужое... что плохо лежит. Скажите, Соня, я прав?

— Доля правды, конечно, в ваших словах есть, но, по-моему, вы напрасно так обобщаете. Люди разные,— ответила Соня и добавила: — Я довольна и счастлива, и мне ничего не нужно,— и тут же подумала: «А правда ли? Правда ли мне ничего не нужно? Сказать-то легко...»

Таряаша посмотрел на свою Дэжэд — смогла бы она ответить так вот спокойно и просто: «Я довольна и счастлива, и мне ничего не нужно?» — встретил ласковый взгляд и улыбнулся смущенно в ответ: да, смогла бы, да, любит...

— Слыхал, Гомбожап? — вмешался Гомбо, довольный, что нашелся-таки человек, срезавший этого «болтуна надоевшего». — Перед гобой счастливая женщина, которой чужого не надо. Зачем ей чужое.

— Зачем ей чужой? У нее свой хороший! — воскликнула Эржэни, поглядев на мужа. — Не всем женщинам так повезло.

— Уж тебе-то чем не повезло? — не унимался Гомбо. — Кажись, лучше меня во всем аймаке мужика не найти.

— Ой ли? — улыбнулась Эржэни, вокруг засмеялись, а Будаали проворчала: — Все вы хороши! — бегство трусливого муженька ее уязвило. — Только языком трепать. А по-настоящему разобраться, что вы есть без женщины? Ноль без палочки!

— Один — ноль в твою пользу, Будаали, — неожиданно согласился Гомбожап. — Ноль — это я, мужчина, а единичка, то есть палочка — ты. Довольна?

— Ты гляди, чтоб не я была тобой довольна, а кто-то другой! — отрезала Будаали, выразительно поглядев на Мэдэгму; дурашливый тон Гомбожапа доярок обмануть не мог.

— Кто-то другой счастлив с кем-то другим,— многозначительно пробормотал он, наконец-то посмотрел на Мэдэгму в упор и спросил напряженно: — Или я не прав?

— Ты не прав, — ответила она серьезно и твердо; это были ее первые слова после прихода Сони; все переглянулись в недоумении (только Дэжэд, видевшая в Унсэгтэ Дэбшэна, смутно о чем-то догадывалась), но Гомбожап понял и поверил, и угрюмое лицо его слегка просветлело.

— Он всегда не прав! — заявил ничего не понявший, настроенный на шутливый лад Гомбо. — Смотри, Цезарь, как председателем тебя изберем, перво-наперво снимай его с фермы. Это мой наказ тебе от имени народа.

Все засмеялись, зашумели.

— А кого вместо Гомбожапа? Уж не тебя ль?

— Да хоть меня! Все доярки будут довольны и счастливы!

— Ишь ты, какой нашелся!

— Мы зава нашего в обиду не дадим!

— Не зава снимать, Цезарь, а новую ферму строить надо...

— И молодняк закупать стоящий. Нас всегда обходят.

— Подои-ка вручную, будешь доволен и счастлив...

Мэдэгма молчала. «Ты не прав! — все повторяла она про себя. — Ты не прав! Никому я счастья не принесла — да и мне никто», — и ей хотелось плакать, будто сейчас, за этим столом, где собрались ее друзья, она прощалась с молодостью, с Дэбшэном, с мечтами своими и чувствами, которыми жила до сих пор. Запоздалое, конечно, прощание, да что теперь поделаешь: так сложилась жизнь. Как говорят, неудачно сложилась. Неужели? Неужели поздно и никому она счастья так и не принесет? Она сидела, опустив голову, сдерживая слезы, но чувствовала — сильно чувствовала! — взволнованный ожидающий взгляд сидящего напротив человека, которому она сказала: «Ты не прав».



— Я еще не председатель! — отбивался Цезарь от наседающих на него женщин. — Но если им стану, все наказы постараюсь выполнить. И прежде всего Гомбожапа вашего в обиду не дам...

— Не быть мне, значит, начальником? — приуныл Гомбо. — А я-то надеялся в женском коллективе пышным цветом расцвести...

— На поле расцветай, — посоветовал Цезарь. — Таряашу обгони. Что, ослаб?

— Это мы еще поглядим.

— Вот и гляди. А сейчас... хорошо с вами, друзья... хорошо посидели, правда, Соня? Но нам пора...

— Да погоди, Цезарь! — остановил его Таряаша. — Вот-вот чайник закипит.

— Горяченького на дорожку! — Дэжэд вскочила. — Без чая не отпустим, как хотите!

— Правильно, Дэжэд, — поддержала Будаали, любившая чайком побаловаться. — Я твой чай люблю, крепкий. Завари-ка с зутараном<sup>1</sup> да побольше масла положи. По одному стаканчику — и разбежимся...

— Нет, пора, — перебил Цезарь. — Пора домой с повинной. Заработался, про отцовский праздник забыл... а когда вспомнил — праздник уже кончился.

— Мы тебя ждали, — тихонько сказала Соня. — Ну, виноват, виноват. Думал, всю ночь гулять будете, успею. А вы как-то быстро разошлись...

На веранде послышались быстрые шаги, входная дверь протяжно застонала. На этот стон грозно обернулась Будаали, ожидая появления сбежавшего мужа.

---

<sup>1</sup> Зутаран — молотое обжаренное зерно.

Однако на пороге возник мальчик в темно-синей школьной форме, с короткими взъерошенными волосами, с загорелым крупным лицом. Чингис, прищурившись от яркого света, искал глазами мать.

Соня сразу узнала давешнего «хулигана» и быстро взглянула на мужа. Какую-то секунду лицо его оставалось невозмутимым — и вдруг оживилось, глаза вспыхнули, дрогнули губы. Узнал!

Его сын, при полном остоленом молчании присутствующих, решительным шагом пересек комнату и подошел к матери.

— Ты почему не у дяди? — воскликнула она, опомнившись.

— Пойдем домой, — сказал Чингис озабоченно — ну прямо взрослый мужчина обращается к слабой женщине.

— Да, да, пошли, — Мэдэгма поспешно поднялась, прижав к себе сына, но он отстранился и взглянул исподлобья на Цезаря; тот отвел взгляд.

— Это мой отец? — спросил Чингис звонко.

Мэдэгма молчала растерянно.

— Говорят, что он мой отец. Это правда?

— Правда, — сказал вдруг Цезарь и встал.

— Значит, это ты нас с мамой бросил?

Мэдэгма обхватила сына за плечи, попыталась сдвинуть с места, но он стоял как вкопанный, не сводя открытого прямого взгляда с отца.

— Значит, ты нас бросил, — повторил Чингис уже с утвердительной интонацией, в озлобленном голосе зазвенели слезы. — Ну и пусть. Ты нам не нужен. Я тебя ненавижу!

— Чингиска, — пробормотал Гомбожап, — дружок мой, что ты?

В деревне все на виду, ничего не скроешь. Бедный малыш! Друзья, должно быть, давно разошлись по домам и спят в теплых постелях. Он остался один, пришел на свой пустой двор, сидел в темноте, дожидаясь мать; не дождавшись, пошел искать ее, загля-

дивая в освещенные окна. Увидел: может быть, не сразу решился войти, а долго стоял, смотрел в окно, думал: почему я один? почему отец меня бросил?

Мэдэгме удалось наконец сдвинуть сына с места — да он и сам уже не сопротивлялся. Дверь тяжело хлопнула. Шаги по веранде, по ступенькам. Тишина. Гомбожап бросился за ними.

Цезарь так и остался стоять, будто оплеванный.

Все, из чувства мучительной неловкости, избегали на него смотреть. Соня тихонько взяла мужа за руку, потянула вниз. Он сел, больше всего мечтая очутиться как можно дальше отсюда, за тридевять земель, на краю света. Однако надо было выждать время, пусть они отойдут подальше, уйдут, скроются...

Хозяйка принялась разливать чай, Таряша помогал, Гомбо завел какой-то нудный рассказ, слушатели поддакивали, переспрашивали — словом, все пытались сделать видимость, будто ничего не произошло.

Цезарь не слышал ни слова. Зачем он приехал сюда?

Ведь не хотел, значит, что-то в этом роде предчувствовал. И не на ком сорвать гнев, раздражение, боль — сам во всем виноват. Когда уходил от Мэдэгмы, меньше всего думал о сыне. Думал, она-то уж не пропадет, скоро замуж выскочит за Дэбшэна своего... или кто-нибудь еще подвернется, вниманием мужчин она не обижена. И позже оскорбленное самолюбие — мужская гордость, будь она проклята! — не позволяло написать Мэдэгме, узнать, как сын, или приехать повидаться с ним. Ушел — и прошлое как отрезал.

Нет, не так. Окольными путями — у своих — узнавал, что сын растет, жив-здоров, заводит в играх и драках — словом, весь в отца, и внешностью, и характером. Алименты, само собой, высылались, но ведь этого мало, мало... Зато сегодня сполна получил: «Я тебя ненавижу!» — звенело в ушах. Хорошо начинает он свою жизнь на родине, лучше некуда. Эти люди, что сидят рядом с ним за столом и стараются болтовней замять случившееся, — что они думают о нем? А Соня? Самый близкий человек... Цезарь украдкой взглянул на жену: побледневшая, напряженная как струночка — он чувствовал — она якобы внимательно слушает Гомбо и кивает головой... Надо немедленно уходить, не длить свой позор на людях, но он как-то вдруг отяжелел. Нет, окаменел — вот точное слово. Не было, кажется, сил шевельнуться, поднести ко рту кружку с чаем, встать, наконец...

И тут грянула старинная ёхорная песня:

Алтай и Хангай преодолевая,  
На пегого иноходца надейтесь,  
Открывшийся мир обозревая,  
На глаза свои надейтесь...

Гомбо затанул, женщины подхватили, Таряша присоединился... Цезарь поморщился — настолько эта песня не соответствовала его душевному настрою — и тут же поймал себя на том, что подпевает, как бы нехотя. Но мелодия завораживает, вовлекая в древний ритм, стены комнаты расширяются, словно бы исчезают в ночной степи... не за гостеприимным столом Таряши сидят они, а скачут, скачут на быстрых скакунах к горным вершинам на горизонте. Лица разгорелись, глаза засверкали, словно ветер свистит в ушах, мерной дробью стучат копыта, тревожная неизвестность впереди, удаль, простор и воля...

Из темной глубины веков раздается эта песня. Пели ее, когда выходили в далекий опасный путь целым племенем или родом. И чья-то мать укладывала во вьюки бедное добро, беспокоилась, не забыли ли шкурку ягненка, или деревянные ложки, или пузырь

с топленным маслом; отец запрягал коня, усаживал ребятишек в телегу; старая-престарая бабушка молилась о детях, о внуках и о правнуках, чтоб миновала их вражеская стрела, не свалила лихая болезнь, не напали бы хищники, расступились бы реки и горы, и земля легла ровной гладью, и ждал бы ночлег, приют и покой впереди.

Поющие Гомбо и Таряша, а вместе с ними и Цезарь, на мгновение забывший обо всем, ощутили себя прямо-таки многоопытными мужами, не теряющими отваги ни перед невзгодами войны, ни во время мора и дзуда<sup>1</sup>... А женщины нежно вторили им, как бы

---

<sup>1</sup>Дзуд — бескормица, при которой случается массовый падеж скота.

беспокоясь: смогут ли они преодолеть высокий перевал, не сорвутся ли в пропасть, не падет ли от усталости скотина, которую гонят с собой? «Надейтесь! Надейтесь!» — повторяли женские голоса. Верный конь пройдет по грудь в снегу, устоит перед черными ветрами гобийских просторов. А женщина, отважная и закаленная, с новорожденным на руках, усидит в седле, достигнет земли обетованной...

Сурова была та песня, сурова жизнь предков, не чета нынешней. А мы? Неужто только в песне способны мы воодушевиться, а в жизни захнычем перед любой трудностью, отступим перед любым испытанием?

Неужто взаправду измельчал народ? У малодушных мужчин и жены сварливы, и дети трусливы... Впрочем, про Чингиса этого не скажешь... Соня в первый раз слушала эту ёхорную песню и незаметно наблюдала за мужем. Цезарь бросился в песню, как измученный путник — в прохладную чистую воду. Его земля, его народ. Она впервые почувствовала, как нелегко ему будет здесь — и не только из-за прежней жены и сына — какую ношу взвалил он на себя: за каждый шаг держать ответ перед родной землей и сородичами. Но и другое сумела она уловить, глядя на взволнованное, не защищенное обычной сдержанностью, открытое лицо мужа: его место здесь.

Да, несмотря ни на что, его место здесь, — думал Цезарь. — В этом дружном хоре, в этой тихой — не такой уж и тихой, как выяснилось! — деревушке, где старики, считая на пальцах, вспомнят всю его родословную до девятого колена и будут спорить, достоин ли он своих предков. Удастся ли? На родине связь с землей, как с матерью, ощущается особенно сильно и неразрывно. Вот почему именно здесь не только за план, за урожаи и надои должен болеть он, но и за самую землю, чтобы для будущих поколений сохранить цветущие заливные луга, леса, обильные ягодами, орехами и грибами, полноводные реки с хариусом и тайменем, голубой золотистый прозрачный воздух, вечный темно-зеленый цвет тайги...

Голоса звенели, сплетались, переплетались, набирали силу. А Соня не знает слов, не знает этих песен, она чужая здесь — подумалось с горечью — человек, так сказать, со стороны. С какой стороны? Где ее родной улус? Его просто не существует. Детство прошло в бесконечных переездах: отца, как опытного командира в сражениях, перебрасывали с одного «опасного» участка на другой, сколько аймаков они сменили! Юность быстро — не успела оглянуться — пролетела в городе, так и не ставшем родным. А теперь вот ездит вместе с мужем, как, бывало, мать ее с отцом. Но, кажется, эта остановка в Хасуурите надолго, если не навсегда. Вдруг стало страшно. Эта женщина с ребенком — с его сыном! — старик со старухой, какие-то нервные, раздраженные, которых она должна называть теперь отцом и матерью, эти люди за столом, их воспоминания, которые она не помнит, их песни, которые она не знает... И такое одиночество внезапно охватило ее, что она встала и сказала громко:

— Цезарь, пошли домой!

Песня оборвалась. Все глядели на нее затуманенными глазами с недоумением. Да, совсем чужая! Да, одиночество... Муж как будто понял ее состояние, вышел из-за стола и повел к выходу, захватив с вешалки возле двери плащ.

Их встретила деревенская, беззвездная, беззвучная ночь, лишь едва слышный равномерный гул доносился со стороны Харагуна, да порою поблескивали черные лужи под редким фонарем, да зябкий ветерок обдувал разгоряченные лица. В такую ночь сладко спится под теплым одеялом, но меж темными домами Хасууриты, казалось, бродит тревога.

Они молча дошли до дому. Барс, заслышав шаги, с рычаньем двинулся к калитке, но тотчас узнал своих и завилял хвостом, приветствуя.

— Этот еще... путается под ногами! — проворчал Цезарь.

— Прямо как я, правда? — усмехнулась она.

— Что — ты?

— Тоже путаюсь у тебя под ногами.

Цезарь остановился резко, готовый наконец сорвать накопившееся раздражение. Вот женщины! Вместо того, чтобы успокоить, уладить, замять как-то, они постараются тебя же еще и добить... Однако Соня стояла перед ним в тусклом свете, падающем из окна, склонив голову, такая маленькая, незащищенная — жалость и нежность подступили к горлу. Если сегодняшний вечер был невыносимым для него — щелкнули по носу, чтоб не задирал, — то каково же ей? Он-то среди своих, а для нее здесь все чужое, может быть, даже враждебное... Цезарь сказал тихо:

— Соня, зачем ты так говоришь? Ты знаешь, у меня никого ближе тебя нет.

— Не знаю! — она вдруг закрыла лицо руками, слезы зазвучали в голосе. — Ничего не знаю.

Цезарь, совершенно не переносивший женских слез, сразу растерялся, пропали все слова. Он топтался возле жены, хрипло повторяя одно и то же: — Ну, Соня... ну что ты?.. Ну что ты, в самом деле... Соня...

— До сих пор... так хорошо жили, — с трудом выговорила она, — а теперь...

Он поднял руки, чтобы обнять, утешить, как вдруг из тьмы возник рядом с ними Ломбо. Не обращая внимания на плачущую Соню, позвал глухо, как-то зловеще:

— Цезарь! — Цезарь молчал, изумленный. — Цезарь! Поди-ка сюда, — и двинулся к навесу над входом в сарай так быстро, будто от кого-то убегал.

Цезарь кинулся было за отцом, но тут его остановил голос матери с крыльца:

— Цезарь!

— Да, мама?

Они перекликались, словно заблудившиеся в лесу... нет, словно бесплотные тени во тьме, во сне...

Ощущение нереальности происходящего, внезапно возникнув, усиливалось.

— Что случилось, мама?

— Это я у тебя хочу спросить! — заговорила Дулсама с привычным напором — и он почувствовал себя в своем дворе, дома, как обычно меж двух огней — отца и матери.

— Я с ног падаю от усталости, сердце колет и поясница совсем отнялась...

— Хоть бы язык у тебя отнялся! — напомнил о своем существовании Ломбо.

— Все болит! — возвысила голос Дулсама. — А тут... настоящий сумасшедший дом! Ты с утра как в пропасть сгинул, отец никак не угомонится, бродит по двору, как... как привидение... А Ханда! Где Ханда?

— Утром я ее у дяди Шаралдая видел.

— Шаралдая! Как бы не так: она к Дэбшэну бежит. Эта семейка в гроб меня уложит... Почему ты ее не увел?

— Я думал... она больному помогала...

— Ах, больному! Я три раза детей Гомбо туда посылала: нет там никого, ни больного этого липового... ворюги!.. ни дочери!..

— Шаралдай нет? — вновь раздался голос отца, глухой, как из глубокой ямы. — Цезарь! Цезарь!

— Угомони ты его, ради бога! — Дулсама спустилась с крыльца. — Пойдем, пойдем, ведь он и вправду помешался... А у меня в ушах звенит, видать, давление...

Мать с сыном подошли к сараю, за ними Соня, забыв о собственных невзгодах; слишком стремительно и диковинно развивались события в маленькой, вроде бы сонной деревушке.

Ломбо метался возле недавнего праздничного пожарища, повторяя вполголоса:

— Кто бы мог подумать... нет, ну кто бы мог подумать... разве я мог...

— Поглядите на него, люди добрые! — стонала Дулсама, — мечется как угорелый и не видит, что пожар начинается... Глядите, вон уголек горит... вон еще и еще! — она достала щипцы с полки под навесом и принялась разбивать мерцающие, переливающиеся золотом и пурпуром огоньки. — Откуда они только взялись? Я ж сама костер заливала, вроде прогорел, потух... И ведь ветер!.. Раздует уголья, сарай примется, потом на дом перекинется...

— Все так должно и быть! — заявил Ломбо мрачно. — Зальешь огонь холодной водицей, он погаснет — кажется, все шито-крыто. Ан-нет! Один горящий уголек, всего лишь один останется под пеплом — и вспыхнет вдруг в самое неподходящее время. И от уголька от этого вся жизнь сгорит, как и не было ее!

— Слыхали? — завопила Дулсама плачущим голосом.

— Вот с того самого пира — будь он проклят, этот пир! — прямо не в себе стал, прямо...

— Молчать! — гаркнул Ломбо и сказал тихо после паузы: — Перед вами, друзья, уголовный преступник.

— Ломбо, опомнись!

— Опомнися — да слишком поздно!.. Помнишь, Цезарь, как у нас свинарники в Хасуурите сгорели? Конечно, помнишь, тебе уже лет двенадцать было. Так вот, поджег те свинарники Шаралдай...

— Я говорила, что этот ворюга...

— Молчать! Поджег Шаралдай, а уговорил его я.

— Ох! — вскрикнула Дулсама, тяжело опустилась, осела на чурбан, ударив нечаянно щипцами по чугунному котлу: котел отозвался постепенно затухающим, каким-то похоронным звоном.

Цезарь с Соней стояли, замерев. Он еще не знал, как отнестись к словам отца — может, действительно заговаривается? — но душа уже предчувствовала правду.

— Отец... мама... — заговорил Цезарь поспешно. — Ну что вы в самом деле... трагедию устраиваете? Какой-то пожар... сто лет назад! Кому он нужен? — Майору, сынок, — отозвался отец убито; мать тихонько постанывала. — Майору Маглаа, которому этот самый пожар карьеру когда-то испортил. Теперь он до самых корней докапывается, а помогает ему доктор Аюша... мстит мне за лагерь. Понимаете теперь, откуда веревочка вьется?

— И через столько лет майор вдруг следствие начал? Отец, это странно.

— Странно? Об этом ты у нее спроси! — Ломбо ткнул пальцем в жену. — Из-за ее жадности и я погорел.

— Что ж ты буровишь, старый ты...

— Молчать! Бык у нас пропал — так она меня заставила заявление в милицию подать. Вот майор сюда и появился... быка искать. Слух прошел, будто Шаралдай по ночам скотину на своем дворе режет, смекаешь?

— Неужели дядя Шаралдай поджигатель и вор к тому же? Не верится что-то.

— Честно сказать, и мне не очень верится, но... видишь ли, Шаралдай вдруг помирать собрался. И у меня подозрение, что он перед майором душу облегчил, так сказать, исповедался.

— То есть он указал на тебя как на соучастника поджога, так, что ли?

— Может, так, а может, не так. Не знаю. Я сам признался.

— Признался! — вскричала Дулсама.

— Кому ты признался?

— Майору и доктору Аюше.

— Да ты что? Сдурел на старости лет?

— В последний раз предупреждаю! — загремел Ломбо. — Нечего ртом Ангору глотать, ногами рыбу ловить. Ты уже свое дело сделала: из-за быка паршивого всего лишишься, по миру пойдешь...

— Отец, никто тебя твоего добра не лишит, ты его честным трудом нажил. Да и не в этом дело. Как отнесся следователь к твоему признанию?

— Разберемся, говорит, а я так понял, суд будет и, коли меня даже и не посадят, все равно семью нашу на весь белый свет ославят.

Ломбо замолчал, и все молчали, слышались только тихие всхлипы присмирившей Дулсамы. Наконец он спросил как-то робко:

— Ты думаешь, Цезарь, не надо было признаваться?

— Не знаю... я понять не могу... Скажи, отец, за чем ты дядю Шаралдая на поджог подбивал?

— Благодетеля твоего хотел подсидеть, — ответил Ломбо угрюмо.

— Какого благодетеля?

— Тогдашнего председателя, что нынче в совхозе твоим директором работает.

— Чем же он тебе не угодил? — воскликнул Цезарь растерянно; вновь возникло ощущение нереальности: будто бы во тьме на потухшем пожарище загораются давно погасшие, засыпанные пеплом, временем, тленом красные огоньки.

— Э, то старая история — чего о ней вспоминать? Два медведя — мы с председателем — в одной берлоге не ужились, — отмахнулся Ломбо. — Я тебя чего звал-то? Я о сегодняшнем хотел поговорить...

— погоди! Как ты мог кого-то на поджог подговорить, я хочу понять.

— Я сам хочу, — Ломбо усмехнулся, помолчал, заговорил с тревогой: — Будто не сам я хотел, а какой-то человечек внутри меня подзуживал. Как это старики говорят: бес попутал, черт черненький...

— Да ведь не ты свинарники спалил, — жалобно взмолилась Дулсама. — Этот ворюга старый а ты признался! Зачем признался-то?

— Э, не понимаешь ничего. Надо было вперед Шаралдая забежать, чистосердечное признание на суде учитывается.

— Чистосердечное, отец? — в голосе Цезаря слышалась какая-то усталая ирония, и Ломбо ответил тихо и задумчиво:

— Может, и чистосердечное... надоело, муторно на душе, а сегодня родственник — на праздник наш дальний родственник пожаловал — всего меня взбаламутил. В общем, теперь ты все знаешь, — Ломбо вздохнул. — Уезжайте отсюда.

— То есть как это?

— А так. Слух прошел, тебя к нам в председатели определяют?

— Если выберут, то...

— Теперь неизвестно, выберут или нет, как про меня все узнают. На общем собрании поднимется кто да ляпнет: «Отец у него колхозное добро в пепел превратил, можем ли мы, дескать, сыну доверять?» И чуть что, какая б там беда ни случилась — в

тебя все пальцем тыкать будут... Что ты тут потерял? Небось мечтаешь землякам добро принести? А кто вспомнит о твоём добре? Запоминается как раз плохое. Я в Хасуурите годы и годы главным начальником был — и какие годы! Не то что теперь: и машины, и трактора, и комбайны. Тогда о такой технике слухом не слыхали, от зари до зари работали. Кто теперь про это вспомнит? Вспомнят, как с таким-то поскандалил, кого-то на работу выгнал. Вон сегодня у меня же за столом кто мне уважение оказал? Никто! Уезжайте, уезжайте. Скажешь там наверху в райкоме: хозяйство запущенное — и вправду запущенное! — мне, мол, не под силу, опыта не хватает и так далее. Ну, что в таких случаях говорится? Сам, должно быть, знаешь. Без места не останешься, не переживай, ты работник толковый и работяга...

— Цезарь, отца не слушай, — зашептала вдруг Дулсама. — Чем раньше председателем станешь, тем раньше языки уймутся. Скоренько присмирят. Кто с нойоном не дружит, без спины остается. Если сумеешь себя показать — а ты сумеешь! — кому в голову взбредет вспоминать, что сто лет назад случилось? И Шаралдай в могилу сойдет!..

— Ты и меня в могилу сведешь! — перебил Ломбо. — Да по мне, оставайтесь, мне ж лучше. Но вы оба понять должны, что я не за себя беспокоюсь, я отжил свое... за вас, за детей ваших! Разве теперь всем рты позакрываешь? Не те времена. Нынче не то что председателя — министра никто не побоится. Воли много народу дали — будет ли прок? Поглядим, поглядим. А вы уезжайте, не пачкайтесь в той грязи, что по моей вине тут всплыла на белый свет... На руководителе ни одного пятнышка быть не должно, иначе уважать не будут, бояться не будут. Уезжайте подальше отсюда, покуда тесть в силе и устроиться поможет. Вот мой тебе наказ.

— Вот покуда тесть в силе, Цезарю и надо тут укрепиться! — возражала Дулсама. — Ишь ты, сам делов наделал, а сыну за тебя отвечать...

— Я ж про то и толкую! Уедет — отвечать не придется.

— Ему и так не придется! Его в деревне все уважают... И-и-и, мужики: кого вы тут, в Хасуурите, испугались? Аюшу да Шаралдаю? Это ж курам на смех! Один помирает, другой книжками своими только занят...

— Про майора забыла? Он дело копает.

— Вот на майора этого самого, который двадцать лет про свинарник забыть не может, Цезарь и найдет управу, а тесть, дай бог ему здоровья, поможет. Неужели, дети, вы за отца не заступитесь? Неужели бросите его на старости лет?

— Ну что вы! — горячо заговорила Соня в первый раз за это время. — Мы вас не бросим, правда, Цезарь? По-моему, отец прав, здесь... как-то нехорошо. Может быть, я ошибаюсь, но тревожно как-то. Мне не нравится. Мой папа поможет, конечно. Мы уедем все вместе... я хочу сказать, вместе с вами.

— Спасибо, дочка, только я отсюда никуда не уеду, — сказал Ломбо, вроде бы успокоенный немного, даже растроганный. — Да, велик белый свет, да Хасуурита одна такая, другой нету для меня. Пусть позорят как хотят, но кости мои в этой земле лежать будут. Если уеду — сразу конченным человеком себя почувствую, знаю. А я, может, еще не конченный, пожить хочу, рассчитать, взвесить да поразмыслить, для чего я землю топтал. Эту вот самую землю, а не какую-то там в чужих краях. Чего я там не видал? Нет, я не конченный, я еще хочу с Аюшей договорить и доспорить с Шаралдаем... — Ломбо запнулся и добавил шепотом: — И с Шаралдаем вину разделить.

Все молчали, но не расходились почему-то, стоя друг перед другом у потухшего костра. Тьма сгустилась, не видно лиц и рук — смутные тени в ночи. Однако не усталость ощущал Цезарь, наоборот — странный подъем духа. Казалось просто невозможным пойти и улечься спать — сна ни в одном глазу — хотелось... Впрочем, он

сам не знал, чего ему хотелось, разве что... положить под треногу дров и разжечь огонь — золотой трепещущий огонь в ночи.

## 42

Когда Мэдэгма, крепко держа сына за руку, быстро пересекла двор доктора Аюши и открыла калитку, ей послышалось, будто входная дверь в доме хлопнула и протопали чьи-то торопливые шаги по ступенькам. Однако она не оглянулась, хоть мелькнула мысль — «кто это идет за нами? Ведь не Цезарь же!» — мелькнула и тотчас исчезла. Ни до кого ей дела нет! Она страшно жалела, что сорвалась, поддавшись нелепому какому-то порыву, в Хасууриту. Больше всего хотелось закрыть глаза, заткнуть уши и, укрывшись с головой в одеяло, замереть неподвижно.

Случаются такие минуты в жизни, когда и сама жизнь не мила. Но рядом шагал Чингис, голодный, грязный с головы до ног, чуть не до слез разобиженный. Надо привести его домой, вымыть как следует, накормить досыта, обогреть, успокоить, в постель уложить и, обняв, лечь рядом, терпеливо дожидаясь, пока он не заснет. И лишь тогда... тогда можно дать волю отчаянию.

Чингис сказал что-то и остановился.

— Что? — спросила она рассеянно.

— Давай дядю Гомбожапа подождем.

— Какого еще Гомбожапа? — Мэдэгма двинулась вперед, потянув за руку сына; тот упирался изо всех сил.

— Дядю Гомбожапа. Он за нами идет.

Мэдэгма обернулась: действительно, чья-то тень медленно приближалась.

— Да откуда ты знаешь, что это Гомбожап?

— Знаю! — упрямо ответил мальчик, не двигаясь с места; Мэдэгма чуть не плакала от бессилия; внезапно он вырвал руку и бросился назад. — Чингис! — крикнула Мэдэгма безнадежно. — Куда ты, Чингис?

— Не волнуйся, Мэдэгма! — ответил голос Гомбожапа из темноты. — Он со мной!

Тогда она круто повернулась и пошла прямо по лужам, не разбирая дороги.

Гомбожапа очень любят дети, и он их любит. «У тебя много детей будет», — предсказывали ему старухи, когда он еще парнем был. И, точно в подтверждение, Валя родила близнецов — девочек. «Очень хорошо, — отвечал Гомбожап на шуточки друзей насчет мужей-бракоделов. — Таких обормотов, как мы с вами, еще успеем народить. А девочки за братишками следить будут, порядок в доме наводить, рубашку, например, мне стирают. Э, понимали б вы что в этом деле!...» Однако не суждено ему было на сыновей порадоваться. Зато стоит Гомбожапу зайти к приятелю в гости или просто к кому по делу заглянуть, его сразу окружают дети: игрушки тащат показать, на колени норовят взобраться... смеху, разговоров, веселья! Приятели-отцы — тот же Таряша или Гомбо с Данзаном — прямо дивились: «Чем ты их приучаешь?» Гомбожап и сам не смог бы на этот вопрос ответить. Должно быть, разговаривать он с ними умеет и чувствуют они его непритворный к ним интерес.

Особенно привязался к Гомбожапу Чингис. Оно и понятно: без отца ребенок растет. И тот чувствовал к мальчику удивительную нежность. «Мы с ним оба судьбой обиженные, — думает Гомбожап. — Ему отца не хватает, мне — сына». Поэтому все лето Чингис пропадает в Унсэгтэ на ферме, где вроде бы помощником заведующего «работает». Конечно, это игра, но очень занятная. К примеру, с утра мальчик обходит все хозяйство и о каждой неисправности заведующему докладывает: в таком-то коровнике лампочка перегорела, или изгородь в загоне покосилась, или у Краснушки слезы текут, видать, заболела... Но про людей — про доярок и пастухов — молчок, это



уже не доклад, а ябедничество будет, считал Чингис, и его «начальник» это понимает и никогда этим не интересуется.

Выдастся время свободное — друзья па рыбалку, Чингис заранее червей накопает; либо в шахматы сидят играют, а то оседлают лошадей и на дальнее пастбище махнут: Гомбожап научил мальчика верхом ездить. «Молодец! — гордился он своим помощником. — Вот на охоту тебе еще рановато. Ничего, расти-подрастай, я подожду». И никогда не забывает какую-нибудь игрушку привезти, когда в город ездит или в райцентр: самоходку, танк, самолетик... А уж Чингис его ждет не дождется! Дров наколет, воды девочкам наносит — ведь он мужчина! — десять раз на дню забежит проведать и спросить: отец не вернулся ли? А когда Гомбожап, как в деревне говорят, «зашибать стал», Чингис сильно запереживал, но друга в беде не оставил, хотя в дружбе их вдруг появились новые черты: жалостливость, какая-то заботливость у ребенка и смущение, виноватость у взрослого мужчины. Односельчане боялись связываться с выпившим Гомбожапом из-за его «поганого языка», но мальчик обычно терпеливо ждал его, не подавая, конечно, вида, что ждет... так, с ребятами вроде заигрался, на улице после вечеринки либо, так сказать, «мужского разговора», чтоб отвести домой и уложить спать, а то всю ночь будет колобродить. И утром, едва разлепив «бесстыжие свои глаза» (так думал про себя Гомбожап), он видел перед собой лицо ребенка, серьезное и сочувствующее. «Надо бросать, брат, — говорил Гомбожап, морщась от головной боли и мучительной похмельной тоски, — погоди...» — «Сколько можно ходить?» — сурово спрашивал мальчик. «Брошу, честное слово! Я ведь не пьяница, а так... душа болит. Понимаешь?» — «Понимаю». — «Эх, и заживем мы с тобой тогда! Вот увидишь».

Мэдэгма шла по улице, слыша за собой шаги; они не приближались и не удалялись, выдерживая дистанцию, которую и она не пыталась сократить: она плакала, беззвучно и неутешно. Одна, совсем одна!

Даже сын предпочитает ей человека постороннего. С тех пор, как умерла мама, жизнь ее... нет, раньше, гораздо раньше, еще при отчине жизнь ее была безрадостной. До сих пор помнится, как они с матерью прятались по вечерам в амбаре, дожидаясь, пока пьяный отчим—человек крутой, даже жестокий — уgomонится. Гнать надо было его из дому, а мать терпела — безответная женщина, добрая и несчастная. Так бы и терпели они всю жизнь, кабы отчим сам не «освободил» их: в самую осеннюю стужу простудился ночью, не добравшись до дому, долго болел, надрываясь от кашля, и не дотянул до весны, умер. На похоронах они поплакали, но недолго горевали: хоть и жили под одной крышей, а так и не стал этот человек родным. А вот когда мать заболела, Мэдэгма узнала, что такое настоящее горе. К тому времени она уже дояркой работала, старалась изо всех сил всюду поспеть: после дойки домой сломя голову летела, опять на дойку, коров кормить, матери лекарство вовремя дать. Доктор Аюша каждый день заходил и из района привозил врача, даже к шаману ездили и к ламе; как ребенка мать выхаживала — безнадежно.

Похоронила — одна осталась. И до сих пор одна.

Ни Дэбшэна, ни Цезаря не смогла удержать. Говорят, за любовь бороться надо. Как бороться? Как? На скандалы да на унижения она не способна, хоть умри! Да и что же это за любовь в результате выйдет?

Нет, нет, любовь — когда друг без друга жить не могут, а на привязи мужа держать, как некоторые женщины держат, она не согласна.

Мэдэгма поспешно вытерла глаза концом платка, подвязанного под подбородком, и остановилась возле дома Гомбожапа, поджидая неразлучную парочку.

— Ты уж нас, Мэдэгма, извини, — заговорил Гомбожап, подходя. — Два дня не виделись, поговорить надо было. Сама понимаешь: у мужчин свои мужские разговоры.

Но Мэдэгма не поддержала шутливого тона, промолчала, и он добавил:

— Ладно, теперь по домам. Тебе, Чингис, спать пора.

— Ничего мне не пора.

— Пора, пора. Мама ждет.

— Мам, ты иди пока, а я тебя догоню.

У Мэдэгмы вновь слезы подступили к глазам, Гомбожап сказал грустно:

— Всегда вот так: что имеем — не ценим. Это к тебе, Чингис, относится. Ты, слава богу, не знаешь, каково без матери расти. А я знаю. Береги ее, пуще всего на свете береги.

— А я берегу.

— Что-то не видать...

— Вот вырасту — увидите! Я за маму... я ему еще покажу!

— Кому?

— Этому... он нас бросил — пусть, он еще узнает...

— Говори, говори, да не заговаривайся. Не твоего это ума дело. Ишь, волю взял...

Прибежал, всех взбаламутил, не дал матери спокойно с друзьями чаю попить...

— А может, дядя Гомбожап, мы у тебя сейчас чаю попьем?

— Конечно, я рад... — он явно растерялся. — Правда, пойдемте, а, Мэдэгма? Замерз мальчик.

— У нас свой дом есть, — нашла она наконец в себе силы заговорить. — Чингис, пошли!

— Мама, я хочу...

— Мало ли что ты хочешь!

— Что ж, Мэдэгма, — с мягкой грустью сказал Гомбожап, — ко мне и домой зайти безгугуешь?

— Глупости! Просто поздно: мне скоро на утреннюю дойку.

— А если я тебя очень попрошу?

— Мам, ну пошли...

Ей показалось вдруг, что перед нею мальчишки, ровесники, которые одинаково требуют помощи ее и заботы.

После смерти Вали Мэдэгма у Гомбожапа не бывала. При Вале дом сиял чистотой и уютом. Крашенные полы всегда вымыты, на побеленных стенах ни паутинки, ни пылинки, белоснежные накрахмаленные занавески на окнах и цветы. Валя герань любила, фикус и китайскую розу. Когда дети появились и начала она прихварывать, поддерживать идеальный порядок стало труднее, однако Валя не сдавалась и крошечные гроздья герани по-прежнему горели в окошках, и блестели вымытые стекла, и белели подсиненные занавески.

Но теперь... Мэдэгма чуть не ахнула, когда шагнули они через порог, Гомбожап, пошарив справа от входа, щелкнул выключателем — и по столу, заставленному посудой с обедками, побежали в панике огромные тараканы с длинными усами. Затхлый запах грязного белья ударил в нос. На полу, на диване валялись вперемешку какие-то тряпки, игрушки и детская одежда. Закопченный до невозможности чайник, закопченные стены с паутиной по углам...

Мэдэгма взглянула на хозяина, который стоял в растерянности, будто в первый раз взглянул на свой замусоренный быт глазами человека свежего, постороннего — взглянул и сам ужаснулся.

Чингис свободно, как свой, прошел по комнате и сел к столу.

— У меня тут... не прибрано сегодня, — пробормотал Гомбожап и бестолково засуетился, очищая на диване место для гостя. — Присядь, я сейчас чайник...

— Девочек не разбудишь? — шепотом спросила Мэдэгма.

— А, хоть из пушек пали! За день так набегаются, что как убитые... — Гомбожап прошел в угол, где на кровати, обнявшись, безмятежно спали дочери, поправил свалившееся засаленное одеяло без пододеяльника. — Они у меня самостоятельные. Видишь, что на столе творится? Значит, тоже гостей принимали, с детишками Данзана и Гомбо дружат.

— Это, конечно, хорошо, что самостоятельные, — сказала Мэдэгма, пройдя взад-вперед по комнате, — но... как ты все запустил, Гомбожап. «В одной деревне живем, а чтоб друг другу помочь — этого нет», — с горечью думала она.

— Запустил, — согласился Гомбожап покорно. — Все я, Мэдэгма, запустил: и себя самого, и жизнь свою, и работу, если честно сказать...

— Неправда! — высказался Чингис, нахмурившись. — Это все ерунда, прибраться можно. Ты все равно лучше всех!

Взрослые переглянулись как-то грустно, но с едва заметной улыбкой. Гомбожап схватил чайник, бросился к ведрам, чтоб воды налить. Мэдэгма заявила решительно:

— Нет, эдак невозможно! Ну-ка затопи печь! — и принялась за разбросанные кругом тряпки и игрушки.

Чингис с восторгом бросился помогать: схватив общипанный веник, начал мести пол. А Гомбожап, постояв некоторое время в недоумении — точнее, в ошолбенении, — встряхнулся и побежал во двор за дровами. Тотчас вернулся с целой охапкой — и вот сначала нехотя, потом все более и более разгораясь, ласково загудела печь.

— Нагрей ведро воды, — приказала Мэдэгма.

И работа закипела.

Дом преображался на глазах, освобождаясь от пыли, грязи, паутины. Просветлели стены; засияли стекла; помытые освеженные цветы в горшках благодарно, сочно зазеленели каждым листиком; засверкала посуда в шкафчике; вымытые половицы ту-скло заблестели темно-вишневым блеском. Гомбожап глядел — и не мог наглядеться, будто вернулись прежние счастливые времена — в его доме появилась женщина.

— Вот вернемся из Унсэгтэ, придем с женщинами стены побелить и потолок, — сказала Мэдэгма, с удовлетворением оглядываясь вокруг. И правда, легче стало на душе, недаром говорят: работа лечит.

— Я сам, сам, — отозвался Гомбожап смущенно. — К зиме у вас у всех в доме работы полно.

— Везде поспеем, — солидно заявил Чингис, шмыгая носом.

— Ладно, работнички, спать пора. Вымой руки, Чингис, и пошли домой.

— Ну нет, так я вас не отпущу! — воскликнул оживленный, вроде бы помолодевший хозяин. — Не отпущу, куда чаю не напьетесь.

Он водрузил на стол большую кастрюлю и открыл крышку: аппетитный духовитый аромат зерна и масла поплыл по комнате.

— Ого! — удивилась Мэдэгма, вытирая смуглые свои руки чистым полотенцем.

— Да ты не хуже женщины готовить умеешь.

— Чингис любит чай с зутараном и со сливками. Да, Чингис? — Гомбожап обернулся к дивану, где только что сидел мальчик, но того уже на месте не было.

— Куда это он подевался? Во двор, что ли, вышел?

— Наверное. Я не заметила. Пора нам...

— Да погоди. Сейчас вернется.

На кровати вдруг зашевелились девочки. Вот одна открыла глаза, за ней вторая, обе разом зажмурились от неожиданно яркого света (Мэдэгма вымыла закопченный стеклянный плафончик, свисающий с потолка), вот опять распахнули густые ресницы, с удивлением оглядываясь кругом. Их разбудил Чингис, легонько пощекотав пятки.

— Ой, тетя Мэдэгма! — закричала Туяна и села в постели.

— Тетя Мэдэгма! — повторила Саяна, сделав то же самое.

И близнецы засмеялись, сверкая совершенно одинаковыми, будто круглые черные смородины, глазенками, ямочками на покрасневшихся в тепле щеках, мелкими молочными зубами. Отличить их друг от друга мог, наверное, лишь родной отец, настолько они были похожи внешностью, голосом, всей повадкой. И сейчас девочки одновременно потянулись, сцепив пальцы на затылке.

— Пап, это ты щекотался? — поинтересовалась Туяна.

— Небось во сне меня видала? — Гомбожап с улыбкой взглянул на Мэдэгму, как бы приглашая ее полюбоваться на своих дочек; та мягко улыбнулась в ответ.

— И я видала! — подхватила Саяна. — И меня ты щекотал. — Им уж и сны одинаковые снятся, — заметил отец, а Чингис, спрятавшийся под кроватью, не выдержав, звонко захохотал. Девочки свесились, заглядывая под кровать, а когда обнаруживший себя Чингис вылез, они запрыгали, хлопая в ладошки от восторга, потом соскочили с кровати, бросились на своего товарища — по полу покатила визжавшая куча-мала.

— Чингис, осторожней! — кричала Мэдэгма. — Они же маленькие! Ой, руку вывихнешь!.. Голову не задень!

— Не бойся, им не привыкать, — сказал Гомбожап с нежностью и скомандовал: — Все! Хватит! Ну-ка равняйтесь по стойке смирно! — возня мигом прекратилась, ребятишки действительно построились.

— К столу шагом марш! — Чингис зашагал, высоко поднимая ноги, держа руки по швам, девочки комично подражали ему. — Все по своим местам. Садись! Мэдэгма, присаживайся... Вот если б вас, доярок, удалось к такому порядку приучить — мы б на первое место в районе вышли, честное слово. Да разве с вами сговоришься! Мне не под силу...

Мэдэгма с удивлением глядела на Гомбожапа, словно не узнавая его. Нервный, задерганный, нередко под хмельком, не дающий никому спуска своим языком — этот человек исчез. Счастливый отец, гостеприимный хозяин хлопотал вокруг стола, черпая половником чай с зутараном и разливая по чашкам.

Время от времени он смущенно взглядывал на нее, и этим своим смущением, робостью, готовностью броситься по ее слову и сделать все, что б она ни пожелала, — он напоминал ей сейчас молодого и влюбленного (Мэдэгма не могла не признать себе в этом) парня.

— Вот вкуснотища! — выпалил Чингис, одолевая вторую чашку.

— Это тетя Мэдэгма сготовила? — поинтересовалась Саяна.

— Папе своему спасибо говорите. Вот какой он у вас молодец!

— Нет, это ты сготовила! Ты! — защебетали вразнобой девочки. — И как у нас красиво стало! Ой, скатерть белая! И покрывало на диване, смотри! Тетя Мэдэгма, ты теперь к нам будешь ходить?

— Будешь к нам ходить? — шутливо подхватил Гомбожап, но глаза его серьезно глядели, пристально.

— Буду, — ответила Мэдэгма, пожав плечами: мол, куда от вас денешься?

Напившись чаю, дети уселись на кровать, тихонько разговаривая. Наконец и Гомбожап смог присесть напротив Мэдэгмы.

— Хорошие у тебя девочки, — сказала она вполголоса, — здоровые, смышленные.

— Хорошие, да не очень счастливые, — задумчиво ответил он. — Как какое проклятье над нашим родом: я рос без матери, теперь они вот. Сыты, обуты, одеты — конечно, стараюсь, а мать заменить все равно не могу.

— Ну, ну, Гомбожап, все хорошо будет. Вырастут. Как говорят: сироту и смерть не берет. Да и отец ты неплохой.

— Плохой, Мэдэгма, плохой. Опустился я, сам знаю, — Гомбожап вздохнул. — Стыд берет, как подумаешь: не мужчина, а тряпка.

— Зачем ты так...

— Затем, что правда. Пить надо бросать, а то сам себе противен — вот и кидаешься на всех, как... как цепной пес. Прямо как в басне про слона и моську. Моська я и есть.

— Тогда кто ж у нас в деревне слон? — пошутила Мэдэгма, но он не поддержал ее тона, сказал серьезно, даже тревожно как-то:

— Ты меня прости.

— За что? — удивилась она.

— Ну, тогда в Унсэгтэ — помнишь? Я тебе черт знает что наговорил, — Гомбожап помолчал. — Но ты, должно быть, поняла, с чего это я разошелся.

— Поняла, — ответила Мэдэгма сдержанно. — Знаешь, давай не будем об этом обо всем.

— Но ты простила меня?

— Конечно. Что прошло, то прошло. Когда зимние коровники начнем белить?

— Завтра. Старики обещали помочь. Да Шаралдай слег и Ломбо сейчас не до того, — говорил Гомбожап, а глаза его говорили совсем другое.

Ребятишки притихли за спиной. Пора идти домой, пора спать, да не было сил подняться с табуретки.

Она безумно устала, но чувствовала, что не заснет: слишком многое обрушилось на нее в эти дни. Беспорядочные впечатления теснились в душе, мелькали лица, мгновенья, воспоминания. Дэбшэн склоняет голову к ней на колени; притаившаяся в бессонной тьме Ханда; встревоженно стрекочущие сороки; Чингис говорит с отчаянием: «Я тебя ненавижу!», и Цезарь отводит глаза; Соня прижимает к себе плачущего сына и с каким-то непонятным страхом глядит на нее; они с матерью дрожат в сарае, дожидаясь, пока заснет отчим; его слова перед смертью: «Простите, если сможете, за все» — и слезы; доярки смеются, собираясь на праздник; Гомбожап, набросив плащ, сгорбившись, уходит в дождливую осеннюю ночь... Вот он сидит за столом напротив и не сводит с нее упрямого умоляющего взгляда. Сегодня ей на миг показалось, будто парень, простой и добрый, хлопочет, угощая в своем доме невесту. Невесту!

Смешно. И все же: как чисто, уютно и светло и доносится из угла милый ласковый детский лепет.

#### 43

Люди, собравшиеся в сарайчике Шаралдая, находились в тревожной растерянности. Больной, чуть ли не умирающий старик — и вдруг исчез. Зачем? Куда? «Подождем. Будем надеяться, сам придет», — сказал доктор Аюша. «Подождем», — поддержал его Маглаа.

Однако Дэбшэн не мог успокоиться. Вместе с Дулмой, Баяром и приехавшей с вечерней дойки Хандой они обошли правую и левую улицы Хасууриты, луг за околицей, подошли к чернеющему ельнику, покричали во тьму — лес ответил безмолвием — и вернулись в сарайчик. Безнадежно.

Бадмаха, хмурый и сосредоточенный, не обращая внимания на всю эту суету, занимался петухом: оципал, распотрошил, помыл и поставил в чугушке на огонь. «Что это — полное бесчувствие? Или стремление скрыть тревогу?» — думал Маглаа, наблюдая за неторопливыми движениями старшего сына Шаралдая. И, словно в ответ, тот пробурчал, склонившись огромной лохматой головой над дымящимся чугунком:

— Отец вернется — поест.

«Вернется ли? — забеспокоился Маглаа. — Не напрасно ли мы ждем, ничего не предпринимаем? В голову старика что угодно прийти может, — он усмехнулся. — Я

знаю, сам старик. Вообще странная история. Очень странная история. И я в ней играю какую-то... нелепую роль. Приехал пропавшую скотину искать — виновника потерял. Да еще виноват ли Шаралдай — вопрос весьма спорный. С доктором Аюшей говорили, с Шаралдаем самим, Ломбо выслушал — и еще больше запутался. Не сходятся концы с концами — хоть убей! Нет никаких данных о том, что Шаралдай вывез часть поросят, — нет и не было. Впрочем, сейчас не об этом! Куда старик пропал — вот главное. А вдруг... погиб? Утром он был как будто не в себе, загадками говорил, словно к смерти готовился. А если он руки на себя наложил? А я сижу тут, рассуждаю. Довел подозреваемого до самоубийства... Ну, ну, без паники! Доктор Аюша, в отличие от меня, хорошо его знает и сидит дожидается... Золотой шпиль. Кто это мне говорил, что жизнь, благородно прожитая, подобна золотому шпилью... Да доктор же и говорил. Ну, я-то, видать, в вечных неудачниках прохожу...»

— Небось отец вас напугался, вот и сбежал, — со слезой в голосе заявила Дулма майору.

— Человеку невинному бояться нечего, — пробормотал Маглаа, размышляя: «Рассмотрим и такой вариант: подозреваемый действительно виновен и сбежал, испугавшись ответственности. Куда? Невестка утверждает, что денег он с собой не взял, а те, что сын привез, так под матрасом и нашли. Однако оделся; исчез в фуфайке... Все равно, без денег далеко не убежит, бродит, должно быть, где-то в окрестностях.

Зачем, почему? Почувствовал себя лучше и решил проветриться? Или, поддавшись панике, решил сбежать от наказания? Второе предположение кажется правдоподобнее, но... И зачем я сюда приехал? Ведь сам напросился, думал, дело выеденного яйца не стоит, думал с доктором повидаться. Вот и повидался!» — Так вы отца за виновного считаете, что ли? В засаде будете воришку поджидать или облаву на него устроим? — иронически поинтересовался Дэбшэн, а Баяр умоляюще посмотрел на майора, словно хотел сказать: «Не надо дедушку арестовывать!» Маглаа стало не по себе. «А ведь если он, не дай бог, умрет — меня назовут убийцей. До конца дней проклятье буду нести! — он вздохнул. — Сколько лет работаю — и вдруг так осрамиться... Ладно, не обо мне, в конце концов, речь.

Истина — вот что главное». — Это что ж получается? — заговорил опять Дэбшэн, все больше и больше повышая голос. — По дурацкому подозрению... — да, дурацкому! — вы старого больного человека затравили. День и ночь тут бегаєте, выслеживаете... а настоящий вор спит спокойно. Да разве эта скотина пропавшая стоит человеческой жизни!

— Дэбшэн, не горячись, — заметил доктор Аюша, вытащил из кармана свою трубку с кисетом и неторопливо закурил.

— Легко сказать — не горячись! Ведь они не только скотину хотят отцу приписать, — заговорила Дулма. — На пиру этом у Ломбо родственник его какой-то намекал, будто отец и свинарники поджег... Вали теперь все на одного, благо он ответить не может! Все преступления, в районе не раскрытые, хотите отцу приписать?

— Маглаа ничего никому приписывать не собирается, — строго ответил доктор Аюша. — Его интересует истина.

Дэбшэн отвернулся к двери, с досадой пожав плечами; Баяр испуганно перебежал глазами с одного лица на другое; Бадмаха хладнокровно помешивал бульон в чугунке; доктор Аюша продолжал невозмутимо курить свою трубку; майор размышлял. «Не спеши, молодой человек, — мысленно обращался он к Дэбшэну. — Жизнь гораздо сложнее и запутаннее, чем тебе кажется. И распутывать этот клубок надо очень осторожно. Вотждемся рассвета... — Маглаа запнулся, поймав испуганный взгляд ребенка. — Однако им невыносимо ждать!»

— Ну что ж, собирайте мужчин на поиски!

Примерно через полчаса деревня ожила, в домах остались только старый да малый, замелькали огоньки в окошках. Отдельные группки спешили к дому Шаралдая, слухи и сплетни, охи и ахи, выкрики и шепот... «Шаралдай исчез!», «Шаралдай свиарники поджег...», «Не свиарники поджег, а быка у Ломбо украл», «Шаралдай украл? Быть не может!», «Шаралдай умер!..»

— Неужто ты вправду умирать ушел, бедный Шаралдай, — зашептала старуха Ешин, мать Гомбо. — Дай бог найти тебе достойное перерождение! — она произнесла подобающие случаю молитвы, поставила перед просторной божницей в углу лампаду и зажгла ее. — Хорошо, давеча утром, пока не потух еще огонь в глазах, успела повидать старика. Хотела от Ломбо к нему зайти, да обормота этого, Бадмаху, побоялась. Может, уже скончался ты — и мы вслед за тобой пойдем, подошло времечко. Да ведь и как подумаешь: пора, пора отдохнуть от забот и земного бремени... Пора, пора...

Старуха подошла в старинной бронзовой кадильнице санзай<sup>1</sup>. Когда благовонный аромат растекся по комнате и струйка дыма поднялась вверх, она несколько раз взмахнула махалом из павлиньих перьев, окропила божницу аршаном<sup>2</sup> из серебряного кувшинчика. Потом, отступив немного назад, высоко подняла руки, совершая знамение, поднесла пальцы ко лбу, к губам, к груди; сузив глаза, истово оглядела молча зрящих ее богов, чьи лики поблескивали в тусклом красноватом свете лампы. Дара с ребенком на руках — богиня плодородия... бог, жалующий богатства, — Намсарай... бог долголетия — Сэндэ-Аюша...

Шойжол-хан с бычьими рогами, изрыгающий из клыкастой пасти пламя... «Боги мои чтимые! — взмолилась старуха, опустившись на колени. — Жизнь моя в ваших благословениях. В один прекрасный день и я отправлюсь к вам. А сейчас молю: да родится Шаралдай наш в хорошем воплощении. Пусть, ежели вы на то согласны, бурханом станет...» Тут старуха остановилась, в голове у нее возникло сомнение, достоин ли Шаралдай облика бурхана или нет? От бога завещано, что нельзя убивать живую тварь, даже червей... А про Шаралдая говорят... может, напраслину наводят? Ну, положим, домашнюю живность он резал — свою ли, чужую — петуха, скажем, али барана. Зато, как доктор Аюша, к примеру, лесных зверей с ружьем в руках убивать не ходил, не ловил и рыбу на железный крючок. Наоборот: когда егерем служил, всех этих охотников преследовал, даже другу Аюше не потакал, а с Ломбо вообще вдрызгался... «Мой старик-покойник на охоту редко ходил, — задумалась старушка.

---

<sup>1</sup> Санзай — набор благовонных трав.

<sup>2</sup> Аршан — вода из источников; «святая» вода.

— Но на уусэ<sup>1</sup> всегда первый был и на войне, должно быть, кровь проливал. Но то ж война, — она вздохнула. — Может, сложив за родину голову, все свои грехи замолил и очистился и — как-никак! — десять внуков у нас народилось! Может, за страдания людей жизнью заплатил, потому и на потомков благоволение снизошло? Шаралдай тоже на войне пострадал, весь израненный вернулся... Не мог такой человек у своих же односельчан скотину воровать, не мог... А все ж таки и бурханом ему не быть — грешник, как и мы все.

Больно памятный на обиду — это так. Все будет внутри хранить. Вон как у него быков — как детей малых, любил их, — как быков отобрали, на весь мир обиделся... И про пожар тот, как ни докатывались, ни словечка не сказал, словно в рот воды набрал... Разве поймешь, что там у него в нутре творится? Непонятный человек и... грешен, конечно, грешен, в бурхана не воплотится. Хоть бы бог смилостивился над ним, вернул его в этот мир в образе мальчика...» Упираясь ладонями в пол, мать Гомбо молилась на коленях... Вспомнился вдруг Шаралдай маленьким мальчиком. Как играли они в степи. Шаралдай бежит во всю прыть, она за ним, рядом ягнята прыгают, жеребята несутся

резво, задравши хвосты, ласточки нижут круги в вечеряющем небе... солнышко садится, вытягиваются длинные тени по степному приволью, тянет сизым горьковатым дымком из деревни, легкий ветерок покачивает цветы и высокие травы... Шаралдай, как щенок, кувыркается в траве...

Вот и все. Жизнь прожита. Что впереди? Болезни и смерть. На миг она позавидовала Шаралдаю, для которого земные муки уже позади... Но одернула себя; нельзя никому завидовать, грех это, нехорошо... испугалась нехороших помыслов, покаялась и, чтоб очиститься, с легким сердцем продолжала молиться, касаясь лбом пола.

---

<sup>1</sup> Уусэ — заготовка мяса на зиму.

Она искренне надеялась, что дружок детских ее игр, которому нелегкая доля на земле выпала — а кому легкая? — так вот, она от всей души надеялась, что Шаралдай не переродится в дикого зверя или, боже упаси, в мелкую ползучую тварь. Если, к примеру, косулей стать — найдется в Хасуурите охотник безжалостный, огнестрельное ружье, меткая пуля.

Уткой опустится на озерную гладь — тот же Аюша прицелится и... Какое жестокое создание этот самый человек! Не может так жить, чтоб не прерывать волосок жизни у живого существа! «Боже милосердный, прости наши прегрешения, не наказывай чрезмерно смертных двуногих... А мы, со своей стороны,— шептала старуха,— раз уж родились в человеческом обличье, всё должны терпеть и прощать, совершать должны десять благодеяний, очищаться от десяти черных грехов!..» А в это самое время сын ее, Гомбо, спешил со своей Эржэни к дому Шаралдая и думал: «Чего ж старик сбежал? Наказания побоялся? Так это еще доказать нужно! И откуда у него только силы взялись.

Ведь, говорят, едва живой лежал... Неужто и вправду помирать собрался?..» Гомбо искоса посмотрел на идущую рядом жену и пробормотал: — Ты-то зачем за мной увязалась? Вот натолкнешься на труп... — Типун тебе на язык! — оборвала его Эржэни.— Что говоришь-то?! Али после пира у Ломбо никак не очухаешься... — Все равно держись ко мне поближе. Неровен час, наткнешься, напугаешься. — Неизвестно, кто из нас больше напугается! — бойко отозвалась Эржэни, но все же взяла мужа под руку.— Не говори о плохом, ладно?

Между тем подруга ее, Будаали, уже под одеялом лежала, всласть похрапывая, когда муж ее наконец домой появился с самыми последними новостями. Тут же Будаали разбудил и начал рассказывать, захлебываясь. Однако жена, его трусливым бегством из дома Таряши разобиженная, и слушать ничего не стала.

— Нечего сплетни всякие собирать! — перебила она его и приказала: — Ложись спать!

— Но... там майор сказал, что надо будет...

— Мне никакой майор не указ! Ишь, майор ему сказал... а я тебе говорю: спать ложись!

Будаали приподнялась было в постели, как копна в траве, но Данзан тоже не лыком шит, знает, что объясняться с разъяренной женой бесполезно. И покуда она разворачивалась, чтоб за руку его схватить, он отскочил от кровати и юркнул в дверь.

— Тьфу! — плюнула Будаали и вновь в нагретую постель нырнула. — С ума они там посходили, что ли?

А Дэжэд с Таряшей торопливо одевались.

— Болтают, будто дядя Шаралдай нашу трехлетку угнал. Тебе отец ничего не говорил? — спросила она озабоченно.

— А, ерунда это все! — ответил муж, натягивая сапоги. — У нас в Хасуурите сплетников хватает.



— Ты хочешь сказать, что я сплетница? — обиделась Дэжэд. — Но ведь у нас действительно корова пропала. И у Ломбо тоже.

— Из-за скотины этой — будь она неладна — шум подняли на всю деревню.

— Вот и я говорю! — в конце концов жена всегда соглашалась с Таряшей. — Не скотину жалко, а старика. Ночью, один... — Ничего, найдем!

Он оделся, взял фонарь, в гараж вошел, налил в канистру солярки. Потом позвал Барса, взял Дэжэд под руку и направился к дому Шаралдая.

— А солярка зачем? — поинтересовалась она.

— Возможно, факелы понадобятся.

— Правда, тьма-то какая! Хоть глаза коли... Куда ж он мог сбежать, а, Таряша?

— Найдем!

Таряшу одним словом охарактеризовать можно: надежный человек. Она всегда возле него спокойно себя чувствует и уверенно. И сейчас спросила, словно ребенок:

— Все хорошо будет?

— Все хорошо, — подтвердил он и, как ребенка, погладил ее по голове. — Вот увидишь.

— Ага, сейчас придем, а он уже дома сидит и улыбается: ловко вас всех провел? — говорила Дэжэд оживленно. — Может, он просто проветриться пошел. Почувствовал себя лучше, надоело лежать, он и вышел за околицу...

Цезарь, Ломбо и Соня, не разговаривая, шли к дому Шаралдая. Ломбо плелся следом за молодыми, давешний страх не отпускал. «Из-за тебя отец погиб!» — скажет хулиган Бадмаха и надвинется всей тушей на беззащитного старика. Сын, конечно, заступится — и пойдет драка. Славно он вступает на пост председателя.

Ох, до чего ж не вовремя все! Может, Ханда своим присутствием утихомирит этого дикаря, ведь, гозорят, она невеста Дэбшэна. Говорят! Ломбо горько усмехнулся. Он, отец, узнает последний. Ладно, он не будет противиться, обнимет дочку, скажет: «Я согласен, раз ты счастлива». Ломбо скрипнул зубами. Временами ему и впрямь казалось, что Дэбшэн все-таки неплох, все-таки ученый, образованный... Не то что он, Ломбо, всю жизнь деревенскую грязь месит. Временами же... мысль о том, что его девочка, молодая, нежная, балованная, в эту семейку войдет!.. То гнев его разбирал, то страх... «Зачем я иду ночью к старому другу-недругу? Убедиться, что умер он и наш общий позор с собой унес? Да зачем он вообще этот позор давно забытый на свет белый вытащил? Совесть свою ублажить хотел? У него, значит, совесть есть, а у меня нету? И куда он, наконец, делся? Умирать сбежал? Руки на себя наложить?.. Бр-р-р! Страшно...» Вдруг дикость такая фантастическая в голову взбрела, будто Шаралдай умерший будет бродить тут в окрестностях Хасууриты привидением, скот чужой воровать, пугать людей по ночам, ему, Ломбо, мстить... «Тьфу, пропасть! Придет же такое в голову!» — воскликнул старик про себя. И опять неотвязная мысль — «есть у меня совесть или нет?» — завладела им. Будто гнойный нарыв на пальце, змеиным глазом называемый... ноет, ноет больной палец, жить не дает. «За что ж мне такое наказание? Али я хуже всех? Ну, перед Аюшей виноват, каюсь — дурак молодой был — так Аюша меня простил. Перед председателем бывшим согрешил, да, признаю, но и он, конечно, про меня думать забыл. Сумел на гору подняться, все у него ладно теперь, Цезарь говорил...

Итак, Аюша, председатель — и всё. Больше никому зла не желал и не делал. А мог бы: какая-никакая власть в руках была. В те годы далекие и она кое-что значила, многое мне бы с рук сошло. Однако честно трудился, честно добро свое нажил. Они все, может, мне сейчас и позавидуют, так ведь никто из них со мной в пятидесятые на соболя охотиться не ходил, не мерз, как я, по ночам. По месяцу, по два дома не бывал, зато по пятьдесят — шестьдесят шкурок добывал. А чего это стоило? В трескучий мороз возле костра спал, по двести капканов обходил, ноги не жалел. Да, я себя не жалел — добро и

нажил. До двадцати поросят тайком держал, когда запрещение на них вышло. Чего это стоило! Одних нервов... И ведь корма не воровал, хоть и возможности были, до добра колхозного пальцем не дотронулся... Песцов разводил, кроликов... Пусть бы они все попробовали так повертеться. И в колхозе попевал, и на своем дворе. Теперь завидуют, что связи у меня в районе и в городе есть. Да, есть! Дак ведь скольких нужных людей я у себя привечал, на охоту водил, лучшие места показывал, зато сумел дочку в институт пристроить. Так что ж в этом плохого-то? Чего я с ума схожу? За что казнюсь?» — уговаривал себя Ломбо, а сердце ныло не переставая, и страх душу томил.

Вот сейчас они придут к Шаралдаю во двор, а того уж поймали, и майор его допрашивает. Тут Ломбо в калитке появляется, Шаралдай прямо пальцем в него указывает: «Судите Ломбо вместе со мной! Эго он меня подговорил свинарники поджечь!» Такие вот картинки зловещие проносились перед глазами старика, и он все больше и больше отставал от сына с невесткой. Отставал — и все же шел, подгоняемый какой-то вроде посторонней, неведомой силой, которая называется совестью.

Вот уже дом завиднелся в темноте, забор, калитка, двор, распахнутая настежь дверь сарайчика, льющийся оттуда зыбкий, рассеивающийся свет, группы переговаривающихся людей. Вспыхивающий там и сям луч фонаря высветит вдруг резиновые сапоги, полу плаща, угол дома, ступеньки, или любопытствующее, или задумчивое лицо — вспыхнет и тут же внезапно гаснет.

Ломбо неуверенно приближался к людям, не зная, как его встретят. Однако никто, казалось, не обратил на него внимания. Он приостановился посреди двора, потом примкнул к ближайшей группе.

— Всего-то нас в Хасуурите тридцать семей, живем, друг друга знаем-перезнаем! Неужто кто воровать осмелится? — сердито возмущался Гомбо.

— Не спеши, — отозвался Данзан. — Неизвестно еще: может, воровали, а может, оклеветали...

— Прям противно! — буркнула Эржэни.

— Да уж! Никогда раньше такого у нас не водилось, — поддержала ее Дэжэд.

— А тут еще поджог этот вспомнили! — продолжал Гомбо. — Кто поджег, на кого намекали, а?

— Ой! — испуганно вскрикнул чей-то женский голос.

«Шаралдай с Ломбо подождли!» — сейчас кто-нибудь скажет!» — страдал Ломбо от страха. Сейчас его окружают, наставят в лицо фонарик, будут, как диковинку разглядывать и пытаться: «Зачем на такое дело черное пошли?» — «Да ведь я не поджигал!» — крикнет он. — «Ты еще хуже сделал: другого на преступление подбил. Привык чужими руками жар загребать!» — заорут все вокруг... Ломбо съежился и отступил во тьму.

А вокруг и впрямь орал:

— Одна коровья лепешка всех измазала!

— Точно! По всему району прославимся... хасууритинцы — воры!

— И поджигатели!

— Ну, ну! Ты еще скажи: убийцы!

— А что? Куда дед делся? Может, убит!

— О господи!

— Страшно! — произнес кто-то глухо.

«Кто это сказал? — пронеслось в голове у Ломбо. — Уж не я ли сам сказал? Да что я — с ума схожу?..»

— Страшно! — словно эхом откликнулось слово.

Ему казалось, будто кругом повторяют на все лады: страшно... страшно... страшно... Страшно в этом темном мире, куда заброшена деревушка Хасуурита, дома с

освещенными или черными оконцами, в домах сидящие дети и старухи с их молитвами, пустынные дворы и собаки в конуре, бурьян, жерди изгородей... вольный ветер за околицей, смолистый еловый дух, лесные шелесты, шорохи, шепоты, стремительный поток Харагуна, дремлющие стога, горы, укрытые густыми облаками, встревоженные этой темнотой, неизвестностью, тайной люди во дворе Шаралдая... и среди них он, Ломбо. Зачем он пришел?

— Глядите, кто к нам пришел! — вдруг послышался низкий угрожающий голос Бадмахи, и железные кулачищи опустились на плечи Ломбо. («Итак, начинают сбываться давешние кошмары!» — подумал Ломбо.) — Какая великая честь! Сам бригадир Ломбо пожаловал... ну, пусть бывший бригадир, а все ж таки начальство... А где ваш родственник? Маленький, черненький, что в окно сиганул. А?

— Ты... убери руки-то, — пробормотал Ломбо срывающимся голосом.

— Чего это вы шепчете? — поинтересовался Бадмаха громко, но руки с плеч убрал. — Да вы, никак, чего испугались?

Шум и разговоры вокруг тотчас смолкли.

— Чем это вы так напуганы? — теперь Бадмаха орал на весь двор. — Уж не Шаралдай, известный бандит, так вас напугал, а? Ну, чего молчите? Языки примерзли?.. Пусть кто попробует только про отца моего слово худое сказать! Голову оторву, как... как курице. Мокрые курицы вы все и есть! Убирайтесь-ка отсюда, пока я в хорошем настроении...

— С чего это ты разошелся, руками размахался? — раздался в полном молчании спокойный, даже как будто ленивый голос Таряши. — Зачем народ обижаешь? Мы вам помочь собрались.

— Чихать я хотел на вашу помощь! — взревел Бадмаха; лично против Таряши он ничего не имел, но если уж входил в раж, остановить его было трудно.

Вот и сейчас Бадмаха направился на голос, увещающий его, словно головастый бык, идущий на битву. Однако Таряша не дрогнул: не торопясь, вразвалочку пошел навстречу с противоположного конца двора.

— Таряша! — крикнула Дэжэд запоздало.

Все затаили дыхание — столкновение казалось неизбежным. И разнять некому: доктор Аюша с майором и Дэбшэном совещались в сарае, отзвуки скандала еще не долетели до них.

Бадмаха шел весь собранный, словно боясь расплескать, не донести драгоценную чашу праведного гнева. Знакомый жгучий зуд бешенства овладевал им — в такие мгновенья он был способен на все: круши, громи, вольная воля! Неизвестно, чем бы все это кончилось, кабы на пути его не оказался — случайно подвернулся — маленький Данзан, которого и жена, случалось, побивала.

— Ты что это!. ты что под ногами крутишься! — рявкнул Бадмаха, махнув рукой, будто муху отгоняя.

Данзан отлетел во тьму, на ногах, к счастью, удержавшись, но Бадмаха почувствовал, что запал его — тот самый «праведный гнев» — вдруг погас. Он подошел к Таряше, остановился напротив: расхотелось крошить и громить, расхотелось — и все!

— Ну, успокоился наконец? — спросил Таряша.

— Успокоился, успокоился... как бы не так... — пробормотал Бадмаха, распаляя себя. — Я с тобой драться и не собирался. Мне вот с этим вот деятелем поговорить надо! Где Ломбо? — он оглянулся, ища глазами старика, нашел и ринулся к нему. — Пирь устраивает, гад, когда тут человек умирает...

Ломбо затравленно отступал к забору, и вдруг на пути Бадмахи встал Цезарь и раздался крик:

— Папа! — Ханда бросилась к отцу. («Ну как же я забыл о своих детях!»). — Как вы можете? Что вам от него нужно?

На ее крик выглянул из сарайчика Дэбшэн и поспешно направился к брату.

— Что здесь происходит? — он глядел на Ханду, словно только ее одну и видел, к ней одной и обращался. Но она не успела ответить: добродушный голос Таряаши утихомирил страсти:

— Да вот обсуждаем, с чего начинать поиски.

— Да, да, пора, — заговорил Маглаа с порога сарайчика. С помощью доктора Аюши он объяснил, кто, куда и с кем пойдет, какое примерно расстояние должно быть между группами и как надо держать связь. План четкий, ясный, продуманный. Впервые хасууритинцам отдавал приказания такой высокий начальник — майор с большой звездой на погонах.

Народ повалил на улицу беспорядочной толпой, однако за околицей на выгоне толпа рассредоточилась, каждый занял свое место в общем движении.

Лес надвигался черной громадой, замелькали фонарики, забились в волнении сердца мальчишек — счастливых, сумевших-таки под шумок затесаться в поисковую партию. Еще бы им не волноваться! Этот ночной поиск походил на захватывающую необычную игру, ну, вроде бы они идут в разведку, где за каждым деревом, за каждым кустом, может быть, притаился враг. Но Баяр не играл, он ждал с трезогой и надеждой, что вот-вот в рассеянном свете фонарика появится его дед, живой и здоровый... Он ждал, замирая душой перед странной непостижимой тайной.

#### 44

И всем односельчанам этот поиск, вообще эта история представлялась очень странной. Больной, почти умирающий старик вдруг сорвался куда-то — от кого он убежал? — неизвестно. И дело не только в Шаралдае — в последние дни что-то в Хасуурите переменялось, сдвинулось с мертвой точки: одно событие за другим, ошеломленные односельчане только руками разводили.

Пройдя ельник, подошли к Харагуну и, разделившись на две группы, направились вверх и вниз по течению.

Гомбо двигался медленно, раздумывая над небывалыми происшествиями, не теряя из виду смутную тень впереди — свою Эржэни. Потом нагнал ее и пошел рядом, заговорив шепотом:

— Ты вот что, ежели что подозрительное увидишь, не ори на весь лес. Посоветуемся.

— Да что подозрительное? — боязливо спросила Эржэни.

— То самое. Забыла, о чем я тебя предупреждал? Труп.

— Да разве... да почему ты знаешь, что он умер?

— Не исключено.

— Страх-то какой! — Эржэни схватила мужа за руку.

— Потому и говорил, предупреждал: держись ко мне поближе... Да не дрожи ты...

В ночи вдруг возник невысокий черный призрак. Эржэни тихонько вскрикнула. Призрак зажег фонарик и заговорил тихо голосом Данзана:

— Там на берегу... может, мне показалось...

— Да что такое? — не выдержал Данзан.

— Там... кепка.

— Где? Какая кепка? — Гомбожап повел фонариком, выхватывая тонким лучом из тьмы лохматые еловые лапы.

— Отсюда не видать. На берегу. А кепка егерская, — пояснил Данзан. — Шаралдай же егерем служил перед пенсией. Помнишь?

— Ну, пошли? — предложил Гомбо. — Далеко тут?  
— Да нет...  
— Ох, подождите! — Эржэни не отпускала его руку.  
— Чего ждать-то? Ну, оставайся тут, мы тебя покличем.  
— Ой нет, с вами!  
— Кепка на земле валялась, Данзан?  
— Н-нет... вроде как на пень надета.  
— А ты вокруг фонариком посветил?  
— Пойди сам посвети, — возразил Данзан обиженным шепотом. — Вдруг там труп рядом...

Они сделали несколько шагов и остановились.

— Не ходите! — голос Эржэни вздрагивал. — Мало ли что... надо народ позвать, майора. Он разберется.

Гомбо почесал в затылке. Вот положеньице! Это тебе не на охоте, когда на весь лес орешь, что отыскал-таки раненого, но упущенного медведя...

— Майор далеко, он же первый пошел... Тут Бадмаха сзади. Он человек не больно нервный, пусть сам решает. Бадмаха! Ты где?

Бадмаха порядочно отстал от других. Осторожничать он не умел и перся напролом, словно неуклюжий лось, сквозь влажный ельник. Вскоре промок до нитки и теперь уныло плелся по берегу. Вообще во всю эту затею он решительно не верил. «Вот идиоты! — сердито размышлял он. — И братишка мой ученый, и нойон, и следовательно... И я, как идиот, за ними увязался. Уж если отцу так приспичило... ну, то есть дошел человек до ручки, — поправился Бадмаха, — зачем ему в лес, в такую даль переться? Петлю на шею в сарае — и точка! — по спине поползли мурашки. — Да все это ерунда, — поспешил он себя успокоить. — А то я отца не знаю! Он не из тех, он руки на себя не наложит, не таковский. Готов поспорить, он куда-нибудь в стог забрался и грехи замаливает — точно!..» Но как ни успокаивал он себя, разумные доводы мало действовали. Э, не думать ни о чем, вспомнить что-нибудь веселое, приятное... Как на грех, ничего подобного не вспоминалось, к сорока годам жизнь пошла как-то наперекосяк, одни неприятности. Надоело все! Отец вон поучает, доброе имя, дескать... Кому оно теперь нужно — доброе имя это? Ни тепло от него, ни холодно... Теперь ведь как? Поспел первый, урвал свое (или не свое) — вот ты и молодец.

Есть денежки, есть на что разгуляться — тебя все и уважают. А отец, он жизни теперешней не знает.

Жизнь — это... — Бадмаха представил себя — шикарно одетого, в шляпе и при галстуке, с толстым бумажником во внутреннем кармане пиджака. Вот он входит в шумный, залитый огнями аэропорт, подходит к расписанию рейсов... Вся страна перед ним — выбирай! К Черному морю или в Прибалтику, в Москву или, скажем, в Новосибирск: все пути-дороги открыты. Это тебе не в местном навозе возиться, вон как Таряаша... подумаешь, медаль! Ерунда. Конечно, за свободу эту недешево плачено, работа та еще... поди-ка в тридцатиградусный мороз на ледяном ветру повкалывай, потом — в барак постылый с одной мыслью, как бы спать завалиться да не просыпаться.

Это они тут считают: деньги шальные. Тяжелый труд, зато результат... Бадмаха вновь попытался представить себя молодым, свободным, летящим в серебристом лайнере к теплему морю. Однако картины эти сейчас не утешали. «Эхма! — вздохнул он и, споткнувшись о пенек, чуть не упал. — Пни тут эти... кругом и елки! — фонарик осветил пушистый, темно-зеленый с голубизной строй елей, неожиданно вставших на пути. — Ну что, обходить или напрямую ломануться?» Спилить бы их всех к черту, бульдозером пройти, — Бадмаха усмехнулся, — и асфальтом залить. Он остановился

и закурил. — Все кричат, поучают: родина, родина... ну, родина — ну и что? Сидеть тут, медали дожидаться?

Не все такие дураки, как Таряша этот самый... (Бадмаха с досадой ощущал столкновение с ним как свое поражение.) Неужели я его испугался? Он ведь ненамного моложе... ну да, он Дэбшэну ровесник... то есть на шесть лет. Неужто старость подходит? Во ерунда какая в голову лезет! Это отец меня так... завел. А все же годы сказываются, — Бадмаха вздохнул. — За всю жизнь я только одному уступал — Мутиле. Вот был удар так удар! Еще бы — сто двадцать килограмм. Дурак, попался — с законом шутки плохи! — десять ему, кажется дали? Ага, десять. И деньги были, и бабы, и все перед ним дрожали. Да, стоящий мужик был. А теперь? Еле душа в теле, семьдесят, должно быть, не весит, в грузчиках. Некуда податься. А вот мне, — подумалось вдруг, — мне, если уж совсем подопрет, есть куда. Все ж таки стоит моя Хасуурита на своем месте, и елочки не выкорчевали, и землю асфальтом не залили... — вновь представились другие города — чужие города! — и сердце заныло отчего-то. — Может, правда, вернуться? Сын растет... на меня, как на постороннего, и глядеть не хочет. Можно еще народить. Вообще один сын — не дело, вот когда их четверо вокруг тебя, как у Таряши, к примеру, про всякую свободу позабудешь, просто некогда вспоминать будет. В городах галдеж, как у кур в курятнике, а тут... на охоту ходить можно, рыба... — Бадмахе вообразилось, как он по следу идет с ружьем за плечами, а дома четверо ждут отца, дожидаются, а мать им говорит... — Эх меня занесло! — опомнился он вдруг. — Какая мать-то? Я ж развожусь! Коли сказал — мое слово — кремень. Лучше разом разрубить, чем ходить в дураках обманутых. Она тут хвостом вертела, а я... Слушай, а не наговаривает она на себя? — внезапно пришло в голову. — Что-то непохоже, будто она замуж собралась. Сказала б спокойно, так и так, выхожу за такого-то, а то все с подковырочкой, с намеком. Может, ей Пентюха про курорт тот самый разболтал — вот она в отместку... Ладно, не оправдывай! Нечего мне тут делать. Прощай, Хасуурита!...»

И вновь заныло сердце и жалко себя стало до слез. Один Баяр у него на свете остался... и тот нос воротит. Это, конечно, Дулма его так настроила. Против отца родного — вот дрянь!.. А ведь как любил — прямо на седьмом небе жил, ног под собой не чуял, чуть не каждый день в ее деревню бегал, Аж не верится! Куда делось-то все?.. Помнится, впервые привел в дом, отец ей сказал: «Вместо матери матерью ты к нам пришла. Отныне это твой дом, это твой очаг!» А когда сын появился! Бадмаха с отцом от счастья только что не плясали. «Уважила, невестушка! — он все приговаривал. — Внука принесла! Думаю, не последний, думаю, род Азаргаевых полдеревни заселит. Заживем припеваючи!» Так на радостях и назвали первенца Баяром<sup>1</sup>.

Первенец оказался последним: улетел его отец в другие края других радостей искать. А тогда он осторожно нес легонькую живую ношу, крошечного человечка, который глядел на мир бессмысленными еще глазами-щелочками, причмокивая малиновым ротиком, требуя пищи, и жадно припадал к материнской груди. Бадмаха гордый и довольный шагал по деревне, его окликали, здоровались, поздравляли, он отвечал с достоинством: да, сын, почти пять кило, богатырем вырастет. А почему бы ему и не вырасти богатырем? Слава богу, есть в кого, отец природой не обижен, а у сына и вовсе будет блистательное будущее. К примеру, знаменитым спортсменом станет, борцом, чемпионом, никому не уступит. «Бадмахин Баяр! Бадмахин Баяр!» — закричит дружный хор, хлопая в ладоши, когда на состязаниях он достойного соперника через себя перекинет. А девушки — те будут с ума сходить, мечтать о нем с восторгом и трепетом. Вот о чем думалось, когда он сидел над люлькой, совал неуклюжими пальцами соску в орущий рот, глядел — и наглядеться не мог. Вот уже не думал, не гадал, что совсем скоро, прослышав про небывалые заработки, вслед за Мутилоном на Север махнет.

В твердой уверенности, что на один сезон от дома оторвался. А сезонов этих уж немало промахнуло... привык к бродячей жизни, к большим деньгам, забыл про родной улус, про родной очаг...

Да черт подери! Будто все вот так вот кончено для него?.. Ну нет, не пропадет Бадмаха, другую жену найдет — не хуже, а может, и получше! — детей нарожает... Разве сорок лет это старость? Это начало новой жизни... «Какой там новой жизни! — мелькнула усмешечка. — Можно жену сменить, в наше время не проблема. А отца? А Хасууриту? Детство свое и могилы родные на погосте...»

---

<sup>1</sup> Баяр — радость.

«Да неужто отец и вправду умер? — Бадмаха вдруг словно проснулся и вытер пот на лбу. — Он, может, умер, а я... я в это время петухом занимался... — Бадмаха покачнулся и вдруг нырнул в колючую тяжелую свежесть, в переплетения еловых лап, словно в обжигающий холодом омут. — Он что, меня проститься вызвал, что ли? — проносились лихорадочные мысли, откуда он продирался через цепкий строй. — Ну, да, проститься, а я, дурак, не понял. Но ведь... не из-за меня? Ведь не из-за меня?.. Спокойно! — приказал он себе, вырвавшись наконец на крутой берег. — Чего это болтали? Отец поджег! Да это прямо... это ж прямо анекдот! Он каждую тварь земную любит, он бы этого петуха пожалел, сегодняшнего, не то что свиней колхозных. Это Ломбо... точно: Ломбо на него наговаривает. У самого рыльце в пушку... Как же я забыл? Совсем из головы вылетело! Ведь в Иркутске тот пьяница хвастался, будто из нашего улуса машину свиней угнали... вот именно в то время. Сам он не местный, но из местных кто-то помогал. Наверняка Ломбо! Откуда у него богатство такое? Небось всю жизнь воровал, а на отца капает. Он, он — достаточно на родственничка на его поглядеть — ну и рожа! С такой рожей... да он и на убийство пойдет, не дрогнет. Ладно, я вас тут всех разоблачу, всю шайку вашу. Отец, бедный...»

А Ломбо чем дальше углублялся в лес, тем более жуткие картины мерещились ему. Вон Шаралдай на ели висит, высунув синий язык... или валяется на траве в луже крови, а то, совсем обезумевший, кидается на Ломбо из тьмы с диким криком... От таких видений стало неважно. Ломбо поспешно, тяжело дыша, нагнал Цезаря с Соней и шепнул:

— Пойдемте отсюда! Что-то случится, чувствую... не к добру дело идет. Видали Бадмаху? И Дэбшэн такой же бешеный, ежели разойдется. Тебе одному перед ними не...

— Цезарь, уйдем! — взмолилась Соня. — Этот Бадмаха, по-моему, на все способен. Пойдем, пойдем!

Вообще-то Цезарь был не прочь плюнуть на всю эту суматоху и уйти. Нет, не так представлял он себе приезд в Хасууриту, никогда не думал, что новая жизнь начнется так нелепо. Ведь если б не Таряша, ему самому, защищая отца, пришлось бы сцепиться с этим зверем. Нет, Таряша молодец — только сегодня он в полной мере оценил старого друга.

Да, плюнуть бы на все и уйти! Но нельзя. Он должен быть среди своих, теперь их горе — его горе, их надежды — его надежды. Он не имеет права бросить их... а Шаралдай — да, добром не кончится. Еще утром он почувствовал, что старик явно не в себе.

— Вот что,— заговорил он решительно. — Вам обоим тут действительно делать нечего. Отец устал, а ты ведь ни мест этих не знаешь, ни людей. Так что пользы от вас... Идите домой.

— Цезарь, я прошу тебя! И не просто сейчас уйти, а вообще уехать отсюда, из этой деревни. Мне здесь страшно... и за тебя, и за себя, и за детей. Тем более что пятно на тебе все равно останется — правду отец говорил. Уедем, я боюсь здесь оставаться!

— Ну, ну, успокойся, — Цезарь погладил ее по щеке. — Ты переутомилась. Все наладится — вот увидишь.

Стараясь успокоить ее, он говорил мягко, нежно, но чувствовал, что слова его мало действуют, что вправду ей — нет, им обоим! — придется здесь нелегко. Мэдэгма, Чингис, отец с этим поджогом... Нелегко! Все он понимал, все предчувствовал, однако твердо знал: его место здесь. Когда-нибудь это поймет и Соня, он заставит ее... нет, поможет понять.

— Сонечка, — заговорил он ласково, но решительно, — я не могу сбежать. Как я потом всем в глаза посмотрю?

— Думаешь, они тебя оценят? — воскликнула Соня. — Мне кажется, здесь все нас ненавидят... да здесь все просто плюют на нас!

— Нет, нет, — забормотал Ломбо, — пусть на меня. Я выдержу! А на вас за что? Не позволю!

— Ладно, отец, дома поговорим. Обо всем. А сейчас — идите домой...

— Только с тобой! — Соня схватила мужа за руку. — Уйдем, уедем, я прошу тебя...

— Соня! — повысил голос Цезарь, едва сдерживаясь, чувствуя, что сейчас с языка сорвутся слова обидные, несправедливые, о которых он сам же пожалеет, но вдруг увидел, как меж деревьев к ним приближается быстрый скользящий луч фонарика.

## 45

Ханда шла, машинально обходя встречающиеся на пути деревья, в каком-то странном оцепенении, охватившем ее после разговора с Дэбшэном нынешним вечером. Лишь на миг, увидев беспомощного жалкого отца перед здоровенным бугаем Бадмахой, она как будто пришла в себя, но тут же безразличие ко всему на свете охватило и уже не отпускало ее.

А произошло вот что. Вернувшись из Унсэгтэ и направившись к дому Шаралдая, она еще издали увидела Дэбшэна. Он стоял у калитки и глядел на нее, темные глаза лихорадочно блестели; вдруг подумалось, что именно ее ждет он с горячим нетерпением. Она ускорила шаги, подошла, заглянула в любимое лицо, и голова ее закружилась.

— Что-нибудь случилось? — с трудом выдавила Ханда первые слова.

— Да, случилось, — многозначительно, как показалось ей, ответил он.

Она прислонилась к калитке, слегка запрокинув голову, чтоб так, сразу не выдать себя радостным блеском глаз — сумрачное, низкое небо, совсем не похожее на то давнее, звездное — и приготовилась к счастью. Сейчас он скажет: «Ханда...»

— Ханда, — услышала она взволнованный голос, — что с тобой? — и почувствовала легкое прикосновение его руки к плечу.

Ханда улыбнулась про себя. Разве не понимает он, чего она ждала все эти пять лет?

— Так, голова закружилась, — отозвалась Ханда беспечно; сейчас он спросит «отчего?», и она скажет: «Дэбшэн...»

— Совсем ты, бедная, с нами измучилась, — сказал он озабоченно. — А у меня у самого голова кругом идет. Отец пропал.

— А! — Ханда помолчала. — Именно это у вас и случилось?

— На минуту отлучился, прихожу — его нет.

Я так тебя ждал... когда ты с ним — я спокоен.

— Я не могла раньше вернуться: у меня две коровы пропали, искать пришлось.

— Нашла?



— Нет.

— Будут неприятности?

— Какие у меня могут быть неприятности? — пробормотала она с горечью. — Жизнь прекрасна.

Итак, все кончено, еще не начавшись. Звезды погасли, холодный осенний ветер пронесся по грязной деревенской улице, какие-то пустые слова, пустая прекрасная жизнь. Пустота!

— Всю деревню обегал, — говорил Дэбшэн — глаза блестят и голос дрожит, но вовсе не из-за нее. — Куда он мог подеваться — ума не приложу. Ты ж его видела, Мэдэгма! Едва живой лежал — и вдруг...

— Кажется, вы меня с кем-то путаете? — перебила Ханда небрежно. — Вы сказали: «Ты ж его видела, Мэдэгма». Кого вы имели в виду? Нашу доярку? — уточнила Ханда небрежно. — Ведь у вас с ней был когда-то роман?

Мгновенная тень прошла по его лицу.

— Мне не хотелось бы этого касаться, — ответил Дэбшэн настороженно.

— Отчего? За эти дни вы мне пересказали, пожалуй, всю свою жизнь. Но этого эпизода не коснулись. Или он еще не окончился?

— Все кончено. Я завтра уезжаю.

Слезы тотчас подступили к горлу и сердце заколотилось отчаянно, однако она продолжала с усмешкой:

— Опять сбежите? Как тогда?

— Как когда?

— Вы ведь когда-то бросили ее? Я не ошибаюсь? Бросили и забыли. Из-за вас она с братом разошлась. А теперь вспомнили старую любовь, примчались опору искать, — бросала Ханда безжалостные слова («Ну и пусть! Все кончено!»). — Вам ее не жалко?

— Что ты, девочка, можешь понять! — воскликнул он безнадежно, устало.

— Кое-что могу. Вы опоздали: она собирается за нашего Гомбожапа замуж. А вам действительно лучше уехать.

Ханда замолчала, сама испугавшись своей неожиданной дерзости.

— Холодно, — сказал Дэбшэн после долгого молчания. — Как перед снегом.

Они одновременно взглянули в тревожное вечернее небо. Северо-восточный ветер порывисто гнал черно-лиловые облака на юг, к горным вершинам, острый серп луны то исчезал в зыбких просветах, то появлялся.

— Прощайте, счастливого вам пути, — еле слышно сказала она и пошла куда-то по улице.

Холодно. И ничего не ждет ее впереди. Разве что выпадет снег, засыплет плотным покровом заброшенную за горами, за долами деревушку, потянется бесконечная зима. Завтра она будет белить зимний коровник, сонная, безразличная. Рассеяннo водить са-модельной кистью из ковыля, оставляя неровные полосы на не очищенных от пыли и навоза стенках. Доярки будут переглядываться, дивясь на ее оцепенение. — «Как угорелая носилась, а теперь на ходу спит!», — но никто ничего не поймет. Никто, кроме Мэдэгмы.

Ничего не ждет впереди. Погасли ее звезды, так и не разгоревшись в полную силу. Но все это начнется завтра, а сегодня она бредет в ночном лесу и в одиночестве прощается — с чем, собственно? — ничего ведь и не было... так, далекий школьный урок астрономии. Урок на всю жизнь.

А в том же лесу, но другим маршрутом идет, жадно вслушиваясь во тьму, Дэбшэн. Рассеянный луч фонаря скользит по лапам дремучих елей, кустам, пням и кочкам, по свежей еще траве. «Кажется, я слишком вперед вырвался. Справа должен быть доктор

Аюша...» Дэбшэн прислушался. Тишина, ни звука, ни шороха, лишь монотонное журчание Харагуна рядом.

«Куда и зачем ушел отец из дому и что будет, если сейчас он найдет его мертвым?» Дэбшэн чуть не застонал. Его приезд в тихую патриархальную деревушку, бегство в детство, когда заплачешь от пустяка и захочется прислониться к родным коленям, — то есть, проще говоря, его малодушие, возможно, привело к гибели отца. Убивают не только оружием, но и словом, поступками, неудачами... даже любовью можно убить. Давным-давно смысл жизни отца заключается в сыновьях. Дэбшэн и Бадмаха, разными путями, утратили этот смысл — и отец не выдержал, ушел навсегда и бесповоротно.

Так ли это? Или опять, не в силах объять умом живую жизнь в ее движении, поворотах, сумятице я смятении, он выстраивает схему?.. Вроде той — Дэбшэн усмехнулся — какую он соорудил, уезжая в деревню; простое существование на фоне природы... разводить скот, сеять хлеб, рожать и растить детей, потом умереть с мыслью, что исполнил свой долг в качестве, так сказать, звена в неразрывной нескончаемой цепочке бытия. Лучше просто поклоняться солнцу, как богу, — так хотелось думать ему, — чем тщетно стремиться исследовать тайны светила.

Просто, просто... Оказалось, в Хасуурите все совсем не просто. И не он, городской теперь интеллигент, а вот эти самые «простые люди на фоне природы» задают загадки. Его отец... эта девушка... нет, нет, не надо о ней вспоминать! Он настроился на смерть, разрушение, бессмысленный круговорот бытия, а здесь перед ним было что-то живое, юное...

Итак, смерть. Распад плоти, клеток, атомов, освобождение энергии живого организма, переход ее — по закону сохранения веществ — в эту землю, в этот вечнозеленый лес, в этот воздух — жгучий хвойный настой. То есть не только рождение, привнесение в мир нового уникального разума, но и каждая смерть, крестьянина ли из Хасууриты, городского интеллигента или величайшего мыслителя — физическая смерть приносит в космос нечто новое. Смерть — не просто результат старения, конец жизни, прощание с прошлым, но и начало будущего, продолжение человеческого рода. Как жизнь, так и кончина отца отзовется в его детях, внуках, правнуках. Как отзовется — положит ли начало новому страданию или протянется нитью нового счастья?

Дэбшэн резко остановился в окружающей его плотной благоуханной тьме. Неужели отец его уже перешел черту — порог, разделяющий живых и мертвых, и на этом пороге, в последнее пронзительное мгновение узнал все, узнал непостижимую грозную тайну и успокоился наконец?.. «Ах, не все ли равно, — прошептал Дэбшэн и сам испугался своего шепота. — Не все ли мне равно, узнал он или нет — раз душа болит невыносимо от любви и... от вины...»

Шепот растворился в легчайших древесных шелестах, в дыхании Харагуна... но вот послышался какой-то посторонний шорох, он приближался. Дэбшэн обернулся с готовностью ко всему: стремительная тень неслась навстречу, как бы пригибаясь к земле. Огромный пес круто притормозил возле Дэбшэна, обошел его, гибко извиваясь, подняв морду, внюхиваясь во влажный воздух и чутко прислушиваясь. Да ведь это Булгаша — соболятник доктора Аюши! Дэбшэн передел дух, а Булгаша тихонько поскулил, словно жалуясь и недоумевая: на какого зверя они охотятся? На косулю рановато, на соболя тем более, и на белку среди ночи умный хозяин не пойдет... «За человеком охотимся, — прошептал Дэбшэн, погрывав пса по загривку, — то ли за живым, то ли за мертвым...»

Сверкая фонариком, подошел доктор Аюша и сказал, будто продолжая прерванный разговор:

— Среди моих предков был один тайша, у которого росли два сына — добрые молодцы, ничем не уступающие друг другу. Кого из них сделать своим преемником —

тайшей — отец никак не мог выбрать решение. Вдруг, тяжело заболев, он вызывает к себе обоих сыновей, а сам притворяется, будто спит: похрапывает, бормочет что-то вроде в бреду. И любопытный разговор подслушивает. «Самое главное, — говорит один шепотом, — отца похоронить как следует. Вызвать наилучшего габжи, лошадей ему пожаловать, шелка и золота. Все обряды исполнить, чтобы отец в хорошем воплощении переродился». На что ему другой отвечает: «Э, на габжи тратиться? Какое нам дело до его перевоплощения? В яму зарыть да осиновый кол вбить, чтоб неповадно было нас, живых, беспокоить!»

Дэбшэн слушал вроде рассеянно, но чем-то старинный рассказ задел его.

— И кого же отец выбрал своим преемником? — поинтересовался он.

— А вот слушай. Внезапно он вскакивает со смертного ложа с громким хохотом. «Так тебе и суждено стать тайшей!» — говорит отец сыночку, про осиновый кол позаботившемся, и хлопает сына по плечу, так что сынок догадывается: при желании «умирающий» мог бы свалить и хаширака.

— Вот оно что... — протянул Дэбшэн, голос его дрогнул. — Вы хотите сказать, что отец притворялся? — Да как тебе сказать... «Притворялся» — не то слово. Ему действительно стало плохо во дворе, когда он дрова колол... видимо, спазм. Но он скоро пришел в себя, — я это почувствовал, когда его навестил. И удивился: почему он не встает? Он... как бы это поточнее сказать!.. он задумался. Я не смог разгадать, о чем... — Никудышный я, видать, доктор, никудышный друг. Не разгадал, так и оставил его одного с его думами... — продолжал доктор Аюша и внезапно воскликнул в великом волнении: — Если с Шаралдаем что случилось, никогда себе не прощу! — Надо было его как-то разговорить. Найти подход, облегчить страдания... А я не сумел!

— И я отца не сберег! — подхватил Дэбшэн упрямо. — Ни я, ни Бадмаха. А вот Баяр сказал, помню... «Дедушка не умрет. Он притворяется».

— Дай-то бог!.. Может, не нам дано предчувствие, а ребенку невинному. Надеяться надо и верить.

— Надеяться и верить! — повторил Дэбшэн, внезапно ощутив подъем сил, и сказал раздельно и четко: — Я верю, что здесь, в моем детском лесу, не мог умереть отец,

— Этот лес, — по голосу доктора Аюши Дэбшэн понял, что тот улыбается, — и твой лес, и мой, и отца твоего... Вечнозеленые ели. Вечный цвет, — яркий свет фонаря озарил остроконечные вершины. — Какие только мысли ни приходят в голову здесь, под этими деревьями... Человек — такой маленький, жалкий вроде, и век ему отпущен короткий. А стремится к вечности! Создать вечное, вместить в себя, найти смысл. В этом стремлении — благородном стремлении, поверь мне! — дыхание жизни. Вся земная история заключена в нем. Сменяются цивилизации и религии, а вечное стремление к истине остается во веки веков. И вот что я тебе скажу: ты прав, Дэбшэн, — неожиданно заключил старик. — Ты в поиске, в пути. Конечно, и неудачи подстерегают порой, и отчаяние приходит. Но не сдавайся. Верю, удача ждет.

Доктор Аюша пошел вперед, Дэбшэн за ним. Оба молчали, словно стесняясь высказанного. Вдруг фонарик доктора выхватил из темноты довольно большую и глубокую яму у самых ног. Они постояли на краю, осветив поросшее мелким кустарником дно.

— Похожую яму я видел на склоне Желтого распадка, когда шалаш искал, — заговорил Дэбшэн. — Такой же кустарник на дне, еще деревья поваленные... Настроение и без того паршивое было, а тут гляжу: кости в кустах...

— Кости? — воскликнул доктор Аюша. — Человеческие?

— Да нет, явно какому-то крупному животному принадлежали и явно не одному. Причем свежие кости, недавно обглоданные.

— Вот как? Крупные, говоришь, недавно обглоданные? — переспросил доктор Аюша задумчиво. — Чьи только кости не встречались в тайге... Однажды я охотился вверх по Желтому распадку и наткнулся на человеческие. Не по себе как-то стало... Что случилось с тем человеком... валялся в лесу, как падаль, а дикое зверье по нем поминки справляло. Знаешь, Дэбшэн, человек на все способен: и на дурное, и на высокое... и на такое, что в голове не укладывается. Будто чертик какой в наши дела вмешивается... — доктор Аюша помолчал, повторил в задумчивости: — Значит, крупные кости, недавно обглоданные?

Дэбшэн не успел ответить: впереди замаячила чья-то тень и через секунды они нагнали Маглаа. Дэбшэн тотчас отошел в сторону: не было сил видеть этого майора, который преступника — его отца! — выслеживает.

— Я вот что думаю,— обратился Маглаа к доктору Аюше. — Наверное, мы зря народ переполошили.

Суди сам: если Шаралдай руки на себя наложить задумал, незачем ему так далеко уходить. А если просто проветриться вышел, прогуляться — то тем более незачем за ним в темноте бегать. — Да, вот что я хотел спросить. Этот родственник Ломбо — он у кого в Хасуурите остановился?

— Раз у Ломбо не остался, где ему ночевать?

— Но не мог же он пешком уйти. Никакой транспорт вечером из Хасууриты не ходит.

— Этот родственничек любой транспорт достанет. Ежели надо — по воздуху полетит, — доктор Аюша достал из кармана трубку. — Ловкий тип, темный...

— Доктор Аюша! — сказал Маглаа умоляюще. — Давайте отбросим всякие намеки. Пришло время напрямик говорить, откровенно!

— Я готов,— доктор Аюша закурил трубку и зашагал рядом с майором по берегу Хасууриты.

— Так вот. Слишком много этот родственник знает, как я сегодня за столом убедился. Знает и не боится. Скажите: он мог участвовать в поджоге свинарников и увезти часть поросят?

— Мог. Он и сам свинарник мог бы увезти.

— Что ж, он так и живет безнаказанно?

— А черт его знает! Он же не местный. Редко появляется. Уж сколько лет к нам не заглядывал.

— Можно, конечно, вообразить и такое,— майор словно размышлял вслух. — Шаралдай уехал вместе с родственником, пока Ломбо нам зубы заговаривал, но... непохоже, что они все трое соучастники. Может, Ломбо специально все на Шаралдая валит, себя с родственником выгораживает? Однако настроены родственнички друг к другу, мягко выражаясь, неприязненно. Теперь о делах нынешних. Ломбо подает заявление о пропаже быка. Кажется, в пропаже он не виноват: понятно, что преступник сам не станет привлекать к себе внимание милиции. Против Шаралдая есть улика: мясо, что продавала его невестка в райцентре. Но... Шаралдай в эти дни не встает, находится под наблюдением, а скотина продолжает пропадать.

— Какая скотина?

— Я от Ханды узнал, что в Унсэгтэ две коровы пропали, яловые, упитанные. И у Будаали — ее собственная корова, она с колхозным стадом пасется.

— И какой же из этого ты делаешь вывод?

— А такой: похоже, что ни Шаралдай, ни Ломбо в пропаже скотины не виновны.

— Молодец, сам додумался! — воскликнул доктор Аюша. — Впрочем, я в тебе и не сомневался. А если, как ты говоришь, намеками отделялся, так это чтоб на тебя не давить. Подумал бы: я друзей защищаю. Более того. Уверен, в поджоге свинарников и в

угоне поросят они также не виноваты. За Шаралдай ручаюсь: слишком много лет я знаю его. А Ломбо... видать, было у него намерение председателя из колхоза выжить. Но — всего лишь намерение. Повторяю: Шаралдай на это не пошел бы.

— Значит — родственник? В свое время сумел поросят увезти, а сейчас в Хасуурите появился, когда скотина стала пропадать...

— Не торопись! Со скотиной этой разобраться еще надо. Может, никто ее и не крал, — доктор Аюша усмехнулся, — из двуногих зверей.

Завтра доктор Аюша начнет «разбираться со скотиной». Перед заходом солнца отправится он в шапке-ушанке и безрукавке из мерлушковых шкурок к Желтому распадку. Пройдет путем Дэбшэна через Верхнюю поляну, где обычно пасется стадо, углубится в лес по склону, подойдет к яме, заросшей мелким кустарником. На дне ее — две молодые тонкие сосенки, давно поваленные, трухлявые, заросшие травой деревья, вытоптанная посеревшая осока... А еще — свежие, недавно обглоданные кости каких-то крупных животных.

Неподалеку от ямы в кустах возле старой сосны доктор Аюша соорудит себе из веток и бурелома так называемую «засидку» и примется ждать. Студеные вечерние сумерки окутают лес, многократно удлинятся еловые тени, далекие горы окутаются темной прозрачной дымкой.

Доктор Аюша пристроит свою двустволку на рогатину из толстых сучьев, протрет круглые очки шелковым платком и, пожелав сам себе удачи, надолго замрет. От стылого ветра, дующего вдоль распадка, начнут мерзнуть пальцы рук, слезиться глаза, он сердито подумает: «Проклятый ветер! Руки совсем задеревенели, а глаза ничего не видят... На днях в селезня не попал, где уж теперь... Эх-хе-хе! Все решит удача!» Поворчит про себя, однако будет терпеливо ждать.

Сумерки сгустятся, не видно станет мушки. Сосенки в яме словно прижмутся друг к другу, испугавшись таежной тьмы. Взойдет месяц, высыпят звезды, вначале слабые и тусклые, потом светила засверкают ярче и резче, озаряя Желтый распадок и маленькую фигурку, притаившуюся в кустах.

Внезапно глухие лесные шорохи покроются грозным рыком, раздастся треск, почувствуется тяжелое дыхание... ближе... ближе... «Видать, матерый поганец, ничего не боится, — подумает доктор Аюша, собравши все свои силы в единую силу. — Ишь, повадился заблудшую скотинку таскать...» По склону ямы затрещат ветви и сучья, послышится какая-то возня, сопение, пыхтенье, чавканье. — Да будет удача! — шепнет доктор Аюша и нажмет на курки.

Заряженное жаканами ружье грохнет сразу из двух стволов. Предсмертный грозный рев раненого медведя эхом пронесется по распадку и долетит до Хасууриты...

Но все это случится завтра, а сейчас доктор Аюша тут же позабыл про скотину, про следствие. Он шел и думал о своем друге Шаралдае, то упрекая себя, то мысленно обращаясь к нему: «Неужели из нас троих ты первый? Думалось, я вас опережу: и тебя, и Ломбо... Говорят, когда душа становится слишком тяжелой для тела — оно умирает. Моя душа переполнена — значит, и твоя? А Ломбо?.. Все-таки не остался дома, не смог уклониться от поисков. Даже, в конце концов, и Бадмахи не испугался... Да, повязала нас троих жизнь одной веревочкой, жили вместе, вместе и в последний путь пойдем...»

— Никто скотину не крал из двуногих зверей? — донесся до него голос Маглаа. — Вы хотите сказать — настоящий зверь...

— Ничего пока не знаю, — прервал майора доктор. — Вот проверю одну догадку...

— Подождите-ка! — Маглаа прислушался. — Свистят!

— Да, свистят!

Они поспешно двинулись на свист — условный сигнал — и подошли к небольшой толпе: Гомбо, Эр жэни, Бадмаха, Ломбо, Цезарь, Соня... К ним присоединился Дэбшэн,

и маленький юркий Данзан, как мрачный вестник смерти, повел всех на берег, где на пенке обнаружилась старая егерская кепка Шаралдая.

Сразу вслед за ним шли Бадмаха с Дэбшэном. Братья, такие разные, что даже их близким могло порой показаться: они и не родные вовсе! — шли рядом, плечом к плечу, с тем неизъяснимым чувством, которое вряд ли можно выразить в словах... вот!.. сейчас!.. ужас или радость ждет их? последнее прощание или долгожданная встреча?..

Молчаливая процессия бесшумно скользила между черными стволами, тяжелыми влажными ветвями за своим поводырем. Лишь зажженные фонарики веселыми солнечными зайчиками будто перемигивались и пересмеивались, вырывая из тьмы шишки, пучки трав, резиновые сапоги, еловую верхушку, темные шелестящие воды... лиственный пенек... на нем...

Действительно, егерская кепка Шаралдая!

Все остановились как вкопанные, а фонарики торопливо шарили в траве, отмечая кочки, кусты...

— Глядите внимательнее, — раздался сосредоточенный голос Маглаа, — нет ли на берегу еще какой одежды. Возможно, перед тем, как...

— Это его кепка! — одновременно воскликнули Дэбшэн с Бадмахой. Им ли не помнить, как отец возвращался домой с дежурства и вешал на гвоздь свой форменный картуз!

— Это моя кепка! — вдруг послышался детский звенящий голос.

Откуда ни возьмись, словно щенок, путаясь под ногами, выкатился Баяр, стремительно подлетел к злополучному пню, схватил кепку и нахлобучил на круглую лохматую голову.

— Это моя кепка! — повторил он и заслонился рукой от яркого света фонариков, нацеленных ему в лицо. — Мне ее дедушка подарил. Не верите?

— А ты знаешь, как она попала сюда? — поинтересовался майор.

— Мы с ребятами здесь играем... — запинаясь, начал Баяр, — в этом лесу... Этот пенек... ну, будто бы фашист. Мы в него из рогатки стреляли, Я кепку забыл, но она моя...

— Тьфу! — Данзан в сердцах сплюнул, а Эржэни горестно, со всхлипом вздохнула.

— М-да, оригинальное следствие, — Маглаа усмехнулся. — Не следствие, а какие-то игры... в кошки-мышки. Думаю, не имеет смысла продолжать. Либо он сам вернется — либо организуем поиск днем.

— Вы и уходите! — заявил Дэбшэн холодно и вызывающе. — Для тех, кому отец дорог, это не игры. А вы действительно человек посторонний, официальный.

Вам преступников надо ловить, а не больного старика.

— В моем деле чего только не случается, молодой человек, — миролюбиво отозвался майор. — Бывает, ищешь одно, а находишь...

— Вот и занимайтесь своим делом! — отрезал Дэбшэн. — А мы будем... Послушайте! — заговорил он вдруг громко и страстно, обращаясь к ним — к своим землякам, которых знал с детства. — Послушайте! Ведь не сбежавшего преступника мы ищем, а? — его фонарик ловил лица... брат, доктор, Ломбо, Цезарь... серьезные, напряженные, задумчивые... новые и новые тени сбегались на его голос... тени? двуногие звери? нет, люди!.. золотые фонарики... вот рассеянный луч уловил юное, полное тревоги лицо — Ханда! — и остановился на нем; она закрыла глаза, Дэбшэн продолжал: — Послушайте, люди! Вы целую жизнь прожили с моим отцом — неужели вы в нем ничего не поняли? Неужели вы всерьез думаете, будто он способен на воровство и поджог? Факты фактами, но есть же что-то и выше фактов! Чувство и вера... Доктор Аюша!

— Нет, Дэбшэн, твой отец не преступник!

— Дядя Ломбо!

— Я виноват перед ним, Дэбшэн. При всех говорю: виноват!  
— Брат!  
— Да чтоб наш отец... Да я тому голову отверну, кто скажет...  
— Дэбшэн! — Ханда открыла глаза, огромные, черные, искрящиеся в зыбком свете.  
— Зачем ты сомневаешься в нас?

## 46

— Арьяа Баали! — шептал Шаралдай. — Ум мани бадмай хум!  
Но что это? Эхо смутных голосов... мелькание огней, еще далеких... множество голосов, множество огней... они приближаются сюда, на берег Харагуна.

«Да ведь это за мной! — вспыхнула догадка. — Они хотят поймать меня! Надо бежать...»

Надо бежать без передышки через лес, по Желтому распадку, по крутым оврагам, по горному перевалу, по охотничьей тропе меж скал... но сил не было. И куда бежать? Кто ждет его, кому он нужен?

Узкие резкие полосы света, говор и шум... ближе, ближе... «Пусть! — устало подумал старик, сжался, съежился, охватив колени руками; захотелось слиться с этой тьмою, стать волной, легким дыханием ветерка, вечнозеленым деревом. — Пусть!» Охотники и затравленный зверь.

«Вышли охотиться на Шаралдая — вора и поджигателя! — он усмехнулся. — Неужели и сыновья с ними? И Баяр?.. Неужели они поверили? Ну ладно, майор — человек посторонний, на службе, Ломбо меня ненавидит... но остальные, но Аюша! Я скажу: «Аюша, ты меня знаешь с детства. Разве я преступник? Я жалею каждую мошку, каждое деревце, потому и в егери пошел — как бы я сжег поросят, которых сам же и выращивал?.. Люди добрые! — вот что я скажу. — Когда я вышел от Ломбо и увидел зарево — первый увидел — я побежал спасать живность. Они задыхались в дыму и визжали так страшно... Я отворил первую дверцу, обезумевшее стадо сбило меня с ног. Я открыл все двери. Да, я не успел спасти всех, — скажу я, — но сделал все, что мог. За что ж вы меня бесчестили втихомолку все эти годы, подозревали в краже скота у Ломбо, у Аюши, а теперь вот травите, как дикого зверя? Я скажу все это, но вдруг они мне не поверят! Ломбо укажет на меня своим толстым пальцем: «Он поджигал, он украл!» И майор поверит ему, ведь это Ломбо подослал его ко мне... И все остальные поверят ему, а не мне! А если я скажу, что сердце остановилось у меня в груди, закружилась голова, топор выпал из рук и я свалился к ногам внука, — Аюша, честный и справедливый, разоблачит меня: «Все это так. Но приступ почти сразу прошел, и потом ты только притворялся». — «Я не притворялся, я ждал смерти!» — крикну я... Какие безжалостные лица кругом... «Но ты же не умер!» — скажут они мне. Вся моя вина перед вами, люди добрые, в том, что я не умер!»

Ему казалось, что огни и шум окружают его уже со всех сторон. Огненное кольцо сжимается, сжимается. Вот так ослепляют дрожащую от страха косулю на стерне хлебного поля. Несчастное животное никому не принесло зла, а его ослепляют электрическим светом. Косуля пугливо жмется, поднимает голову и последнее, что видит — слепящие фары, а не родной лес. Грохот, нестерпимый ожог, жалобный стон, смерть.

Шаралдай затравленно озирается, сжавшись в комок, — зверек, залегший перед окружающей его сворой. Сердце колотилось как бешеное. Да пусть бы оно и совсем разорвалось сейчас, здесь, в любимом лесу под вечнозелеными сводами! Они подойдут — и некого будет обвинять, и, может быть, они пожалеют его, и, может быть, кто-нибудь даже заплачет...

Напрасная надежда! Преступник испугался, сбежал, со страху и помер — скажут. И Баяр все это услышит, и последняя надежда — на внука, на его память и любовь — рассеется, как дым, прах, легкий пепел... Старик вдруг вскочил стремительно — откуда только силы взялись? — побежал в глубь леса, вверх по течению Харагуна. Его гнал какой-то детский бессознательный страх: не перед кем-то и чем-то конкретным — перед неведомым и тем более ужасным.

Темный лохматый клубок бросился ему под ноги, и Шаралдай упал на колени, замерев. Собака! Раскрытая пасть обдавала жарким шумным дыханием его лицо. Внезапно собака лизнула старика в щеку и завиляла хвостом. Так это же Булгаша! Бугаша, который дружелюбно приветствует Шаралдая чуть не каждый день, когда он заходит к своему другу. «Теперь, должно быть, бывшему другу, — подумал он, глядя спутанную густую шерстку на загривке Булгаша. — Умный ты мой, добрый пес! Узнал старика, молчишь, не выдал. Но... за Булгашей ведь прибегут другие собаки! Барс Ломбо с волчьей кровью... Он меня разорвет!»

— Уходи, Булгаша! — прошептал Шаралдай, поднимаясь с колен; собака послушно побежала в чернеющую чашу, — Не выдавай меня...

Куда-то он шел, брел, карабкался, будто не в родном лесу бродит, а кружится в незнакомом, зловещем, заколдованном краю. Голова горит, мысли путаются, как в лихорадке, и руки стынют от холода... «Может, я и вправду болен? — с надеждой думает старик. — Я вправду болен — скажу я им, и они отстанут от меня... Нет, не поверят! Вот если б так заболеть, что... Да, заболеть! — вспыхнула отчаянная мысль. — Во что бы то ни стало... Тогда никакой врач, даже Аюша не сможет разоблачить меня! Но как? Как? Ведь не заболеешь по желанию, как ни мечтай...»

Он идет по узкой тропинке вдоль берега. Тропинка петляет в стороны, то приближаясь к самой воде, то извиваясь между елями. И ели, и воды дышат единым мощным холодным дыханием. Кажется, опусти руку в воду — онемее. Шаралдай идет осторожно, боясь оступиться и упасть в ледяные волны. Сердце разорвется от холода, в лучшем случае воспаление легких... Что-что? Сердце разорвется, или застудятся легкие — так это же спасение! Безумная мысль — Шаралдай умом это понимает — безумная... но что же делать? Надо доказать, что он не притворяется, надо, чтоб они поверили ему, заплакали, пожалели и полюбили... Сейчас же, немедленно, ведь они подходят... люди добрые!

Он поспешно скинул старую фуфайку, рубашку, стянул сапоги, штаны, сунул барахло под куст и, хватаясь за колючие лапы, спустился вниз, к Харагуну.

Страшно. За что-то его наказали в детстве, отец гонялся за ним по двору с черессдельником в руках — за что, теперь не вспомнить. Но только он знал, что несправедливо. И он решил наказать их: бросил штаны на берегу и кинулся в речку. Как плакали все, как жалели его и обвиняли себя, покуда он сидел на дне с камышовым стволиком во рту, через который дышал. Потом появился вдруг, напугав и обрадовав всех...

Шестьдесят лет прошло. И вот он... впадает в детство?.. Холодно. Страшно. Надо! Они снова, как тогда, заплачут и пожалеют.

Вода коснулась ног, обжигая, как лед... и как пламень — одновременно... поднялась до колен, выше, до пояса; Шаралдай, дрожа всем телом и закрыв глаза, вздохнул и заставил себя присесть. «А-а-а!» Коснулся дна руками, окунул голову, резко запрокинув ее вверх, чувствуя, как струйки стекают по лицу, смывая страх, ужас, обиду... онемевшее тело уже не чувствовало холода, и вдруг случилось чудо — стало тепло, как в прекрасный летний полдень, когда молодой, здоровый, сильный, гонял он своих быков на водопой.



Шаралдай совершенно забыл, зачем он полез в студеную осеннюю воду — ласковую, мягкую, как материнские объятия, как нежная вечерняя песня над колыбелью. Когда он открывал глаза и приподнимался над водой — видел крошечную таежную тьму и мутные небеса и чувствовал мимолетный холод, и слышал приближающиеся голоса — он снова поспешно погружался в омывающие воды, и ему казалось, будто он превращается в младенца в утробе матери и вот-вот родится, но не в эту тревожную ночь, а в новый солнечный мир. Будет слушать пение жаворонка, слышать шепот деревьев и шелест трав. Вновь опьянеет от девичьего взгляда. И погонит быков на водопой. Все начнется заново — жизнь, и детство, и счастье. Солнечные лучи защекочат глаза, много солнц, золотых, жарких, жгучих. В летний полдень над разомлевшей водой, и птичий щебет, и вечные ели, и вечный покой...

Шаралдай засмеялся от счастья.

Люди пришли на берег Харагуна и услышали веселый молодой смех, доносящийся с реки. Из десятков фонариков — золотых огоньков, солнечных бликов во тьме — полился яркий свет. В этом свете люди увидели в воде смеющегося Шаралдая — и молча застыли на месте.

Вдруг зашумели верхушки леса. По горному распадку стремительно спустился северо-восточный ветер и принялся бешено раскачивать вечнозеленые ели, словно собираясь выдернуть их с корнями.

А Шаралдай смеялся!